



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

КСЕНИЯ КРИВОШЕИНА

**ОТТАЯВШЕЕ
ВРЕМЯ**

ИЛИ

ИСКУШЕНИЕ
СВОБОДОЙ

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кривошеина Ксения

К 821 Оттаявшее время или искушение свободой / Ксения Кривошеина. — СПб. : Алетей, 2017. — 252 с.

ISBN 978-5-906910-73-8

В своих воспоминаниях автор рассказывает о людях, с которыми свела её жизнь, многие из них имеют мировую известность, их судьбы высвечивают то время, о котором тосковать не нужно, но и забывать не следует, перед многими из них следует склонить головы за их мужество. Некоторые из них прошли советскую «закалку», кто-то был арестован и выслан на Запад, а кто-то остался в России. На страницах этой книги вы встретите пианиста Святослава Рихтера и композитора Андрея Волконского, художников Николая Акимова, Натана Альтмана и Оскара Рабина, поэтов Анну Ахматову и Иосифа Бродского, известных и малоизвестных деятелей русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-73-8



© Ксения Кривошеина, текст, составление, 2017
© Издательство «Алетей» (СПб), 2017

ВВЕДЕНИЕ

Я родилась в Ленинграде, застала страшные сталинские годы, оттепельные хрущевские и застойные брежневские, вернулась первый раз из эмиграции уже в Санкт-Петербург. Двадцатый век России стал тяжелым испытанием для всей страны, для каждого человека по-своему: искушения, подвиги и предательства выявились во всех слоях общества. Казалось, что народ никогда не оправится. Очень медленно, но травка стала пробиваться из-под асфальта, и за последние десятилетия живое слово, творческая энергия во всех областях показали, что надежды на возрождение не были напрасны.

Советская интеллигенция была разная. Та, которая шла «в ногу и в строю», получала хорошие заказы, квартиры, машины, дачи и прочие блага, но должна была отрабатывать, платя за всё это совестью. Новая власть уже в начале двадцатых годов поняла, как и чем можно купить или перекупить интеллигенцию. Революционные поэты, писатели и актеры были убеждёнными ленинцами, а потом сталинцами (правда, многих все равно расстреляли). Были и «прозревшие», кто не хотел или не мог через себя переступить, некоторые находили возможность жить двойной жизнью.

Все были заложниками системы, а как только выбивались из официальной линии, сразу делались изгоями. Попытка стать хоть немного свободней приводила к большим испытаниям. Наши «органы» не дремали: всех брали на заметку, борьба с «формализмом» не прекращалась; а потому не у всех хватало смелости отказаться

от предписанного метода и переквалифицироваться из писателя в кочегары (были и такие). Годы шли, и многим стало ясно, что они живут в сговоре с совестью и с постоянным страхом.

Несмотря на тотальную цензуру, в СССР появились художники, литераторы, музыканты, которые решили попробовать свои силы в чем-то ином, чем соцреализм. Творцы — те, которые сочиняли не «как надо», а работали «за шкаф» и «в стол» — в основном жили бедно, в коммуналках, в загранкомандировки их не пускали. Те далекие хрущевские «оттепельные» годы закончились по-русски — зимней слякотью. Но ветер, подувший после смерти Сталина, принес перемены.

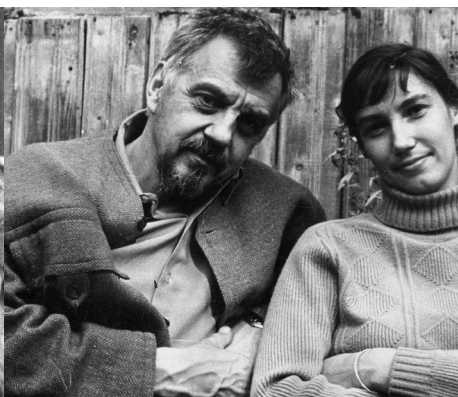
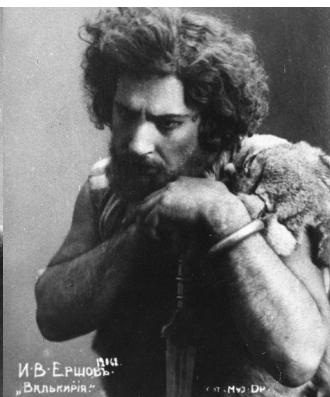
К 1990 году у людей, проживших в стране Советов в полной изоляции от другого мира, не понимавших, что такое рыночная экономика, лишенных права собственности, свободы вероисповедания, свободы творчества, накопился колоссальный заряд энергии — набрав воздух всей грудью, им хотелось одним махом перепрыгнуть пропасть и забыть СССР навсегда. Но этого не случилось, а по прошествии двадцати пяти лет новой России мы, оглядываясь назад, начинаем осознавать, как трудно преодолеть эти годы жизни при советской власти. Теперь появились люди, которые ностальгируют уже даже не по Брежневу и Хрущеву, а по товарищу Сталину!

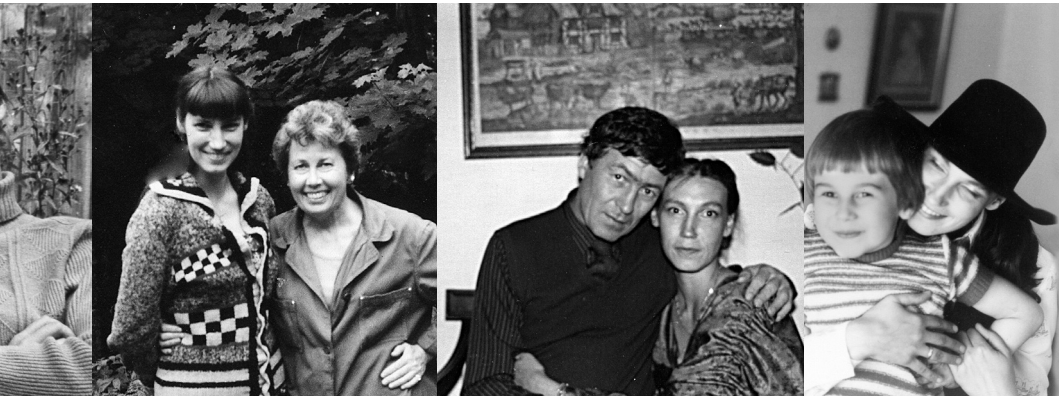
В своих воспоминаниях я рассказываю о людях, с которыми свела меня жизнь, многие из них имеют мировую известность, их судьбы высвечивают то время, о котором тосковать не нужно, но и забывать не следует, перед многими из них следует склонить головы за их мужество. Некоторые из них прошли советскую «закалку», кто-то был арестован и выслан на Запад, а кто-то остался в России.

На страницах этой книги вы встретите пианиста Святослава Рихтера и композитора Андрея Волконского, художников Николая Акимова, Натана Альтмана и Оскара Рабина, поэтов Анну Ахматову и Иосифа Бродского, известных и малоизвестных деятелей русской диаспоры во Франции, Швейцарии и Америке.

Часть 1

РУССКАЯ РУЛЕТКА





*«...и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого.»
Молитва Господня*

МОЙ ДЕД ИВАН ЕРШОВ

Мы живём во времена ускорений, и события мелькают перед нами, как на плёнке старого чёрно-белого кино. Двадцатый век закончился, он принес нас на границу бездны и страха за будущее, забывая по пути ушедших героев и знаменитостей, политиков, президентов, генералов и актёров... а заодно события важные и менее значительные.

Вот, к примеру, идём мы по улицам, которые названы в честь знаменитостей, и ловим себя на том, что порой даже не помним, о ком идёт речь, кем были эти люди. А задумчиво стоящие и сидящие люди, отлитые в бронзе, восседающие на конях, застывшие с простертыми в небо руками — кто они? Если не подойти к памятнику и не прочесть, то так и не вспомнится, а может и не узнается никогда, зачем и кому воздвигнуто это бронзовое изваяние.

На улице Гороховой, дом четыре, в Санкт-Петербурге висит большая мемориальная доска, на ней написано, что здесь «...жил знаменитый певец Иван Васильевич Ершов». На фасаде этого дома ещё ряд мемориальных досок, в основном актёрам — ведь здесь когда-то жило много прославленных людей.

Я родилась в квартире, расположенной на пятом этаже (предпоследнем), занимавшей пространство по всему периметру дома. Дед хотел видеть небо и простор, но, к сожалению, вид из окна был не на Александрийский шпиль, а во двор-колодец, довольно мрачный. Вся анфилада комнат соединялась огромным коридором, по кото-

рому я совершила первые шаги, а уже позже каталась на велосипеде. У меня с детства сохранилось ощущение таинственности нашей огромной и во многом «сказочной» квартиры. Все стены комнат и коридора были завешаны сценическими фотографиями деда и бабушки в ролях, картинами самого деда, скульптурами Кустодиева (он лепил и рисовал его), рисунками Репина, эскизами костюмов Бенуа... В квартире было три рояля, завораживающий меня в детстве инструмент фисгармония, нотные шкафы до потолка в пять метров высотой. Здесь же на кушетках и креслах валялись шкуры, мечи и щиты Зигфрида, гусли Садко, многочисленные гримёрные ящики и масса зеркал самых разных форм и размеров. Атмосфера и температура этого накалённого пространства творческих деяний сохранялась очень долго, вплоть до смерти бабушки в 1972 году.

Моя бабушка, Софья Владимировна Акимова-Ершова, была партнёром деда по сцене, его концертмейстером, профессором по классу вокала в Ленинградской консерватории. Их романтическая встреча в Лейпциге и продолжение встреч в Мюнхене, любовь, сложные и вулканические отношения... сравнились и упокоились в одной могиле в Александро-Невской Лавре. Бабушка была второй женой деда (а он вторым её мужем), разница в возрасте почти в тридцать лет, сословное происхождение, над которым дед подсмеивался всегда. Бабушка вышла замуж против воли своих родителей и первого мужа, А.С. Андреевского (он был сыном известнейшего адвоката и криминалиста С.А. Андреевского). В период развода с бабушкой он чуть не застрелился от горя. Как часто в жизни бывает, парадокс заключался в том, что Андреевский сам обратил внимание молодой начинающей певицы (своей жены) на И. Ершова. При первом же их пребывании в Германии Андреевский рассказал ей о русском артисте Иване Ершове, «который, по его глубокому убеждению, даже в самой Германии не имел себе равных в исполнении партий героев вагнеровских опер». Софья Акимова-Ершова стала постоянным партнёром Ивана Ершова по всему вагнеровскому репертуару. Работая над исполнением образов вагнеровских драм, они старались не пропускать возможности побывать в исторических местах, отображённых в произведениях Вагнера. Бабушка

совершенно свободно владела немецким языком, а дед выучил не только немецкий, но и итальянский. Оба они жили ещё в той жизни, когда слова «служение искусству» не были превращены в нечто банальное и не воспринимались как высокопарность. Это было настоящим служением — не во имя славы, а сознательным несением своего дара Божьего людям. 25 октября (7 ноября) 1916 года у них рождается сын, (мой отец) которому Иван Ершов и Софья Акимова дали имя Игорь, в честь любимой оперы Бородина «Князь Игорь».

Об Иване Ершове написано много книг, статей, а в 1999 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Композитор» вышло второе дополненное исследование профессора А.А. Гозенпуда. Этой книге он отдал почти десять лет, она наполнена фотографиями и большими серьёзными исследованиями творчества деда. Помню, как он много и дотошно работал с архивами, расспрашивал моего отца, учеников деда. Профессору А. Гозенпуду сегодня уже далеко за девяносто лет, но ещё совсем недавно в Париже я видела его по телевидению в фильме, посвящённом С.С. Прокофьеву, он замечательно говорил, и глаза его горели молодостью.

Мой дед скончался в 1943 году, а я родилась в конце сорок пятого, так что лично деда своего я не знала. Но, тем не менее, я выросла в атмосфере поклонения таланту гения Ершова, Мой отец на протяжении всей своей жизни так и не смог справиться с сыновним комплексом великого отца, хотя унаследовал прекрасный голос, внешность, пропел на сцене Малого оперного театра два сезона (особенно он был хорош и красив в ролях Куракина и Дон Жуана), но выбрал всё же путь художника.

Но вернусь к деду. Он родился 21 ноября 1867 года на хуторе Малый Несвятой около Новочеркаска. Его мать была крепостной батрачкой у местного барина, и мальчика она прижила от него. Детство деда проходило в постоянных побоях и унижениях, мать иначе как «выблядок» мальчика не называла. Удивительно, что дед до конца своих дней обожал и жалел свою «маточку», как он её ласково называл. Уже поступив в Петербургскую консерваторию и получая жалкую стипендию, сам едва сводил концы с концами, болел туберкулёзом, но посылал ей деньги и ласковые письма. В

1883 году он поступил в железнодорожное училище в Ельце, где получил диплом машиниста. С раннего детства в господском доме своего «отца» мальчик слышал фортепьяно, и, обладая абсолютным слухом, многое из услышанного знал на память. Работая на железной дороге, он участвовал в выступлениях ученического хора и пел в церкви. Так он и привлёк к себе внимание местной знати, купцов и местных меценатов. Слава об одарённом юноше быстро распространилась, его стали приглашать на вечера, устраивали импровизированные концерты... и в один прекрасный день (а он запомнился деду на всю жизнь) ему было объявлено, что на собранные купцами средства его отправляют в Петербург, поступать в Консерваторию.

В 1888 году молодой человек приехал в столицу и на вступительных экзаменах предстал перед самим Антоном Рубинштейном и Станиславом Габелем.

В своих воспоминаниях (не опубликованных) дед изумительно живо описывает это прослушивание. Он был буквально потрясён колоритным обликом Антона Рубинштейна, и когда «...он обернулся ко мне и бросил на меня свой изумительный взор... Ой, меня так и тряхнуло. «Ну, так что же, Вы с паровоза и хотите на оперную сцену? Хорошее дело!» — смерил меня с головы до ног и говорит: «Ну, дайте себя послушать, что у Вас есть? Есть ли с Вами какие-нибудь ноты?»»

Нот не было! Была только музыкальная память, абсолютный слух да смелый дерзновенный характер, но сердце его от слов А. Рубинштейна ушло в пятки. Молодой человек больше всего тогда любил петь Шуберта и сказал, что споёт романс «Прости». Дед не знал, что это был настоящий подарок для А. Рубинштейна «Много позже я узнал, что Антон Григорьевич очень любил Шуберта. «Каковы же были моё удивление и испуг, когда он, взявши ноты, сам пошёл к роялю аккомпанировать мне!» Затем Ершова спросили, знает ли он что-нибудь из арий, и он, волнуясь, сказал, что на память выучил арию Ионтека из «Гальки». Станислав Габель так и вспыхнул! Только потом молодой человек узнал, что Габель был учеником Мицкевича. По всему было видно, что и исполнением и его диапазоном

голоса оба маститых мастера остались довольны. Ершова попросили выйти из комнаты и после маленького совещания его позвали. Антон Григорьевич «С благожелательной улыбкой и величайшей простотой сообщил: «Я знаю, что у Вас нет средств. Вы будите, приняты, Вам дадут бесплатный обед и 15 рублей стипендии»

После этой радостной вести Ершов вышел со слезами на глазах. Так начался долгий славный путь Ивана Ершова, в будущем прославленного солиста Императорского Мариинского театра. Среди великих мастеров русского оперного театра он занял одно из самых почётных мест. Вся его творческая жизнь прошла в Петербурге, Петрограде и затем в Ленинграде. Здесь мне хочется напомнить некоторые впечатления его современников: так со слов певца и меуариста С.Ю. Левика «...Ершов сверкал духовной красотой. Если на чьём-либо челе можно действительно увидеть печать гения, то эта печать ярко горела на челе молодого Ершова». В 1895 году он был принят в труппу Императорского Мариинского театра, на сцене которого прошла вся сценическая жизнь Ершова и где он приобрёл настоящую славу. По всему складу человеческому и артистическому он отличался от певцов-теноров предшественников и современников. Никто в то время (в опере) особенно не думал о создании настоящего драматургического образа, оперный певец должен был хорошо выпевать ноты, по возможности не фальшиво, и мало передвигаясь по сцене, быть послушным инструментом постановщика и дирижёра. А для Ершова настоящей стихией и страстью была героика, трагедия с огромной силой он передавал мужественность, благородство, страдание и боль.

Впервые на сцене появился тенор, который обладал поразительным декламационным искусством, пластикой жеста, эмоциональным проникновением в каждую исполняемую роль. Широта репертуара поражала разнообразием и тонкостью «окрасок» характеров героев — мудрость Финна, героизм Зигфрида, страх смерти Гришки Кутерьмы, бесчеловечность Кощея Бессмертного... В 1916 году в Москве на сцене Большого театра в «Сказании о невидимом граде Китеже» зрители впервые увидели и были потрясены его исполнением роли Гришки Кутерьмы. Это была настоящая драматур-

гия в сочетании с огромным певческим диапазоном.

В том, что дед мог так глубоко и разнообразно представлять «другую» оперу во многом было определено его всесторонней одарённостью. Он был Артист в полном объёме этого слова: прекрасно рисовал и писал маслом, был скульптором и много работал над гримами (он всегда гримировался сам и создавал «костюм-образ»), впоследствии стал оперным режиссером и учителем сцены, наставником и основателем Оперной студии при консерватории. И внешне он был красив и величественен. Поклонниц имел массу, и до сих пор у меня хранится альбом с дарственными надписями и признаниями в любви под фотографиями красавиц.

Слухи о необыкновенном артисте оперы дошли до Европы, его стали приглашать на гастроли.

В 1901 году Ершов получает приглашение от Козимы Вагнер приехать в Байрет — эту вагнеровскую «Мекку». Но они встретились только в следующем, 1902, году, когда С.М. Волконский, наконец, убедил Ивана Ершова посетить с гастролями Париж. Это знакомство впоследствии переросло в дружбу с постоянной перепиской по-немецки (их письма хранятся в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина).

В оставленных записных книжках дед описывает события изо дня в день — то, как он оказался окружённым цветом художественной парижской элиты того времени. Здесь он встретился не только с Козимой Вагнер, но и был представлен шведскому королю Оскару II, графине Элизабет Греффюль, Николаю Бетаки, вдове Жоржа Бизе. У него были интереснейшие разговоры с Марселем Прустом и композитором Сен-Сансом, который сам ему аккомпанировал на одном из вечеров...

Как я уже говорила, дед обладал большими способностями к живописи. Илья Репин, сделавший несколько его портретов, и Кустодиев, лепивший его не раз, искренне восхищались его талантом живописца. Ершов посещал мастерскую Яна Ционглинского и брал уроки как начинающий студент; в то время это была довольно из-

вестная студия и её посещали многие художники, которые впоследствии стали настоящими мастерами. В артистической уборной деда Мариинского театра долгое время хранился его поясной портрет, написанный гримом на стене (что с ним стало?)

По семейным преданиям, удивительный случай произошёл с Образом Христа, который дед написал на простом холщовом полотенце и с которым никогда не расставался.

В 1910 году, летом он собрался к себе на дачу, в новгородскую губернию. Бабушка попросила его захватить с собой кое-что из вещей и её фамильных драгоценностей. Всю жизнь она хранила их под крышкой рояля (насколько это было надёжно, трудно сказать, нашу квартиру грабили много раз и в разные периоды), дед взял коробочку с драгоценностями, завернул её в холщовое полотенце с Образом и положил всё в сундук вместе с остальными вещами. Дорога была длинная, в то время попасть на реку Мсту через новгородские леса было делом долгим, лошадей меняли в Малой Вишере, на постоялом дворе пили чай, отдыхали. (В шестидесятые годы, посещая эти места я сама пила жидкий чай в столовой Малой Вишеры, где в середине зала возвышался десятиведерный самовар из имения Ершова. Употреблялся он не по назначению, внутри был налит самогон). Отмахав много вёрст, дед ехал через лес и вот тут, уже почти возле дома, на него напали разбойники. Лошадей остановили, кучера ссадили, сундуки взломали и... перед ними развернулся Образ Христа! Это их так напугало, что один из них упал на колени, стал молиться, другой дал дёру, побросав в панике всё награбленное. Один из них всё же прихватил с собой бабушкину коробочку с драгоценностями, но каково было удивление деда, когда через пару дней крестьяне принесли эту коробочку с нетронутым содержанием, сказав, что нашли её подброшенной к одному из домов.

Конечно, в нашем доме сохранялась память о сценических казусах и смешные театральные истории, связанные с дедом. Так, например он всю жизнь суеверно верил в магию цифры девять. Игральные карты (найденные на улице) с цифрой девять, театральные билеты — это всегда было место под номером девять,

свои концерты или премьеры он старался назначать на девятое число, более того, он подарил бабушке брильянтовую брошь в виде девятки, которую пришлось продать уже после войны в сорок пятом. (Стоила она тогда две белых булки!) Если он приходил в дом под номером девять, то был уверен, что здесь живут милые люди и визит будет удачным. После деда осталась настоящая коллекция предметов и безделушек, связанных с числом девять. Как всякий большой артист, по натуре человек страстный и крайне ревнивый, он распространял свою ревность не только на предметы, но и на близких людей. Его суеверие и ревность иногда проявлялись странно, парадоксально, необъяснимо.

Моя бабушка часто и подолгу проводила время в ванной; как все певцы, она по утрам любила «распеваться» именно за утренним туалетом. Длилось это иногда час, а иногда и более. Каждый день это кончалось сценой ревности со стороны деда. Он был уверен, что бабушка делает вид, что приводит себя в порядок, а на самом деле она читает любовные письма.

У деда была любимая чашка, из которой он долгие годы пил чай и никогда не расставался с ней. Всегда говорил, что если она разобьётся, то «тут-то он и умрёт». В доме всегда жило много друзей, поклонниц и «приживалок». Прислуга боялась прикасаться к этой чашке. И как часто бывает (по «закону подлости»), чашку разбила одна из наиболее преданных и влюблённых в деда поклонниц (Е.Ш.) Дело дошло чуть ли не до самоубийства самой особы. Не помню, как ему сообщили о том, что его магическая чашка разбита, а Е.Ш. сама была в состоянии близком к смерти. Хочу сказать, что преданность и любовь этой замечательной женщины не имела границ. Благодаря её трудам и терпению, впоследствии многое из записей моего деда было расшифровано и переписано. Ершов обладал на редкость беглым и плохо читаемым подчерком, а после работы Е.Ш. он стал доступен читателю.

Иван Ершов был наделён природой эффектной внешностью. Роста он был среднего, но его манера держаться и ходить (вроде как на котурнах) производила впечатление, что он высокий человек. Недаром дед всю жизнь преклонялся перед балетом и был ис-

тинным балетоманом. Ещё молодая и начинающая Галина Уланова была его настоящим кумиром. И не случайно, что в те времена она была одна из первых, кто не просто вытанцовывал па и технически безупречно крутил фуэте, но и создавал артистический образ на сцене. Дед всегда с восторгом вспоминал её Джульету. Видимо, его осанка в жизни и на сцене, над которой он постоянно работал, во многом была построена на внимательном изучении балетной пластики. Внешность его, незабываемый профиль, длинные волосы, высоко поднятая голова, походка — производили неизгладимое впечатление на окружающих. Он был узнаваем на улице, когда гулял со своей неизменной тростью, а сзади слышался восторженный шёпот «Смотрите, это Ершов...».

На своём жизненном пути деду довелось встретиться со многими известными людьми того времени. В большой дружбе он был с композиторами Глазуновым, Римским-Корсаковым, с музыковедом Гнесиным, с С.Волконским, с дирижером Е. Мравинским.

Большим событием тех далёких лет была постановка опер Вагнера на сцене русской оперы. В те годы не возникало столь идиотских дискуссий, что Вагнер — «фашистский композитор», тогда фашизм ещё не родился. А как же теперь классифицировать Бетховена, ведь его произведения были любимыми и исполняемыми лично вождём пролетариата В.И. Лениным? Так вот, история не должна замалчивать, что В.Э. Мейерхольд много и тщательно изучал творчество Вагнера и его эстетические воззрения. Именно в его постановке появилась впервые на русской сцене опера «Тристан», в которой Ершов пел заглавную партию. Он стал первым исполнителем главных ролей всего цикла «Кольца Нибелунгов», а замечательный костюм для Зигфрида (шкура, сандалии, меч) были придуманы самим Бенуа. В те же годы Мейерхольд работал вместе с Глазуновым и Бенуа над оперой «Маскарад», получилась интереснейшая постановка.

За тридцать три года пребывания на сцене И. Ершов создал около шестидесяти партий и уже на закате своей артистической карьеры стал первым исполнителем Труффальдино в опере С.С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». Сергей Сергеевич уговорил

деда выйти на сцену в этой партии, и был уверен, что, не смотря на почтенный возраст (Ершову было уже за 60), он будет блистателен. И не ошибся!

В 1938 году, после первого исполнения «Пятой симфонии» Дмитрия Шостаковича под управлением Евгения Мравинского, потрясённый услышанным, Ершов, уже семидесятилетний старик, маститый артист, упал в артистической на колени перед растерявшимся композитором.

Восторженность, буйный и неуправляемый темперамент деда приносили не всегда радости. Частенько это оборачивалось скандалами и руганью с дирижёрами и постановщиками. В своих оценках и принципах у деда никогда не было дипломатической середины, но ему прощалось многое именно потому, что он был Ершов.

Настоящий самородок, выходец из бедной семьи, обожавший русский язык, хотя в совершенстве владел немецким и итальянским, считал всегда, что находится в неоплатном долгу перед своей Родиной и народом. Может быть, поэтому он так никогда и не решился уехать в эмиграцию.

Скончался Иван Васильевич Ершов в 1943 году в день своего рождения, в Ташкенте, куда были эвакуированы Мариинский театр и консерватория. В 1956 году прах его был перевезён в Александроневскую Лавру, в Некрополь, где он покоится рядом с могилами артистов, композиторов, своих учителей и учеников....

Как-то однажды, уже в Париже, мой муж Никита Кривошеин позвал меня к телефону: «С тобой хочет поговорить из Нью-Йорка моя девяностолетняя тётя». «А Вы похожи на своего деда?» — был её первый вопрос. Я растерялась.

Странна наша судьба, а иногда и её возвращение «на круги своя».

Я живу уже более тридцати пяти лет в Париже, но если сказать честно, никогда не стремилась уехать из бывшего Советского Союза, не подавала заявлений в ОВИР, да и не устраивала всех прочих уловок и демаршей, для того чтобы, как в то время говорили, «быть

выездной». Жизнь моя была интересна в тогдашнем Ленинграде. Я была окружена друзьями и поклонниками, работала иллюстратором детских книг, посещала концерты в филармонии, выставки, много читала и слушала, как все, радио «Свобода» и «Би-Би-Си». Я выросла в семье, где царила музыка, опера, драматический театр и живопись. В младенческом возрасте, чтобы успокоить мой рёв, меня клали на крышку рояля, а бабушкины ученики продолжали репетировать партии. Может быть «по наследству» я была увлечена балетом и мечтала, что из меня выйдет хорошая балерина. По тем годам меня подвел рост («слишком высокая!» — был вердикт Вагановского училища — «партнёра не сыскать»).

В свои шестнадцать лет я с большим любопытством изучала залы Эрмитажа и Русского музея, ходила на «джермейшенены» в Университет, где играли замечательные и прославленные джазисты, и где читали свои стихи Соснора и Бродский. Наше поколение прикоснулось к этой непродолжительной полосе счастья в истории СССР под названием «оттепель» и «десталинизация». Состояние воздуха (буквально) было пропитано возможностью бесстрашно танцевать (буги-вуги), читать («самиздат»), петь (Высоцкого, Окуджаву и Галича), собираться компаниями с гитарой и пить сухое вино «Гамза», ходить на новые концерты «Мадригала» в филармонию (во главе с Андреем Волконским в зените своей славы), посещать первые квартирные выставки художников-авангардистов и наконец.. по моде (хоть и с большими трудностями!) одеваться. Более того, я смогла совсем не сложной уловкой избежать вступления в ряды комсомольской организации. И ещё многое другое, что невозможно перечислить в списке тогдашнего «счастья», обрушилось лавиной на нас.

К сожалению, длилось это всего года три-четыре, а потом стагнировало вплоть до начала семидесятых. Началась новая волна посадок и арестов с процессами диссидентов и отказников, в результате пошли выезды и высылки из страны, родина лишалась своих героев и лучших представителей интеллигенции. Кто бы мог тогда предполагать, что многих из нас судьба сведёт в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Странно подумать, что уже в те шестидесятые

годы, в параллельном пространстве, рядом, не пересекаясь со мной, мелькал в тех же компаниях мой будущий муж Никита Кривошеин, с которым мне суждено было встретиться только в 1979 году.. в Женеве.

И уже разбирая архив Ивана Ершова, я обнаружила фотографию, на которой изображён мой дед, мама Никиты, его тётушка и Борис Зайцев. Место этой сцены — 1910–11годы, Гурзуф, имение Мещерских. Иван Ершов посещал эту семью, пел у них на музыкальных вечерах, писал портрет Наталии Алексеевны (тётушки Никиты), ухаживал за ней. Так что вопрос Никитиной тётушки по телефону из Нью-Йорка, через семьдесят лет, «похожа ли я на своего деда?» был достаточно сюрреалистичен для нас с Никитой, но не для неё.

На обороте этой групповой фотокарточки почерком моей бабушки (Софьи Владимировны Акимовой) подробно выписаны даты, место, фамилии. А на другой открытке — репродукция портрета Наталии Алексеевны Мещерской и Бориса Зайцева, писанного моим дедом.

Эти странности и, как оказывается, закономерности предопределены нашей судьбой. Разбитые и рассеянные черепки склеились. А мой дед, моя бабушка, и судьба семьи Никиты нашли продолжение и соединение уже в нашей жизни. Но обо всём этом хочу рассказать по порядку.

О МОЕЙ БАБУШКЕ

Итак, бабушка моя Софья Владимировна Акимова (Ершова), будущая жена Ивана Васильевича Ершова и мать Игоря (моего отца) родилась в 1887 году на Кавказе в городе Тифлисе. На своей левой руке безымянного пальца я ношу фамильное кольцо с вензелем из трёх букв «С.В.А» (имя, отчество, фамилия бабушки), это то малое, что сохранилось у меня от семьи. И ещё я всю жизнь обращалась к своей бабушке только на «Вы». Отношения наши были всегда тёплыми и увлекательными.

Это была дворянская и достаточно патриархальная семья. Очевидно, как говорили наши деды и прадеды, Акимовы произошли от армянской фамилии Екимян, (в переводе «врач»). Её дед со стороны отца — Николай Захарьевич Акимов, а со стороны её матери — Антон Соломонович Корганов, хорошо говорили на грузинском языке и прекрасно владели русским. Семья Коргановых была богата, так как владела большими нефтяными месторождениями, и очень родовита.

Вот что пишет бабушка в своих воспоминаниях.

«Мой отец, Владимир Николаевич Акимов, получил образование в Петербурге, в Николаевском кавалерийском училище, вышел в отставку в чине генерала. Мать — Мария Антоновна Корганова — окончила Институт благородных девиц в Тифлисе. Была набожным и церковным человеком. Помимо русского и армянского языков, и отец, и мать свободно говорили по-французски, немец-

ки и понимали грузинский. Не приходится удивляться тому, что в Тифлисе, бывшей столице Кавказского края, резиденции царского наместника, графа Воронцова-Дашкова, интеллигенция говорила преимущественно на русском, грузинском и французском языках. Несмотря на это, моя мать сочла нужным взять нам (трём сёстрам) учителя армянского языка.

Отзвуки далеко ушедших лет детства и ранней юности прежде всего возвращают меня к матери. Часто, ребёнком трёх-четырёх лет, сидя на её коленях у пианино, я слушала и чуть подпевала детские песенки из сборника «Гусельки». Особенно «Осенняя песенка» разливалась в моей душе нежной скорбью, глаза заволакивало, и по щекам текли тихие и тёплые слёзы. Спасибо маме за них. Она уже тогда поняла силу воздействия песни на мою детскую душу. В нашей семье музыкальностью обладали отец, его сестра Жозефина и брат Михаил. Однако никто из них не стал в этой области профессионалом. Отец, особенно в кругу семьи, был необычайно застенчивым и неразговорчивым человеком. Наблюдая как бы со стороны за ростом и развитием детей, он всецело доверил наше воспитание и образование матери, своё явное и ничем не прикрытое волнение за нас отец проявлял только, когда мы заболели.

На моей памяти отец пятнадцать лет кряду нёс доверенную ему почётную должность директора «Оперного Казенного Театра» в Тифлисе. Он был увлечён своей работой, а по роду своей военной службы и занимаемой им должности в театре он часто отлучался из дома.

Годы нашего детства в моей памяти ассоциируются с особенным по строгости воспитанием. У нас был прописанный режим воспитания, дома и в учёбе, за которым следила наша мать. В отличие от сестёр я росла настоящей «букой». Застенчивость и нелюдимость, очевидно унаследованные от отца, проявлялись в неприветливости к новым для меня людям. Лишь куклы были тогда для меня родными. Этот мир детских фантазий протянулся до одиннадцати лет, когда летом, в усадьбе моего деда Николая, меня подвели к детской кровати, стоявшей возле постели моей матери и показали мне «живую куклу». Это была только что появившаяся на свет

моя сестра Ирина. Обомлев от удивления, я стремглав кинулась в детскую комнату за одной из любимых мною кукол и положила её рядом со спящей крошкой! На этом мир кукол для меня кончился».

Забегая вперёд, хочу сказать, что в 1916 году семья моей бабушки разделилась.

Трое сестёр: Нина (старшая), Софья (средняя) и младшая Ирина вместе с их матерью Марией Антоновной выехали в путешествие по Европе. Их отец Владимир Николаевич Акимов остался в Тифлисе. Роковые события 1917 года, потрясшие Россию, разделили семью навсегда. К этому времени бабушка уже состояла в браке с Иваном Ершовым и родила сына (моего отца). Её мать и две сестры решили остаться в Швейцарии, а Софья вернулась к Ивану Ершову в Петроград. «Скоро всё закончится, мы опять увидимся, я так хочу обнять маленького Игоря. Твои сёстры хорошо учатся, и мы скоро вернёмся домой...» — так писала моя прабабушка. Им суждено будет увидеться только в 1922–24 году, когда Софье с сыном будет разрешено посетить с гостевым визитом Женеву. Это была последняя встреча с матерью и сёстрами, и по тем временам казалось, что навсегда.

В 1964 году в Ленинграде моя бабушка (Софья Владимировна) впервые после сорокалетнего перерыва увидела свою младшую сестру Ирину. Она приехала с приятельницей как турист на три дня. В моей памяти отпечаталась маленькая, прямо держащаяся, как бы «засушенная», с голубыми волосами швейцарка. Ничего ни русского, ни армянского в ней не осталось, она была эталоном швейцарского благополучия и на меня пахло «гербарием» веков. Мы встретили её в нашей квартире с анфиладой комнат, на ул. Гороховой. Бывшая квартира Ершова в 1959 году превратилась постепенно в огромную коммуналку. Из каждой комнаты сразу высунулись любопытные носы: было всем на удивление посмотреть на «голубую старушку» из Швейцарии.

Почему-то я запомнила, что бабушка решила принять сестру достойно и шикарно. Как только открылась входная дверь, мне было приказано поставить на проигрыватель пластинку с записью деда, так что тётя Ирина вошла под звуки Вагнера и голос Ершо-

ва. Бабушка занимала в «своей квартире» 3 комнаты, а на большой кухне стояло семь деревянных столиков с аккуратными замками на каждом из них, три газовых плиты и кастрюли, на некоторых тоже красовались медные замочки.

«Голубая старушка» шла по коридору под музыку Вагнера и по-русски, с довольно сильным акцентом, выговаривала бабушке: «Слушай, Софи, как ты можешь жить в этой стране! Воды горячей в гостинице нет, я не могу принять ванну. Краны не отвинчиваются, уборная забита газетной бумагой, а туалетной бумаги нет на месте. Еда жирная, салатов не подают...» и так далее. Потом тётя Ирина перешла на французский, продолжая жаловаться с прежним азартом на «сервис» гостиницы «Октябрьская». Любопытные носы соседней стали быстро скрываться, услышав чужую речь.

Я была поражена, что сёстры не кинулись друг к другу в объятия, не заплакали, в общем, не произошло того, что мы обычно наблюдаем в кино или по телевидению в передаче «Ищу тебя». После стольких десятилетий! Бабушка моя была смущена, отец почти возмущён, мама стала суетиться за приготовлением чая. Переписка между сёстрами, с перерывами во времени, по совершенно определённым обстоятельствам тех лет, худо-бедно продолжалась. Но вот встречи бабушка совершенно не могла вообразить, а я впервые увидела своих заграничных родственников. Во мне это, как ни странно, не пробудило любопытства, и казалось, что я у них тоже вызывала, скорее, чувство страха (а вдруг начну просить о подарках, джинсах, пластинках). Но я почему-то не просила, моя двоюродная бабушка мне не понравилась и никакого желания посетить Швейцарию в то время у меня не возникло. В то время я, моё поколение и страна переживали интереснейшее время.

Но хочу вернуться к рассказу о моей бабушке, вот что она пишет о своей юности.

«По сохранившимся у меня печатным программам «Музыкальных утр» (с 1896 по 1899 гг.), организованных моей первой преподавательницей по фортепьяно Жозефиной Антоновной Фирсовой, на которых значится и моя фамилия, я заключаю, что нотной грамоте меня начали обучать с семи лет. Более того, первые выступле-

ния на публике состоялись в этом же возрасте. Но, как ни странно, никаких ассоциаций или особенных воспоминаний у меня в памяти не сохранилось. Помню только, что выучивание наизусть заданных пьес всегда мне давалось с трудом, а читка с листа, (с первого раза!) была свободной, будто она родилась вместе со мной. Это осталось на всю жизнь. Я могла взять ноты незнакомого и даже трудного произведения и без всякой репетиции сразу его играть. В домашней обстановке с моей тётёй Жозефиной и с троюродной сестрой Соней М.Б. мы много играли в «четыре руки». Я узнала классические симфонии западных великих композиторов. В те годы лучше-го и более увлекательного досуга я не знала.

В 1899 году, в возрасте 12 лет, я впервые услышала оперный спектакль. Это был «Евгений Онегин» Чайковского. До сих пор я помню бурный успех баритона Л.Г. Яковлева, певшего в тот вечер роль Евгения Онегина. Помнится, он бисировал шесть раз к ряду арию Онегина «Увы, сомнения нет...». Яковлев в те годы пользовался блестящим успехом. Тогда же в моей детской голове запечатлелся образ Татьяны в исполнении умной и задушевной певицы Пасхаловой. Этот спектакль был первым толчком к страсти к сцене и перевоплощению. На первом же детском маскараде я была в костюме Татьяны из первого акта. Причём этот костюм я придумала сама.

Теперь в свободное от учебных занятий время я стала предаваться мечте о театре. Подстерегая время ухода родителей из дома, получив с согласия матери несколько длинных юбок из её гардероба, я становилась хозяйкой самой большой комнаты нашего дома, обращая её своей фантазией в театр. От моей природной застенчивости не оставалось и следа, я ощущала огромную радость разливаться полным детским голосом, не стесняя себя в движениях и жестах.

Моя тётушка Лиза Акимова, наблюдая в то время за моей страстью к пению и театру, горячо поддержала меня. Вскоре я получила от неё мой первый «взрослый» подарок — клавирауцуг «Евгения Онегина». Не прошло и недели, как я под собственный аккомпанемент пропевала всё «письмо Татьяны»!

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, моя мама повела меня послушать в оперу замечательную певицу Надежду Амвросиевну

Папаян. Она тогда была в расцвете своей славы, и её исполнение в партии Виолетты осталось неизгладимым в моей памяти. Мои родители дружили с Надеждой Амвросиевной, приглашали в гости, и однажды мне довелось самой сесть за рояль и аккомпанировать ей. Для меня подростка это было особенно волнующее событие, и я старалась изо всех сил. Исполняемый ею тогда романс ценности музыкальной не представлял. Искренность же передачи певицы была незабываемой. Глядя в ноты нового для меня произведения, я слушала, как зачарованная, пение Надежды Амвросиевны. Легкость, непринуждённость и словесная выразительность поразили меня. Я подумала тогда: поёт так, как будто говорит. И сразу же я задала себе вопрос, как добиться такой свободы и правды в вокальной речи.

Ведь неестественность «пропеваемого слова», монолога или диалога, неправдоподобна уже в самой её сути и по форме. На протяжении всей своей музыкальной жизни я вспоминала эту счастливую встречу.

Позже, в 1905 году, в Петербурге, я вместе с мамой пришла поздравить Надежду Амвросиевну в гостиницу «Астория», с подписанием ею договора с парижской «Grande Opéra». Несколькими днями позже она выехала к своим родителям в Астрахань, где её постигла трагическая участь: её убили ворвавшиеся в дом грабители. Эта смерть была большим потрясением для всех многочисленных обожателей её таланта.

К шестнадцати годам я сдружилась со своими двоюродными братьями гимназистами Михаилом и Евгением Цовьяновыми. Михаил — виолончелист, впоследствии профессионал-музыкант, Евгений — любитель игры на скрипке. Семьи наши хорошо друг друга знали и не препятствовали нашим музыкальным встречам по субботам и воскресеньям. Сочетание разных по тембру музыкальных инструментов особенно было увлекательно для всех нас. Это был домашний, но вполне профессиональный камерный ансамбль. В это же время я впервые испытала чувство сердечного увлечения — чувство, которое называют первой любовью, — к Михаилу (Мишелю, как мы его все звали). Наши чувства были взаимны и свя-

заны даже клятвой, а увлечение музыкой, которое поднимало нас на романтические и волнующие высоты, придавало им особенный небесный восторг. К сожалению, наши родители, догадываясь о серьёзности наших мыслей, постарались не допустить соединения наших сердец под венцом, объяснив нам, что мы состоим в близком (двоюродном) родстве.

В 1904 году, после окончания гимназии, я была принята в музыкальное училище по классу фортепьяно. Но, проучившись полтора года, я совершенно не ощутила в себе призвания к сольному исполнительству. Тогда же в Тифлисе мне довелось услышать в роли Каварадосси одного из выдающихся певцов своего времени Николая Николаевича Фигнера. Во втором акте оперы своей игрой и голосом он довёл мои нервы до крайнего предела. Всё нарастающие стоны Каварадосси вывели меня из равновесия настолько, что я, не дождавшись конца акта, словно без памяти выскочила из театра прямо на улицу.

Несмотря на то, что мы свободно пользовались директорской ложей, моя мать считала необходимым, чтобы я посещала и драматический театр. Она всегда мне говорила, что именно в драме можно почерпнуть настоящую правду и мастерство для будущей профессии оперной певицы: «Культура оперных артистов-певцов ещё сильно отстаёт от драматических актёров, мастерство же последних немало зависит от их интеллектуального непрерывного обогащения» — говорила она. На всю жизнь я усвоила этот урок и когда впервые на сцене я увидела и услышала Ивана Ершова, мне были понятны корни и пути построения его сценической драматургии образа.

Русско-японская война и вслед за тем вспыхнувшая в Петербурге первая русская революция нарушили привычную мирную жизнь на Кавказе. Это время совпало с окончанием мною гимназии и с необходимостью продолжить музыкальное образование. Несмотря на моё настойчивое желание учиться пению, мама смогла убедить меня в необходимости сперва овладеть игрой на рояле: «Только при этом условии ты будешь чувствовать себя свободной от палочки дирижёра, от концертмейстера и от суфлёра!» — говорила она».

О МОИХ ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ

Насколько я не любила свои школьные годы, настолько я с нежностью вспоминаю своё детство. Кроме бабушки, с которой у меня, начиная с десяти лет, встречи были не каждодневными, а еженедельными, со мной все моё детство провозилась нянечка.

С бабушкой всё было иначе, я обращалась к ней на «Вы», она всегда с большим вкусом, по моде, одевалась, была надушена, много и часто водила меня в Мариинский и Малый оперный на спектакли, в филармонию, а больше всего я любила присутствовать на её уроках вокала. Забившись в угол мягкого дивана, утонув в горе подушек, я часами могла слушать, как распевались ученики и репетировались арии. Репертуар я изучала вместе с ними и часто подпевала про себя, с увлечением представляя себя на их месте. Забавнее всего проходили уроки пения с моим папой. Это был хороший пример того, как родителям не удаётся научить своих собственных детей специальности. Каждое занятие кончалось скандалом.

Так вот, у меня была нянечка. Она досталась мне «по наследству» от папы, которого она вынянчила. Сейчас уже нет таких нянь, их класс вымер, а это были особые женщины.

Родная сестра моей няни одевала бабушку для сцены и заведовала её театральным гардеробом. Я помню, что её звали Дуду. Обе сестры приехали из Новгородской деревни Крестцы на заработки в 1909 году в Петербург. Крестцы славились вышивкой, которая так и называлась «крестецкой строчкой». Дуду и моя нянечка были

мастерицами в шитье и вышивке. Всё детство нянюшка меня обшивала, особенно она любила шить костюмчики для моих кукол из розового целлулоида. Кукол в те послевоенные времена у меня было три, но все с большим гардеробом. Нянечка была доброты неземной, всё мне прощала и совершенно не занималась тем, что называется воспитанием. Она была малограмотная, но сама выучилась писать и читать. Набожность и церковность няни сыграли большую роль в моём сердечном и душевном воспитании. Помню, как она почти машинально, но постоянно молилась, казалось, между делом... Моим первым учителем была она, и уже в три года я разбирала по складам предложения.

С личной жизнью ей не повезло. Первый раз она вышла замуж в тридцать два года, и муж её умер в первую брачную ночь. Второй оказался пьяницей и бил её. Стерпеть она этого не смогла и ушла от него. Детей у неё не было, а любовь к ним была большая. Так она и попала в нашу семью, вначале выходила, вынянчила моего отца (её Гуленьку), а потом уж и меня. Жила она вместе с нами и была совершенно родным человеком.

Прогулки с няней были каждодневными. Почти каждый день мы ходили в Александровский сад (напротив Адмиралтейства) или доходили до Михайловского и Летнего. Весной мы собирали подснежники в большие белые букеты. Осенью — жёлтые и красные листья, а в маленькую корзиночку шли жёлуди. Зимой — санки, катание с ледяных горок, бух... и всё лицо жжет, нянечка меня бранит, выбивает из валенок снег.

Я была упрямым ребёнком и иногда донимала свою добрую нянюшку. Наделаю проказ за день, а перед тем, как должны придти домой мама и отец, целую и милую няню, и умоляю ничего им не рассказывать. Наказаний от родителей не получалось, да, видно, и не за что было.

Но однажды мои фантазии превзошли себя!

Как я уже говорила, у меня было три куклы, одну из них звали Ира, был Петрушка, который надевался на пальцы, я представляла им разные сцены, и разговаривала за него, и ещё был большой медведь. Почему-то я его не любила. Он был страшно облезлый, внутри

его что-то сухо трещало. Однажды мама и папа, как обычно, поутру ушли. Я осталась в квартире с нянечкой, которая занималась хозяйством на кухне.

В своей комнате я разговорила со своей любимой куклой Ирой и... не знаю, — то ли она подала мне идею, а может быть, запахи, шедшие из кухни. Только я потихоньку пробралась в столовую и стащила из буфета огромный кухонный нож с костяной ручкой. Я знала, что в комнате у нас всегда была электрическая плита (с металлическими спиральками), которую включали для подогрева температуры в холодные дни. Потом я взяла медведя, положила его на пол и разрежала на куски, затем поставила детскую игрушечную сковородку на плиту, вставила штепсель в розетку, разложила куски медвежатины на сковородке. Мишка запылал довольно быстро. Нянечка прибежала из кухни с кувшином воды, так как запах горелого быстро распространился по всей квартире.

Она плеснула на моё «блюдо» и оно завоняло и задымилось ещё больше. Опилки из медведя плавали по всему паркету, я рыдала с оправданиями, что хотела приготовить ужин для папы и мамы. Но где-то внутри себя я была рада, что расправилась с ненавистным мне скрипучем медведем. Скрыть это происшествие от родителей не удалось. Меня наказали жестоко, отняли все книжки на несколько дней. Нянюшка переживала больше меня за то, что не получилось утаить мою шалость от родителей. Она чуть не плакала от жалости ко мне, целовала и успокаивала.

Мама моя — красавица, драматическая актриса — полжизни проработала в ТЮЗе (начала у Брянцева), а приехала она в Ленинград в 1935 году с Камчатки, наполовину нанайка, а вторая половина украинской крови. Все в её семье были охотники и золотоискатели, сама она унаследовала от своей матери, Марии Курковой, удивительный дар шитья, вязания, вышивки, прекрасно готовила, любила людей и животных. Так что, детство своё я проводила не только на ершовском рояле, но и за кулисами ТЮЗа, в окружении живых сказок. Мама обладала на редкость стойким и сильным характером, она похоронила двух малолетних детей (мою младшую сестру и брата), это горе было сильнейшим потрясением для неё.

Когда отец привёз маму из больницы, её волосы, прежде иссиня-чёрные, были совершенно седыми. Мне было пять лет, и помню, как я испугалась: в первый момент я не узнала её и заплакала.

Школу образца пятидесятых годов, и особенно её учителей, я ненавидела. Видимо, это было «взаимной любовью», но я всё-таки как-то умудрялась переходить из класса в класс. Мне было неинтересно учиться, читала я всё подряд и запоем, а интереснее всего мне было дома, с музыкой и живописью, в общении с родителями и их друзьями. Меня всю жизнь тянуло к взрослым разговорам, я всем сердцем и душой чувствовала, и почти осознавала эту особенность нашего домашнего «оазиса».

От ранних школьных воспоминаний у меня остались в памяти стоп-кадры, как мы весело вместе с нашей классной руководительницей срывали со стен портреты Сталина и сваливали их в кучу в центре актового зала.

Помню, как лет в тринадцать я пришла на школьный вечер не в белом переднике и в красном пионерском галстуке, а в хорошеньком и очень простом ситцевом платье розового цвета. На следующий день моих родителей вызвали в школу на проработку. Не то чтобы я стремилась выделиться специально из серой массы униформы и столь же программной серости учебников, но почему-то я всегда вызывала чувство раздражения у учителей, потом у педагогов в институте, позднее — у чиновников-партийцев и законопослушных граждан.

В тот же ранний период начальной школы я переболела сразу всеми детскими болезнями и настолько ослабла, что волосы мои стали выпадать пучками. Родителям пришлось меня обрить наголо, дабы их дочка не походила на плешивую кошку. Я помню, какой шок это вызвало в школе. Это было воспринято, как вызов! Общественному спокойствию был нанесён удар, будто я нарочно устроила себе такую причёску (хотя в то время панки и скинхеды ещё не народились).

Однажды вернувшись домой из школы (шёл 1955–1956 г.), я застала у нас двух незнакомых мне людей. Муж и жена оказались друзьями отца. Из разговоров во время ужина я поняла, что они были

реабилитированы и только что приехали в Ленинград после ссылки из города Бугульма. Он просидел двадцать лет, в ссылке женился. Посадили его совсем юношей в тридцать шестом году, причин было много: собирались вместе, говорили об искусстве и религии, а ещё он был в силу своего происхождения записан в третью «Бархатную книгу». Я запомнила его молодость и светящиеся глаза, несмотря на проведённые годы в лагерях; было чувство, что жизнь его только начинается. В тридцатые годы они вместе с моим отцом учились в Академии Художеств, но А.Б. так и не удалось закончить образование.

Мой отец был рад гостям, растерян и суетился вокруг стола угощая друзей и подливая в рюмочки водки. Из разговоров я поняла, что папа и мама «пропишут» своих друзей в нашей квартире для улаживания всяческих паспортно-квартирных формальностей, для спокойного начала их новой жизни.

Сейчас уже не помню точно, в этот или в другой день его товарищ принёс нам прочитать в самиздате Твардовского «Тёркин на том свете». Отец читал маме вслух целые куски, много смеялся, было общее чувство радости. Окончив чтение, он подошёл к печке-колонке, которая стояла у нас в ванной, и съёг листик за листиком всю поэму. Я отчётливо помню своё состояние неловкости за отца, стыд перед его другом и почему-то я заплакала, глядя на сгорающие листики.

Уже с тринадцати лет я стала рисовать, и отец меня в этом очень поддержал. В 1947 году он закончил Академию художеств им. Репина, дипломной работой его были замечательно исполненные иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». (Впоследствии они были напечатаны в его полном собрании сочинений) Он успел поучиться у И.Я. Билибина, всегда вспоминал его с огромной благодарностью. Рисовальщик и живописец папа был прекрасный, а главное, он был наделён даром творческим, а не просто реалистический копировщик натуры. Видимо то, что он был ещё хорошим актёром и певцом, помогло ему в будущем преображать и развивать своё ремесло художника и не останавливаться на достигнутом. Учился он всю жизнь и меня учил этому. К концу пятидеся-

тых годов он из правоверных соцреалистов, рисовавших «сухой кистью» рабочих, сталеваров, колхозниц и даже Сталина, превратился в абстракциониста. В нём произошёл серьёзный перелом, и он, что называется, опять «засел за тетради». Я помню, как он брал меня с собой в Эрмитаж (на третий этаж), где вновь после долгого перерыва открыли залы с Пикассо, Сезанном, Матиссом, Гогеном и импрессионистами.

«Третий этаж» был настоящим событием в жизни страны! Ещё один глоток свободы, люди приходили отдышаться в этих залах, поспорить — иногда до крика и оскорблений в адрес выставленных «невинных» полотен. Папа приводил меня сюда каждую неделю, объяснял, молчал, подолгу сидел в залах, делая для себя зарисовки и записи в маленьком альбоме.

Первое и неизгладимое впечатление — для меня это был Матисс (весь!) и Ван Гог — его «Сиреневый куст». Видимо, всё увиденное на «третьем этаже» было так красиво, так необыкновенно, свободно и правдиво, что меня стало туда тянуть как магнитом. Если бабушка окунула меня в звуки музыки и театра, то отец открыл мне мир современной живописи, музея, библиотеки. Я ходила в Эрмитаж чуть ли не по три раза в неделю, сидела и заморожено смотрела, ну, и невольно слушала высказывания нелицеприятных посетителей, в двубортных шевиотовых костюмах, по поводу всего «безобразия повешенного» в этих залах.

Редкий зритель был внимателен к этим произведениям, но таких посетителей становилось всё больше и больше. Хрущёвская оттепель давала о себе знать, страх постепенно отступал, было ощущение, что прорвалась плотина и уж теперь ничем этот поток не остановить. Люди возвращались из лагерей и ссылок, ощущение лёгкости, счастья общения и новой жизни витало в воздухе.

В нашем доме всегда было полно друзей, которые приводили в свою очередь своих. Читали Ахматову, Мандельштама, первый самиздат. Среда и атмосфера дома, дружеские и доверительные отношения между мной, отцом и матерью, открытость ко всему новому, любопытство — хотелось объять и узнать всё, — заложили во мне крепкий фундамент на всю жизнь. Дом был всегда полон гостей,

помню, что мы никогда не садились за стол только семьёй. За столом были весёлые и интересные разговоры, споры, пение под гитару или чтение стихов.

Мой единственный (единокровный) брат Алёша жил с нами с тринадцати своих лет, он был старше меня на полтора года. Между нами образовалась нежная дружба, и я очень любила своего столь неожиданно приобретенного брата. До этого времени Алексей жил в Москве у своих дедушки и бабушки (его родная мать виделась с ним крайне редко). Он вошёл в нашу гостеприимную семью и мама моя с радостью приняла его как родного сына. Родители позволяли нам устраивать вечеринки, и уже лет с четырнадцати-пятнадцати лет мы приглашали своих друзей, могли слушать музыку и новые записи с Эллой Фицджеральд и Луи Армстронгом. Папа частенько присоединялся к нашим молодёжным посиделкам, любил потанцевать буги-вуги, поболтать, выпить стаканчик сухого вина. Для многих, кто приходил к нам в те годы, память об этом общении, атмосфера дома сыграли большую воспитательную роль в сознании и понимании происходящего в стране. Правда, отец не забывал мне говорить: «Всё, что ты слышишь в доме, ты не должна повторять ни на улице, ни в школе». Подсознательно я понимала, что эта двойственность, в которой мы жили, осталась нам в наследство от страшных сталинских лет. Папин урок я усвоила крепко и на всю жизнь.

В конце 50-х годов в Ленинграде появился англичанин, звали его Эрик Эсторик. Он был коллекционер живописи и имел большую галерею в Лондоне. Что его привело в те годы в СССР, не знаю, но он побывал и в Москве. Совсем не так давно Оскар Рабин в Париже вспоминал Эсторика и говорил мне, что его галерея существует до сих пор. Видимо, рассказы о новоиспечённом «русском авангарде», хрущёвской оттепели докатились тогда и до Лондона.

Конечно, по приезде в Ленинград иностранный отдел Союза художников дал Эсторiku адреса вполне официальных и апробированных художников. Но «неиспорченный» телефон подсказал ему список тех художников, которые работали как бы «за шкаф»,

чьих картины не могли быть выставлены в стенах ЛОСХа. Среди них были такие как П. Кондратьев, В. Матюх, А.Каплан, И. Ершов... и наверняка другие, о которых мы не знали. Все посещения держались в тайне, но какая тайна могла быть от следующих по пятам за англичанином лиц из КГБ.

Помню, что именно Анатолий Львович Каплан привёл к нам Эрика Эсторика. После первого посещения Ленинграда он приезжал ещё два раза. Влюбился в литографии А. Каплана, его серию иллюстраций к Шолом Алейхему, сумел вывезти их и выставить в Лондоне.

Благодаря этому Анатолий Львович приобрёл известность и возможность лечить свою единственную больную дочь Любочку. С моим отцом их связывала старая дружба и «халтура»: для заработка они писали официальные портреты «сухой кистью» и панно для украшения парадов. Они работали в «две руки» — Анатолий Львович писал костюм персонажа, а папа лица. Прекрасно помню наши посещения дома Капланов, и потрясающе вкусную еврейскую кухню — фаршированную щуку и сладости, которую готовила его добрейшая жена.

Эсторик был огромного роста, толстый, с чёрной клочковатой бородой и сигарой; он походил на персонаж сказки «Синяя борода». Простота взаимодействия облегчалась тем, что мой отец и Эрик хорошо говорили по-немецки.

Как-то сразу образовались в нашей квартире таинственность, радость и страх. Помню, как мама готовила нечто типично русское (чем удивишь миллионера?), а толстяк с удовольствием лопал щи с грибами, блины с селедкой и запивал всё стопкой водки. Мне он казался милым, но уж очень из неизвестности — «оттуда», почти как изображали в журнале «Крокодил» карикатуры на капиталистов.

Отец был в большом эмоциональном возбуждении и показывал свои работы с каким-то остервенением. Начал с живописи, потом, устилая весь пол в комнате (она же заменяла мастерскую), замелькали кипы чёрно-белых рисунков, гуашей, акварелей. Англичанин купил много папиных работ. Отец был счастлив, и не только потому, что Эсторик хорошо заплатил, но это было для него настоящим

первым признанием со стороны коллекционера, да ещё иностранца. Благодаря папе Эрик смог познакомиться с ещё несколькими художниками, которые начинали в то время работать в области эксперимента.

Но после отъезда Эсторика ощущение радости и праздника в доме смешалось с состоянием страха.

Не знаю, почему я выглянула в один из вечеров в окно, — на улице под нашими окнами я увидела серого цвета «Победу», рядом с ней, прислонившись спиной и внимательно наблюдая за нашими окнами, стоял мужчина. На следующий день история повторилась. Внутри меня что-то захолонуло. Отец и мама сидели у нас на кухне. Ох уж эти кухни шестидесятых годов! Это было излюбленное место посиделок наших друзей, сколько выпито и сколько доверено их стенам.

«В следующий раз мы "его" (англичанина) пригласим с кем-нибудь из наших знакомых... всё равно с кем, соберем компанию, а они ведь свидетели. Мало ли что нам ещё предстоит в связи с ним», сказал отец. Я услышала это совершенно случайно, но сколько вопросов я задала себе сразу же! Потом он перешёл на шёпот, заговорил о том, что он постоянно чувствует за собой слезку, что он видел странного вида людей, толкавшихся у нас в подъезде. После второго приезда Эсторика отец впал в тяжелейшую депрессию. Его преследовали ночные кошмары, к нему вернулся нервный тик с подёргиванием головой.

И ОПЯТЬ О БАБУШКЕ...

Я снова возвращаюсь к записям моей бабушки. Думаю, что для полного представления о том, в какой атмосфере рос мой отец, а потом я, важно привести отрывки из её воспоминаний. И ещё: описания её юности и моей сопоставимы только в возрастной параллели. Мир, в который нас окунули события 1917 года, раскололи историю России, людей и семьи на две чёрно-белых и не склеиваемых половины. Последующие семьдесят лет лет Советской власти изуродовали сознание и души русских людей. Представления о том, что такое добро и зло, сместились. Сын доносил на отца, отец на сына, и оба были героями. Страх парализовал Совесть, машина уничтожения Души работала отменно.

«Летом 1906 года, мне было тогда девятнадцать лет,» — пишет бабушка — «родители решили впервые выехать вместе с нами к моей старшей сестре Нине в Варшаву. Мама с облегчением уезжала из Тифлиса, где её всегда томили внешние формальности, связанные со служебно-светским положением моего отца. Мама была крайне набожным человеком и в нас, детях, она воспитывала молитвенность и церковность. Моя старшая сестра, в будущем, перейдя в Протестантство в Швейцарии, стала одним из известнейших деятелей и проповедников. К ней приезжали за советом со всех концов Европы. (Нина Владимировна скончалась в возрасте девяноста девяти лет.)

Мы прожили в Варшаве несколько месяцев, когда мама получила письмо от своей подруги из Лейпцига, в котором она описывала

музыкальную жизнь этого города. Видимо, это послужило нам веским доводом для решения переехать и обосноваться на какое-то время в этом городе. Мама считала, что я смогу продолжить своё музыкальное образование. Отец, проводив нас в Лейпциг, вернулся обратно в Тифлис к месту своей службы.

Лейпциг, большой старинный город, несколько суровый по внешнему виду, в особенности по сравнению со светлым, в той же Саксонии, Дрезденом, издавна славился как колыбель великих музыкантов. Здесь жил И. Бах, Ф. Мендельсон, Р. Шуман и Р. Вагнер. Могла ли я тогда подозревать, какую коренную роль в моей жизни сыграет этот композитор? Я впервые услышала музыку Вагнера весной 1906 года в Тифлисе. То была увертюра к опере «Лоэнгрин» под управлением Льва Штейнберга. Музыка эта произвела на меня изумление полным несходством со всем, что я до этого слышала в ранней юности. И вот, прошло полгода, как обстоятельства привели меня в город, где родился Вагнер.

В репертуаре Лейпцигского театра были почти все произведения Вагнера. Первым услышанным мною сочинением оказался «Тристан и Изольда». С трудом я достала стоячее место на галёрке, как сейчас помню, что это было в левом углу, почти у колосников сцены. Артистов, декорации и сценического действия я видеть оттуда не могла. Оставалось одно: закрыть глаза и слушать оркестр и певцов. Я простояла пять часов в полной духоте, выдержав три длиннейших акта, и ощутила полное опьянение от изумительных по красоте нескончаемых потоков гармонии и тончайших модуляций.

С тех пор я "заболела" Вагнером!

За три года жизни и учёбы в Лейпциге я познакомилась со всеми его операми, а в 1907 году, летом, услышала впервые «Парсифаля» на Вагнеровских празднествах в Байрейте. Быть принятой в старейшую консерваторию имени Мендельсона по специальности фортепьяно оказалось для меня совсем несложным делом, я успешно прошла все экзамены. Моя подготовка дала мне возможность выбрать класс маэстро, у которого я хочу учиться. Обучавшиеся здесь русские студентки увлекли меня к своему "папочке", как они

называли тогда профессора Карла Вендлинга. Приветливый, добродушный баварец признал руки мои весьма пианистичными и зачислил в свой класс. Моё признание ему, что я недостаточно быстро запоминаю на память музыкальные произведения, не испугало его. Оказалось, что в Лейпцигской консерватории и даже в Концертном зале Гавандхауза в то время допускались публичные исполнения по нотам. Мне пришлось убедиться в этом на выступлении знаменитого пианиста Рауля Пюньо. Карл Вендлинг был либералом, особенно он был уступчив в работе над пианистической техникой. Он часто играл нам в классе любимого им Шопена. К этому времени он уже ушёл с концертной эстрады, но на всю жизнь я запомнила его бархатные туше и прекрасный вкус, в нём отсутствовала какая либо сладость и пошлая патока. С его стороны я получила большую поддержку в моём увлечении музыкой Вагнера. Более того, я призналась ему в моей мечте стать певицей, а не профессиональной пианисткой.

Моё обучение фортепьяно шло настолько успешно, что я получила предложение войти в студенческий оркестр, а на публичных выступлениях и учебных концертах в большом зале Лейпцигской Консерватории мне посчастливилось солировать и сыграть с оркестром «Концерт Рубинштейна» и «Концерт Шумана». На выпускном экзамене, который состоялся 5 марта 1909 года, я играла вторую и третью части «Второго концерта» Сергея Рахманинова. После концерта я была представлена Артуру Никишу, моему смущению и трепету не было предела. Хорошо, что я не знала до экзамена о его присутствии в зале. Он с абсолютной естественностью похвалил моё исполнение и пригласил посетить его концерты, своему секретарю он дал распоряжение, что я могу совершенно бесплатно ходить на все его абонементные вечера.

Речь шла о знаменитых концертах оркестра Гевандхауза, за дирижёрским пультом которого стоял Артур Никиш. С начала октября и по конец марта (ежегодно) шли эти знаменитые абонементные концерты при участии выдающихся мастеров-солистов, достигших зенита мировой славы. Генеральные репетиции были открытыми для студентов консерватории, и могу сказать, что это было настоя-

щим "музыкальным университетом" для нас. Благодаря подарку Артура Никиша, я смогла почти каждый вечер присутствовать на его концертах. Я услышала исполнение великих пианистов того времени: Эмиля Зауэра, Артура Шнабеля; скрипачей: Пабло Сарасате, Яна Кубелика, Фрица Крейсlera; контрабасиста Сергея Кусевичского, который впоследствии стал выдающимся дирижёром.

Уже после выпускного экзамена я получила много заманчивых предложений в перспективе продолжить свою пианистическую карьеру, но судьба чётко вела меня по другому пути. Да видно, и сама я внутренне сопротивлялась, а по получению мною диплома об окончании консерватории с золотой медалью, мама моя, наконец, поддержала моё решение начать учиться пению. В это же время я услышала и увидела на сцене знаменитую Лилли Леман. Именно она сыграла самую решительную роль в моём дальнейшем образовании, и даже (забегая вперёд) в моей последующей педагогической деятельности.

Придя в очередной раз на концерт в Гевандхауз, я впервые увидела Лилли Леман. Она исполняла два совершенно контрастных произведения: арию Царицы Ночи из «Волшебной флейты» Моцарта и Смерть Изольды из «Тристана и Изольды» Вагнера.

Несмотря на свои шестьдесят лет, певица поразила меня молодостью и свежестью голоса. Вся внешность Лилли Леман, величавость осанки, исполнительское мастерство, живость движений ещё более изумляли при её совершенно уже седых волосах. Мне страстно захотелось попробовать учиться вокалу именно у неё. Пребывая в 1909 году на курорте в Мариенбаде, я случайно увидела в списке отдыхающих имя Лилли Леман.

Не понимая, что делаю, я решила обратиться к ней с письмом о возможном прослушивании меня. Через несколько дней я получила ответ с назначенным часом и что моё прослушивание состоится в комнате, которую она занимала в курортной гостинице.

Сердце моё билось от волнения, но, к сожалению, напрасно. Накануне прослушивания она тяжело заболела, и я узнала об этом через нашу общую знакомую, которая передала мне от неё письмо и книгу с самыми горячими извинениями. Уже позже я узнала,

что Лилли Леман много гастролировала, по своему возрасту даже слишком много, у неё началась своего рода депрессия, и своих учеников ей пришлось передать ассистенту. Так что ученицей Лилли Леман я не стала, но книга, которую я получила от неё в подарок, сыграла немаловажную роль в моей дальнейшей судьбе. Это был большой труд самой Лилли Леман под названием «Моё искусство пения», изданный в Берлине и в котором раскрывалось аналитическое мышление и методика личного опыта певицы — мастера своего дела. Её книга стала своего рода путеводной звездой на всю мою профессиональную последующую певческую карьеру. А когда у меня появились ученики, то я распространила этот метод и на них. В сороковые годы, после войны, я за это жестоко поплатилась, меня выгнали из Консерватории и лишили профессорского звания. Причина — "увлечение буржуазно-беспочвенным идеализмом системы Лилли Леман". Да, это было не столь смешно, как грустно!

Летом 1908 года, ещё в Германии, за год до возвращения в Россию, я познакомилась с моим будущим первым супругом, Александром Сергеевичем Андреевским. По профессии он был юрист, но его настоящей страстью была музыка и опера. Он был сыном поэта и литературного критика, а по профессии — криминалиста, Сергея Аркадьевича Андреевского, который прославился защитой по делу Веры Засулич. Не раз мне приходилось в последствии встречаться в доме моего мужа и с их другом А.Ф. Кони.

Весь свой досуг Александр Сергеевич отдавал музыке. Отсутствие специального образования не мешало ему прекрасно разбираться в стилях, а свободное владение немецким языком позволило ему остро и глубоко проникнуть в поэтику драм Вагнера. Как ни странно, но именно от А.С. я впервые услышала о "русском вагнерианце" Иване Ершове. По глубокому убеждению Андреевского, он не имел себе равных в исполнительском мастерстве, даже в Германии.

Наступила осень 1909 года, и пришло время возвращения в Петербург, где после трёхлетней разлуки, должна была состояться наша встреча с отцом. Если моя мама и мой будущий супруг А.С. Андреевский всячески поддерживали моё решение начать серьёзно обучаться вокалу, то совершенно неожиданно вмешался мой отец.

Он впервые был резко против! Главным доводом было то, что он не желал видеть меня в "роли" оперной певицы. Для меня это было совершенно неожиданно, так как по натуре он был человек мягкого и ровного характера.

Как ни странно, но своё согласие на мою певческую карьеру я получила от него только после того, как А.С. попросил официально моей руки. В 1910 году я вышла замуж и поступила в класс знаменитой Марии Александровны Славиной.

Через несколько месяцев отец услышал результаты моих трудов и уже не только не возражал, а через какой-нибудь год сам охотно аккомпанировал мне на фортепьяно при моих домашних выступлениях.

Мария Александровна Славина поражала своей внешней незаурядностью. Очень высокого роста, широкий мужской склад фигуры, огромные лучезарно-голубые глаза, лёгкая поступь и крепкоежатие руки. Мне ещё посчастливилось увидеть эту знаменитую артистку на сцене Мариинского театра. Ведь её сценическое мастерство было озарено светом интеллекта и большим музыкальным вкусом.

Моя упорная работа в классе, труд Лилли Леман, к которому я постоянно обращалась, помогли мне понять всю сложность вокального искусства.

В период 1909–1910 годов я увидела за дирижёрским пультом Мариинского театра Эдуарда Францевича Направника. В то время ему было уже за семьдесят, но его пылкости и темпераменту мог бы позавидовать молодой человек, а на сцене в исполнении Леонида Собинова я впервые услышала «русского Лоэнгрина». После этих встреч и знакомства с Вагнером в Петербурге, я окончательно, со всем юным пылом души, примкнула к "русским вагнерианцам"».

После двухлетнего обучения вокалу в Петербурге, бабушка едет со своим первым мужем в Германию. Два года, 1911–1912, она проводит в настоящем изучении Вагнера и его репертуара. Близкое знакомство с музыкальным критиком В.П. Коломийцевым и дирижёром Кусевицким привело к тому, что её приглашают принять участие в сезоне концертов, посвящённых столетию Вагнера

в Петербурге. Она не нашла в себе сил отказаться от столь лестного предложения, хотя «волновалась и умирала от страха». И вот 6 февраля 1913 года её фамилия появляется на афише рядом со знаменитым исполнителем Вагнера — Иваном Ершовым. Дебют был настолько блестящим, что Софье Акимовой-Андреевской предлагают подписать контракт и быть зачисленной в труппу Мариинского театра уже с октября месяца 1913 года. С этого момента начинается её карьера оперной певицы и партнёрши по сцене Ивана Ершова, во всём многообразии вагнеровских персонажей (Зиглинда, «Валькирия»; Гутруна, «Гибель богов»; Елизавета из «Тангейзера» и Эльза из «Лоэнгрина»)

Поздней осенью 1914 года она расстаётся со своим первым мужем и переезжает на новую квартиру. В ту пору все её чувства и мысли были обращены только к одному человеку. Седьмого ноября 1916 года у Софьи Акимовой и Ивана Ершова рождается сын, которому они дали имя Игорь.

ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МОИМ ОТЦОМ В 1941 ГОДУ

Мы часто и подолгу гуляли с отцом. Зимой, когда было много снега, катались на финских санках и доезжали аж до Каменного острова, часто брали лыжи и катались в Удельном парке или ехали на электричке к нашим друзьям в посёлок Комарово. В те годы, вплоть до начала восьмидесятых, стояли хорошие и снежные зимы.

Мы совершали многочасовые равнинные, лыжные походы. Мороз, снег, зимнее солнце, сосновый лес и весёлое настроение. Часто к нам присоединялись друзья, а после такого дня приятно было выпить рюмочку водки в тепле и уюте большого дома наших друзей Парай-Кошицев.

Летом мы много купались в Щучьем озере или на заливе. Вечерами гуляли по белому песку залива, жгли костры и много разговаривали. Эти разговоры были фундаментом наших отношений. Сколько из них я узнала, поняла, научилась мыслить и анализировать.

После отъезда иностранца отец переживал не самый весёлый период, в доме воцарилась тяжёлая и нервная обстановка. И самое странное, что, общаясь с друзьями, а иногда находясь в компании с полужнакомыми людьми, где-то в середине вечера, он начал рассказывать историю, происшедшую с ним во время войны. История была скорее постыдная, хвастаться особенно было нечем, а мне — дочери, влюблённой в своего отца, — было больно каждый раз видеть реакцию людей на этот рассказ.

К началу 1939 года мой отец уже был студентом Академии художеств им. Репина. Способности у него были большие, и после двухлетнего пребывания в подготовительных классах его зачислили на живописное отделение. Уже позднее он перешёл на графическое, где его учителем стал И.Я. Билибин. Иван Яковлевич вернулся в СССР из эмиграции в 1939 году, скончался от голодной смерти во время осады Ленинграда. Он жил в Академии художеств совершенно один, а в страшные блокадные годы, голодая, рисовал съедь и, в частности, грибы. На полях рисунков писал «вот эти бы грибочки сейчас на сковородку, да со сметанкой...» Говорят, что он ждал немцев, и вполне сознательно, так как возвращение на Родину принесло горе и разочарования.

Как я уже писала, отец мой был очень эффектным мужчиной, обладал хорошими певческими способностями, темпераментом и голосом. Дед и бабушка никак не толкали его на оперную сцену, но по собственным наблюдениям могу сказать, что терпения к занятиям голосом у папы не было. После войны он был принят в Малый оперный театр, где пропел два сезона и снялся в опере-фильме «Дон Жуан».

К сожалению, этот фильм не вышел в прокат, так как попал под очередную сталинскую компанию по борьбе с «рenegатством». Моя мама — красавица и ведущая актриса ТЮЗа — играла в этом фильме Донну Анну.

Итак, шёл 1941 год, и в Академии художеств, впрочем, как и по всей стране, стали сколачивать добровольческое ополчение. История сталинского призыва в ополчение теперь хорошо известна, в него как в сети попало много невоенных интеллигентов, талантливых инженеров, писателей, художников, учёных — тех кого презрительно тогда называли «вшивой интеллигенцией». Этот пласт абсолютно не подготовленных молодых людей был обречён на смерть, что и входило в многослойные и хитроумные планы «вождя народов». Многие из них погибли, не успев взять ещё и винтовки в руки.

К моменту записи в ополчение мой отец получил «белый билет». Как он рассказывал, у него на медицинской комиссии был обнаружен порок сердца и ярко выраженное нервное расстройство,

короче, «нервный тик». Дед и бабушка к этому времени уже уехали вместе с консерваторией в эвакуацию в Ташкент и, будучи освобожденным от воинской мобилизации, отец решил податься к ним. Надо сказать, что к моменту начала войны мои родители были уже близко знакомы, их роман начался в 39-ом году, после того как папа расстался со своей первой женой Мариэттой Гизе. В самом начале войны мама уехала вместе с ТЮЗ-ом на фронт, где они «гастролировали» с актёрскими бригадами, а потом осели в эвакуации в городе Березняки. Переписка между ними практически не прерывалась, только помню, что мама всегда ужасалась письмам, которые она получала от отца. Совершенно не думая, а может и не понимая, что существовала фронтовая «цензура», он писал ей «всё, как думает» и крыл на чём свет стоит политику партии и правительства.

Попасть из Ленинграда в Узбекистан можно было только на пересадочных поездах. Отец быстро собрал маленький чемоданчик и, послав родителям телеграмму типа «Выезжаю, встречайте, Игорь», устремился на вокзал. Так как никаких толковых карт и путеводителей по дорогам СССР в те годы не существовало, а ориентироваться в пути ему было необходимо, то отец вырвал страницу с картой и с объяснением местности из старого «Немецкого диксионера» (словаря). Карта была замечательно составлена с пунктуальностью, присущей немцам, и с красивейшим готическим шрифтом. Этот многотомный словарь с цветными репродукциями, переложенными папиросной бумагой, — издание середины девятнадцатого века — успел сослужить в последствии мне куда более добрую службу, чем отцу в тот момент.

Не стоит подробно описывать поезд, в котором он оказался, всё это мы видели сотни раз в кино: набитость до отказа, дети, старики, мешки, чемоданы, духота... Папа говорил, что он устроился на «третьем ярусе» полка, а внизу ехала большая еврейская семья, которая всю дорогу его сердобольно подкармливала. Одна из женщин бесконечно причитала: «Нас всех убьют, нас всех убьют, нужно было оставаться дома...» Пожилой старик еврей разговорился с отцом и, узнав, что отец свободно говорит по-немецки, перешёл на идиш. Поезд то шёл, то подолгу стоял, то откатывался назад, вдале-

ке были слышны орудийные раскаты и звуки бомбёжек. На одной из станций, совершенно потеряв ориентацию, не понимая, где же они находятся, отец вынул карту из своей полевой сумки и стал её рассматривать. Было уже довольно темно, и разобрать какие-либо детали, сообразуясь с окружающей местностью, не было никакой возможности. Отец спрыгнул из вагона и при помощи слабого карманного фонарика пытался всмотреться в детали карты, увлёкся и не заметил, как к нему подошёл военный: «Что это вы тут высматриваете, молодой человек?» — резко спросил он. «Да вот, пытаюсь разобрать по карте, где мы находимся... а это трудновато» — простодушно ответил папа. «Покажите-ка мне вашу карту. Странная карта. Откуда она у вас?» — и вдруг резко: «А ну-ка идём! Там разберёмся!» Подтолкнул отца прикладом ружья к машине и его, голубчика, повезли в неизвестном направлении. Шофёр да военный полушёпотом переговаривались, и по перелётным словам отец услышал страшные слова — «немецкий шпион».

Он оказался в Вологде, привезли к монастырским стенам. Сразу руки за спину и поволокли в комнату, где сидел молодой, весёлый и злой капитан. На пустом столе перед ним лежал пистолет и злосчастная географическая карта отца. Всё происходило по классическому сценарию — угрозы, крики, мат, запугивания расстрелом — что при создавшейся ситуации и подозрении на «шпионаж» было более чем реально. Кажется, в какой-то момент отцу все же удалось вставить несколько слов, где он попытался прояснить обстановку, назвал свою фамилию и, конечно, сослался на своего отца Народного артиста Ивана Ершова, находящегося в эвакуации в Ташкенте.

Допрашивающий его военный совершенно не поверил всем объяснениям отца, а, может быть, очень быстро сообразил, что перед ним сидит абсолютно расквашенный и смятый от страха молодой человек. Допросы с угрозами продолжались несколько суток, в лучших традициях тогдашнего времени. И однажды, уже потеряв счёт дням, после очередного разговора с капитаном, его повели не в обычную его камеру, а по длинной очень узкой каменной лестнице куда то в подвал. У отца мелькнула только одна мысль: «Вот сейчас и пристрелят», что было абсолютно логично в подобной ситуации.

Наконец они упёрлись в тупик, и солдат, гремя ключами, в полутемноте нащупал дверь и втолкнул отца в помещение. Отец оказался в крошечной темноте, только под ногами чувствовалась слизкость каменного пола. Но вдруг он услышал дыхание и движение и в почти крошечной темноте к нему приблизился старец, вылитый граф Монте-Кристо, с длинной седой бородой и в белой рубашке.

«Молодой человек, я хочу Вам представиться, меня зовут Барклай де Толли. Да, да, мой предок тот самый Барклай». Отец был совершенно заворожен видением старика, а пережитый арест и допросы с угрозами расстрела повергли его в состояние нереальности всего с ним происходящего.

Он рассказал старику о случившемся с ним «недоразумении». Весь внешний облик старика создавал образ человека, которому далеко за семьдесят, его манера говорить выдавала в нём благородное происхождение. Оказывается, он был специалистом по части артиллерии и притом очень талантливым конструктором-изобретателем. И вот, с начала 1919 года его то сажают, то выпускают. Как только его знания как специалиста востребуются, то он выходит на свободу, но проходит какое-то время, и он опять в тюрьме. В его рассказе не было ни капли возмущения, а скорее юмор и покорность судьбе. На воле у него оставались родные, которых не трогали, и когда его выпускали, он жил у них. Теперь уже давно как он не имеет от них никаких известий; живы ли они, не пострадали ли из-за него? Как только началась война, его сразу арестовали и здесь, в Вологде, он сидит второй год, но думает, что скоро перевезут в другую тюрьму.

Допросы отца продолжались, и таких ночей было три-четыре. И тут я могу предположить, что отец испугался не на шутку. Запрос о его личности, который был якобы послан, а ответа не получено, окончательно убил надежду на помощь со стороны родителей. Как знать, а может быть, это был хитрый и расчётливый приём ГБ.

Так прошёл месяц, и однажды Барклай, проснувшись, сказал моему отцу: «Завтра Вас отпустят, молодой человек». Отец был настолько сломлен морально, что не очень в это поверил, но спросил

его как он может знать об этом. «Я видел, как Вы выходите отсюда... Одна к Вам просьба. Когда будете на воле, позвоните моему племяннику и скажите ему, что я жив и здоров, но волнуюсь за них. Постарайтесь запомнить номер телефона».

На следующее утро отца действительно освободили. Якобы, накануне было получено сообщение в подтверждение его личности. Он смог продолжить своё путешествие в Ташкент. Племяннику Баркляя де Толли он не позвонил, испугался. Правда, уже после войны наводил справки о старике и узнал, что тот скончался в пятидесятых годах на свободе.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ

Расположить слова в порядке
И обозначить очертания предметов.
Не предсказанность наших слов,
стала для нас запретной темой...

Почему-то именно после отъезда английского коллекционера отец прилюдно стал рассказывать о случившейся с ним истории во время войны. Было чувство, что он страдал, мучился душевно, метался и не знал, что ему делать.

В то время я, видимо, была не столь наблюдательна, как позже. Но уже и тогда я замечала за отцом некоторые странности, а иногда мне казалось, что он как-то по-особенному говорит по телефону. Это был как бы другой язык, с непохожими ни на что интонациями.

Несколько раз я столкнулась в нашем длинном коридоре со странными людьми, такого вида людей среди наших гостей я не замечала. Лица, глаза, манера держаться, говорить — они приходили из незнакомого мне мира. Встретившись случайно с одним из них в передней (отец только что открыл «ему» входную дверь и пропустил в квартиру), меня оттеснил в комнату и, ни слова не сказав, не поздав с гостем, плотно закрыл дверь в мою комнату. Это был человек, которого от меня хотели скрыть. Я совершенно не понимала почему. В нашем доме, так широко и открыто принимавшем всех, вдруг появляются люди, которых надо тайно проводить, запирает дверь и громко заводит музыку, чтобы не подслушали... Между мной и отцом не существовало тайн. Так мне казалось!

Прошло много месяцев и начались странные звонки по телефону, и если я брала трубку и спрашивала «что передать папе», то следовал ответ: «Скажите, что звонили из издательства», и сразу ко-

роткие гудки, так что спросить, из какого издательства, было уже не у кого. Но голоса издательские я знала, а это были совсем другие, от которых становилось нехорошо на душе, мутило в области солнечного сплетения и сердце сильнее билось в тревоге. Как часто я вспоминала отца до появления коллекционера — и после. Будто его подменили. Он мучился и, видимо, не знал, с кем он может поделиться своими страданиями. Был, видимо, какой-то момент, когда он мог переступить через свой страх, но это не случилось. Однажды в такси (я помню, как мы ехали по улице Пестеля, и отец был в нехорошем раздёрганном состоянии), где-то на повороте на Литейный проспект машину занесло на гололёде и отец буквально упал на меня и, прижавшись к моему уху, зашептал: «Ксюша, я не могу «их» одолеть, я не могу «их» обмануть! А куда мне бежать?! Они здесь повсюду, это не страна, а большой лагерь!»

Я замерла в оцепенении, от неожиданности признания, от боли и жалости к отцу, от невозможности помочь ему и дать совет. Помню, я заплакала и обняв его сказала: «Ты должен бежать...». Он мне ничего не ответил.

В свои семнадцать-восемнадцать лет лет я подсознательно много чувствовала, видела его страдания, но всё, что он мне сказал — это было не для меня, это было выше моих сил. Одно я поняла: что для него это был как бы выхлоп. Он знал, как я его люблю, дорожу им, и всё, что я сейчас услышала, умрёт вместе со мной. Отец признался мне, совсем ещё глупой девчонке, переложив весь груз своей тяжести на моё сердце. Всем своим существом я вдруг почувствовала, как он «их» ненавидит.

Уже позже он много общался с иностранцами. Свободное владение немецким языком и французским, личное обаяние, шарм и незаурядный ум, ко всему прочему — большой художественный талант давали ему возможность заводить знакомства в самых широких кругах общества. Спасать свою душу и совесть было всё труднее. Иногда он совершал длительные многомесячные отъезды в глухую Новгородскую деревню, но и там ему мерещились «они». Он уверял меня, что дядя Вася почтальон именно и есть «связной». В этой игре не получалось у него быть победителем, ведь с «ними»

это невозможно, какие хитрые игры ты не затевай против «них», они всё равно будут победителями и пожирателями душ.

Потом я наблюдала, как отца стало затягивать, засасывать нечто дьявольское. И видимо, самообманом в этой игре он получал удовольствие от неё, что-то вроде иллюзий своего могущества, что может кого-то как бы «прикрыть и спасти от "них"». Но годы шли, и его игра с «ними» стала постепенно превращаться в нечто другое. Его упругость, самозащита и независимость переплавлялась, страх исчезал, он больше «их» не боялся, он был с ними рядом. А уже позже я услышала (и своим ушам не поверила), что «они» стали другими: умными, образованными, способными многое понять, — но «не всё простить», захотелось мне прибавить в ответ отцу. Наши разговоры перестали быть откровенными, часто принимали тяжёлый оборот, и отец относился ко мне всё с большей настороженностью, побаивался моей прямоты.

В 1964 году я поступила в Театральный институт на декоративно-постановочное отделение. Во главе этого факультета стоял в то время Николай Павлович Акимов.

Он был талантливым режиссером, постановщиком и художником. Обстановка на факультете была особенной. Николай Павлович своим чутьём мастера сумел собрать таких педагогов, которые создали непохожую ни на что атмосферу на факультете. Акимов отбирал из абитуриентов юношей и девушек талантливых, то, что называется индивидуумов. Слава о Николае Павловиче, как о личности незаурядной, о его театре, актёрах, постановках шла тогда по всей стране. Я не думала, что смогу попасть на его факультет, но он меня выделил, похвалил и зачислил.

Учиться было интересно. Николай Павлович появлялся у нас на факультете нечасто, но когда приходил, для всех наступал праздник. Мы могли хоть каждый день посещать его Театр комедии, бывать на репетициях, просмотрах. У нас была возможность наблюдать, как воплощаются рисунки, эскизы для спектаклей — сначала в театральный макет (которым занимался талантливый мастер-

самоучка Соллогуб), а затем и на сцене — в декорации. Кажется, Акимов и Соллогуба выпестовал, с юношеских лет он при театре вырос, был таким своеобразным мастером на все руки.

Ещё учась в институте, я начала исподволь помогать моему отцу в его графических работах. Начиная с конца пятидесятых годов, отец много работал в детской книге.

Помню его рисунки к книгам на тексты Генриха Сапгира, Льва Мочалова, Евгения Рейна, Михаила Дудина.

Это были годы, когда почти все будущие «инакомыслящие от поэзии и от живописи» применялись и зарабатывали себе пропитание на жизнь невинной детской тематикой.

Среди них были прекрасные писатели и художники. Детская тема, без идеологии и пропаганды, приютила многих, кто не хотел больше рисовать портреты вождей, писать колхозников и рабочих, восхваляя их труд. Что говорить, ведь были мастера кисти и пера, которые делали это вполне цинично, ради званий, заказов и мастерских. Но, кстати, были и настоящие «правoverные», которые «верили и вполне разделяли». (Трудно разделить эту породу сиамских близнецов на «хороших» и «плохих».)

В те годы детская книга стала «убежищем» для многих: Май Митурич, Борис и Сергей Алимовы, Иван Бруни, Пивоваров, Токмаковы, Маврина, братья Трауготы, Стацинский, Васнецов, Конашевич... список длинен. То были художники и писатели, думающие уже иначе в жёстко-либеральных условиях тех лет, они сумели преломиться, но не пресмыкаться, это было своеобразным спасением души и совести. Детская тема, сказка широка и фантастична, здесь может быть и зелёное облако и причудливый по форме персонаж, и говорить они могут на совсем другом языке (вспомним Хармса). Художники старались идти новыми путями, преодолевая косность, и медленно, но верно совершали свою маленькую революцию в умах зрителей и издателей. Это был тяжёлый путь, старая гвардия ветеранов «сухой кисти» не сдавалась, на художественных советах иногда происходили настоящие баталии.

Изоляция от внешнего мира подталкивала художников к открытию «новых дверей», неважно, что иногда это было «выдумыва-

нием велосипеда». Для всех, кто пускался в эксперимент (а другого слова не подобрать) и изучение новых форм, наступили радостные и долгожданные времена. Возвращались имена русского авангарда двадцатых-тридцатых годов. Будто заново рождались Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Бурлюк, Родченко... Натан Альтман смог выставить свои работы в ЛОСХе — это было событием! Если очень захотеть, то можно было у букинистов купить Сальватора Дали, Пикассо, Магритта. Стоило дорого, но в то время люди не жалели на это денег.

В начале шестидесятых мы с отцом много ходили в Публичную библиотеку, в Отдел редкой книги, где смотрели редчайшие образцы рукописных книг с миниатюрами французских и английских мастеров XVI–XVIII веков. У отца был дар учителя-наставника, ему было интересно самому наглядно показать с кистью и карандашом, как нужно рисовать, открыть секреты акварели или композиции. Мне всегда казалось, что им двигало, с одной стороны, большое любопытство, а с другой — некий страх не остановиться на достигнутом. Хотелось научиться самому и передать это другому. Я была благодарной и увлечённой ученицей. В течение десяти лет мы работали с отцом вместе, наши рабочие столы стояли рядом, мысли и идеи чувствовались и разделялись с полуслова. За эти годы в книжной графике мы завоевали известность, наши книги для детей издавались в Москве, Ленинграде и Киеве, а потом многие из них были переизданы почти во всех европейских странах.

В те годы мы подолгу жили у наших друзей Парай-Кошицев на даче в Комарово, в так называемом академическом посёлке. Это был один из самых счастливых периодов в моей жизни. Комаровская братия была самая разнообразная, поэты, художники, физики, музыканты... Много встреч, много выпито, а сколько переговорено, это были «наши университеты» и питательная среда, которая нас во многом сформировала, научила быть свободными. От тех лет у меня остался один друг — Катюша И.

Отец был всегда в центре, он был прекрасным рассказчиком, заводилой, пел под гитару, танцором буги-вуги и твиста, молодёжь его обожала. Как могла сочетаться в душе отца эта дисгармония: с

одной стороны — доброта и благородство, а с другой — самые низкие и предательские настроения и поступки. А чем больше проходило время, тем явственнее перевешивало последнее. Из «добротного пастыря» он на глазах превращался в полную противоположность.

Моя первая любовь пришлась на 1962 год и случилось это в Комарово. Нас познакомил Алёша Парай-Кошиц, привёл к нему на дачу, в его «сторожку-мастерскую». С первой секунды нашей встречи я поняла, что люблю этого человека, состояние своей смятённой души и частые удары сердца я запомнила навсегда. Это была любовь с первого взгляда и описание её мало кого удивит.

Борис Власов был талантливый художник, умный, образованный, весёлый, очень застенчивый и как две капли воды похож на актёра Пола Ньюмана. У Бориса были совершенно особенные голубые глаза, в них тлело сочетание кротости с безысходностью. Наверное он знал, что нравится женщинам, но совершенно не подозревал, что в него влюбится почти девочка. В тот момент он был женат, окружён славой и поклонницами. Моя любовь была безнадежно несчастной по многим обстоятельствам: сама я была очень молода, скромна, неопытна, он был старше меня на тринадцать лет, у него была властная мама Т.В. Шишмарёва, жена актриса, а у меня был мой папа, который старался всячески мной манипулировать. Так что, взаимность, возникшая между нами, была обречена тянуться годы, со взлётами и падениями, муками и слезами, но всё закончилось по моей инициативе, я просто не выдержала постоянной битвы семейных кланов. Прошло с тех пор много лет, наши встречи стали случайными, где-то в гостях, в концертах, на выставках... И как-то на лестнице Союза художников, зная что я уезжаю надолго (а об этом рассказ впереди), он подошёл ко мне и сказал: «Я ждал тебя, Ксю... Смотри красоты Парижа внимательно и не очень увлекайся... Но ты ведь вернёшься? Мы ведь с тобой увидимся?» Это была наша последняя встреча. Прошло несколько месяцев и я узнала о его внезапной смерти, но тогда я была уже далеко.

ШАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

1972 год был тяжёлым для всей нашей семьи. В декабре, в день моего рождения, накануне Нового года мои родители развелись, и почти сразу же после этого умерла моя бабушка.

Ей было восемьдесят пять лет, сердце, аритмия, давление, но до самого последнего дня она одевалась утром, причёсывалась и садилась к роялю для занятий с учениками.

В последнее время бабушка тяжело переживала перемены, происходящие с моим отцом (её Гуленькой). Дело в том, что отец влюбился! Бывали у него и раньше увлечения, но здесь случилось нечто непредвиденное даже им самим. Предмет его переживаний жил в глухой Новгородской деревне и преподавал в сельской школе историю и географию. Звали её Люся. Крашеная блондинка, с шиньоном в виде причёски «бабетта». У неё были зелёные узкие глаза, тёмные густые брови, светлая веснушчатая кожа и от неё всегда сильно пахло луковичным потом. При этом она употребляла духи с резким запахом гвоздики, шлейф всей этой смеси оставался далеко за ней. С Люсей меня познакомил отец. Жили мы тогда всей семьёй в деревне, где в очередной раз отец намеревался купить или построить большой дом. Было жаркое лето, помнится, я сидела на крыльчке и что-то рисовала, а тут увидела отца в сопровождении коренастой, крепко сбитой молодой женщины.

«Вот, Люсенька, это моя дочь. Мы с ней вместе книжки рисуем». Отец поднялся с нами на второй этаж нашего строящегося дома-

мастерской и стал показывать иллюстрации к книге. Люся улыбалась и, проявляя культурный интерес, молчала. Когда она уходила, то подошла к моему столу, за которым я уже что-то продолжала рисовать, протянула мне руку для прощания и как-то смущённо, поворовски, пряча глаза, улыбнулась. Рука была мокрая от волнения и тяжёлая. Отец прошёл провожать Люсю, а я вспоминала её улыбку, и мне стало казаться, что здесь что-то не так, этой женщине есть, что скрывать от меня. Да и в доме она чувствовала себя неудобно, всё торопилась уйти.

С каждым днём у отца менялось настроение, он был раздражён, всё время куда-то убегал, уезжал в районный центр или Новгород «по делам», а возвращался весёлым.

Ночью он плохо спал и стал кричать страшным голосом во сне, к нему вернулся его нервный тик, но как только я старалась с ним заговорить, спросить, что происходит, он уходил от ответа. С мамой было ещё хуже, начались совершенно безобразные сцены, которых она не выдержала и уехала в Ленинград. Она по-женски, все, конечно, понимала, со мной не говорила, ну а я старалась всячески оберегать её от замеченных странностей в поведении отца.

В один из солнечных тёплых дней я пошла погулять в лес. Пять минут по деревне, и я в окружении милых ёлок, берёз, тишины, запахов травы и нагретой солнцем хвои. Я шла по тропинке знакомым маршрутом, здесь я любила каждый кустик и поворот. Прогулка ежедневная на сорок пять минут с собиранием грибов и голубики.

Остановилась «поклевать» ягоды и вдруг дуновение теплого хвойного ветерка принесло мне запах луковичного пота с гвоздичными духами. Помню, что я как-то инстинктивно посмотрела на тропинку — на песке чётко были видны следы двух пар ног. Сандалии моего отца и продавленная дырочка от женского каблукка. Мне послышались какие-то шорохи, и я припустилась бежать домой.

Прибежала в дом, голова моя полна путаными мыслями, сердце бьётся. Слышу, отец, напевая, поднимается по лестнице, подошёл к столу, нагнулся посмотреть, что я рисую, и... тот же запах, от которого я зажмурила глаза, как от ослепления.

Мне стало так тяжело и тошнотно на сердце, охватило предчувствие чего-то неизбежного и поворотного в нашей жизни. Вышла из дома, спустилась к реке, долго сидела и плакала, совсем как маленькая девочка.

А ещё через пару недель отец говорил с мамой и сообщил ей, что хочет развестись, так как он влюблён и не может больше лгать и вести двойной образ жизни, что он хочет правды в отношениях. Он всегда любил правду?! Даже жестокою, тяжёлою, непереносимую близкими людьми; но эта, правда, по его мнению, должна быть разделённой тяжестью. («Как же так, мне плохо, а ты, мол, в прекрасном неведении пребываешь»).

— Но я очень надеюсь, что вы обе полюбите Люсю и сможете ей помочь, особенно в её дальнейшем образовании. Она обладает особенным чутьём и способностями к искусствоведению. Думаю, что можно через пару лет подумать об Академии художеств.

— Папа, а как же её муж и дочь? Что же, они согласны, с твоим предложением взять Люсю замуж? — робко спросила я.

— Да с мужем у них давно нелады. Он алкоголик, работает на тракторе в колхозе... они разные люди. А девочка премилая, видимо, будет жить с нами.

Совершенно одурённый своей деревенской красавицей, он видимо совсем не представлял их будущей совместной жизни. Рай в шалаше предстоял быть тяжёлым и изолированным.

Конец наступил достаточно быстро. Отец получил развод, мама не препятствовала, она только плакала по ночам. Почему-то тогда мне казалось, что это не просто развод (после двадцати восьми лет жизни), а начало падения отца в пропасть. Мне хотелось удержать его от этого страшного шага, попросить переждать.

Всё было напрасно.

Муж-тракторист, узнав о намерениях моего отца, пригрозил, что убьёт его. А тонкая и чуткая Люся за такие намерения побила своего мужа поленом, после чего он отлёживался довольно долго в больнице.

Причём всё это происходило на виду и на радость местного деревенского населения, что было почище «мыльных» мексиканских сериалов в стиле «богатые тоже плачут».

которые он устраивал в Парголово и о которых он нам докладывал в порядке покаяния. Мрачнейшая достоевщина была приправлена театральным, показным комплексом вины. Вспоминая 1976 год, могу сказать, что он связан у меня со счастливым событием и началом ещё больших несчастий. В этом году у меня родился сын, я назвала его в честь деда — Иван. Почти сразу после его рождения мне стало ясно, что живу я со своим мужем плохо и ничего близкого между нами нет, даже сыном он был не увлечён. Одновременно с рождением Ванюши моя мама тяжело заболела, ей была удалена опухоль. Мне было страшно за маму, я не могла представить себе, что потеряю её и мы останемся вдвоём с Иваном. А как нам хорошо жилось втроём!

Мой отец распоясался в этот момент не на шутку. У него возник новый роман, и как результат страстной любви — рождение ребёнка. Он звонил мне по телефону несколько раз в день, не для того чтобы узнать о состоянии здоровья мамы или Ивана, а для того, чтобы рассказывать о своих сердечных переживаниях, прося советов. Мне пришлось положить этому конец, попросила его больше к нам не звонить и не приходить.

Ещё до нашего разрыва я несколько раз бывала у него в Парголово. Старый, большой полуразвалившийся дом, он своими руками сумел привести в порядок. Дом стоял на холме, вокруг был большой дикий сад, целый кусок леса уходил под горку. Мои редкие посещения, ещё до нашей размолвки, каждый раз кончались ссорами. Когда-то мы могли интересно и свободно обсуждать самые жгучие политические события, особенно это касалось услышанного по разным «вражеским голосам». Теперь разговоры и доводы с его стороны сводились к невероятному возмущению, совершенно карикатурной реакции. Он выбегал из дома, носился по участку, выкрикивая что-то избитое и пошлое из передовиц газеты «Правда». Так что у меня возникло подозрение, а не напичкан ли его дом микрофонами. Иностранцев у отца бывало много, больше всего западные немцы из консульства, иногда американцы. Им было интересно общаться с полудиссидентом, весёлым, умным, «свободным» человеком, талантливым художником. Часто в его доме бывал мо-

лодой художник В. О., многих иностранцев приводил и он. Вряд ли эти гости подозревали обратную сторону шашлычных пирюшек под цветущей сиренью.

Бредовость выпренно патриотических разговоров о Родине и русских как о великой нации, которую ждёт великое будущее, с вполне антисемитским душком напоминало по стилю генерала Макашова, только тогда мой папа всё это выдавал за «новое мышление». Всё меньше узнавая в этом человеке своего отца, я задавалась вопросом, «а правда ли он так думает, или это всё напускная игра?» Бывали и странные моменты, когда он становился прежним; так однажды он мне вдруг заявил: «"Они" хотят добраться и до тебя. Но уж тебя я "им" не отдам! Я тебя от "них" спасу!»

Он всегда говорил так, как бы не до конца раскрывая «их», тех, от которых он должен меня спасать. Но он знал, что я понимаю и догадываюсь, о ком идёт речь.

Прошёл год как мы перестали видеться с отцом. После долгого периода восстановления сил, я уговорила маму пойти работать. Ей повезло, она попала в ансамбль Якобсона, где стала заведовать костюмерным цехом. Более того, балетный ансамбль Якобсона был тогда в зените славы, они много гастролировали. Эти поездки, чудесный коллектив, интересная работа помогли маме не думать о своём душевном и физическом состоянии.

Однажды утром раздался телефонный звонок и совершенно раздавленным голосом мой отец попросил меня встретиться с ним. Свидание было назначено в Летнем саду.

Была глубокая осень, и сильный ветер с Финского залива, поднимал воду в Неве; это тревожное состояние природы перед наводнением всегда вызывало во мне чувство беспокойства. Я пришла раньше отца и помню, что, пока ждала его, у меня в голове всплывали картины детства, мои прогулки с нянюшкой, санное катание с берега Лебяжьей канавки. Счастливое детство давно кончилось.

Вид отца потряс меня. Он был неопрятен, с отросшей бородой, и каким-то безумным взглядом. Как я ни была сердита на него, но его отчаянное душевное состояние вызывало сострадание. Отец кинулся меня обнимать, будто мы расстались вчера и совершенно

бессвязно шептать свой рассказ. Мы шли в сумерках Летнего сада, белые статуи, как призраки и единственные свидетели, укоризненно смотрели на нас.

С одной из немок, которые отца навещали в Парголово, он завёл роман, более того, дело дошло чуть ли не до помолвки. И вот компания из её друзей пригласила отца прокатиться до Выборга на посольской машине, погулять на Финском заливе. Поездка намечалась с пикником, коньяком и заморскими угощениями.

Они едут в немецкой машине с консульскими номерами по Приморскому шоссе и проезжают первый пост ГАИ, потом второй и никто их машину не останавливает. Немцы удивляются, хохочут: «А странно, что у нас сегодня никто не проверяет документов?! Обычно ГАИшники себя ведут не так спокойно, а бывало, за нами и мотоциклист едет, "охраняет", наверное, это благодаря Игорю, который у нас как ангел хранитель...» Кто-то из компании подхихикнул, а отец весь взмок от холодного пота.

— Правда ли, что Вы сотрудничаете с «органами»? — последовал вопрос.

Машина продолжала нестись по шоссе, слева стальным блеском отливала вода залива, справа мелькали сосны. Отец мне сказал, что он им признался. То ли от неожиданности всей ситуации, то ли в надежде на сотрудничество уже с другими «органами» (это моё предположение), в надежде на будущее избавление от ГБ. Где тут была игра, на кого он работал «за страх и за совесть», разыгрывая комедию двойника, я до сих пор не знаю.

В тот момент передо мной стоял бледный, совершенно истерзанный человек, но странно, что страха я в нём не почувствовала. Конечно, он работал на КГБ, и даже если станет двойником, то только для пользы дела «новой России», которая будет очень скоро и придут совсем другие, молодые и образованные люди. Ни о какой измене речи быть не может и этот случай, а, может быть, удача помогает осуществить его давнишние планы. Один из «них», молодой специалист по Германии, прекрасно знающий немецкий, обещал ему помогать советами. Хорошо, что он пока ещё в Ленинграде... А главное, он стал ещё нужнее, ещё незаменимее, более ценим и уважаем у «них».

НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

С некоторого времени я стала замечать, что даже отпетые циники в ЛОСХе, всяческие партийные боссы не любят отца, а старые друзья, которые так часто и весело проводили у нас вечера, сторонятся его. Он сам предпочитал заводить новые знакомства, хотя с возрастом старых друзей «на переправах не меняют». С мамой и со мной у них сохранились самые хорошие и дружеские отношения, и их отстранённость от отца никак не была вызвана разводом моих родителей. Отец стал источать из себя «нечто», что инстинктивно отталкивало от него близких друзей.

Он жил «одиноко и обособлено» в Парголово, для многих это было странно и вызывало массу таинственных разговоров, проще сказать, сплетен. Он был явно увлечён своей ролью в столь грозном органе, каким является КГБ, и полагаю, что уже работал с энтузиазмом и увлечённо. Его бесконечные вереницы женщин завершились браком на одной из них, и у них родилась дочь. Звали новую жену Наталия Юрьевна, она была моложе его на двадцать пять лет и теперь они, втроём, продолжали жить в Парголово. Казалось, что папа счастлив и с воодушевлением строит новый очаг. После нашей последней встречи в Летнем саду прошёл почти год, больше он нам не звонил. Мы жили с мамой, Ванюшей и моим скучным мужем. К счастью, он надолго уезжал на гастроли, меня это очень устраивало, давало возможность спокойно работать и встречаться с милыми моему сердцу друзьями.

Шёл январь 1978 года. И вот, однажды раздался телефонный звонок, и отец попросил разрешения зайти к нам для серьёзного разговора в кругу «нашей семьи». Меня поразило определение «наша семья», которая давно отошла в прошлое. Но эти слова, сорвавшиеся с уст отца, были сказаны неспроста. Отец принёс письмо, которое он получил от своей родной тётушки Ирины из Швейцарии (той, «засушенно-голубой»), которая умоляет его приехать в Женеву, где живёт старшая, вторая из двух сестёр моей бабушки — Ниночка.

Тёте Нине было уже девяносто семь лет, и она хотела познакомиться с племянником. В письме говорилось, что все формальности с приглашением будут скоро закончены и отец получит его по почте. Весь вид отца выражал растерянность от неожиданной перспективы поехать впервые «за кордон». Он стал нам говорить, что никуда не поедет, что делать ему там нечего, тем более что денег на поездку у него нет. Вид у него был жалкий. И казалось, что в его голове прокручивалось своеобразное кино, мелькали кадры какого-то нового фильма, пока ещё с неизвестным концом. Но я заметила по отцу, что идея поездки его увлекает. Новая авантюрная театральная постановка начинала рождаться в его голове. Меня удивила внезапность возможности такой поездки, тётушек можно было повидать и раньше. Может быть, это «они» решили, что отец готов для поездки в «гости к родственникам». С нами можно было уже не советоваться, ведь у него была законная жена и маленькая дочь.

— А причём здесь мы? — спросила я отца.

— Я поеду только в том случае, если ты Ксюша, переедешь на время моего отсутствия в Парголово.

Столь странного поворота я не ожидала.

— А как же Наталия Юрьевна и Дунечка?

— Я их отправлю в Волгоград, к матери Наташи. Бабушка давно хочет пожить с Дуней и они с удовольствием проведут двадцать дней на Волге.

Насчёт удовольствия жить зимой в голодном Волгограде я сильно сомневалась, а вот почему он хочет их «сплавить», я не по-

нимала. Чем-то они ему мешали в его отсутствие. Не хотел он свой «дом с привидениями» оставлять на свою молодую жену.

Моя голова лихорадочно соображала и представляла все подвохи и западни, в которые я могла попасться, приняв предложение пожить у отца двадцать дней. Но, как я ни думала, ничего подозрительного мне на ум не приходило.

Надо сказать, что я по глупости своей согласилась. Мама меня потом всегда за это корила.

Получение приглашения, оформление документов, сбор соответствующих бумаг в Союзе художников (характеристика плюс согласие жены) и оформление всего этого в ОВИРе заняло месяцев пять. Всё было готово к началу октября. Виза была ему выдана на двадцать дней. Семью свою ещё в конце августа он отправил на Волгу и начал закупать продукты. Кто-то ему сказал, что нужно ехать со своими консервами. Один из двух чемоданов был забит «завтраком туриста», колбасой и сгущённым молоком.

Чемодан был неподъёмным. Ну, а второй был собран с особым тщанием, в него он уложил лучшие свои туалеты. Папа любил красиво одеваться, и умел, что называется, носить вещи с шиком.

Он пришёл прощаться с «нашей семьёй» в канун своего дня рождения. Принёс мне ключи от своего дома. На следующий день седьмого ноября он уезжал на поезде через Москву в Женеву. Помню, что мама стояла у плиты и что-то готовила, а я сидела тут же за кухонным столом, и вдруг отец с рыданием бросился обнимать маму с жалобными возгласами «Прости, прости за всё...» Потрясённая мама не знала, как реагировать на столь неожиданный всплеск чувств. Потом отец сидел у нас на кухне за столом, охватив голову руками, закрыв глаза и просил прощение за все горести, причинённые нам в прошлом. Всё это было очень трогательно, но тогда ни я, ни мама, одурманенные его раскаянием, не придали значения столь странному прощанию.

В Женеве ему предстояло жить у тёти Нины, в так называемом «Foyerdela femme», которое находится в управлении Армии Спасе-

ния, где она прожила долгие годы. Тётя Нина, довольно рано выйдя за муж, перешла в протестантство и стала проповедовать. После смерти своего мужа, датчанина, она перебралась в этот «очаг», где её все любили, многие приезжали издалека поговорить с ней, посоветоваться — считалось, что у неё был дар провидения.

После отъезда отца я переехала с Иваном в Парголово. Стояла очень холодная осень, а к концу декабря грянули настоящие морозы. Дом был огромный, в два этажа, плохо отапливался и я довольно быстро поняла, что сделала глупость, согласившись «стожить» его ради «дачи» для Ивана. Помощи в хозяйстве ждать от моего супруга не приходилось, он нас навестил один раз и сказал, что колка дров — это не для него.

В результате мы с Иванушкой остались вдвоём. Поднявшись как-то на второй этаж, я решила просмотреть кое-какие книги и вдруг на самом видном месте, на рабочем столе отца вижу листок бумаги: «в случае моей смерти (а я мысленно подумала «невозвращения») прошу распорядиться моим имуществом в следующем порядке...» И дальше большой список с именами и фамилиями, где и что лежит, сколько он должен тому или иному человеку, как поступить с его домом, картинами и прочим.

Сердце моё замерло. Всё стало яснее ясного. Больше мы его не увидим. Теперь мне понятно, почему он отправил свою жену и дочь в Волгоград, а в списке был пункт относительно денег на его сберкнижке, которыми должна распорядиться именно Н.Ю. в случае его «смерти». Это выглядело своеобразным откупом от алиментов для дочери Дуни. В моей памяти сразу всплыли его рыдания на маминном плече с жалобными и трогательными «прости». Даже о своём сыне Алёше он не забыл в этом списке, вспомнил, что когда-то брал у него деньги в долг и теперь в этом «завещании» отдаёт их ему. Отец уехал в самом начале ноября, всего на двадцать дней, все намеченные сроки его возвращения давно миновали. От него не было никаких известий. Всё складывалось скверно, я спустилась на первый этаж, где спал в своей кровати Ванюша и улеглась на диванчике рядом. Как-то не заснула, а словно провалилась в сон. И в эту ночь у меня замёрзла вода в трубах отопления!

Чем только я не пыталась отогреть батареи, искала в подвале место стока воды, всё было напрасно. Побежала за водопроводчиком, по сугробам, с одной Парголовской горы на другую. Водопроводчик по случаю нежданно нагрянувших морозов был пьян в стельку, и не в состоянии со мной идти. Отцовская огромная восточно-европейская овчарка, по кличке Прайт, рвалась с цепи на каждого проходящего под горой, видимо, её нужно было завести в дом, но я плохо знала её характер, и боялась к ней особенно приближаться. Наступило тридцатое декабря, почти канун Нового Года, и я решилась на отчаянный шаг. Взять этого дикого зверя в Ленинград, и закрыв дом на замок, уехать домой. Красота вокруг стояла сказочная, брейгелевская, берёзы под снегом, солнце, небо голубое, деревья от мороза потрескивают. Стою, смотрю на всю эту красоту из окна, а сама чуть не плачу. В доме стало холодно, печка всего одна, дров не хватает, да и те сырые, собаку бросить подышать от голода и холода в её будке я не могу, как её доставить в город тоже проблема, от отца известий никаких, куда ему звонить я не знаю... в общем, голова моя кипела от сотен вопросов и самых насущных проблем.

Вдруг слышу, что лает собака и явно на кого-то. Я накинула платок и вышла из дома. Вижу, поднимается ко мне по заледенелой лестнице в гору мужчина, к собаке по имени обратился, не боится этого дикого зверя, да и она его будто признаёт. На мужчине среднего роста в шикарной пыжиковой шапке, модном импортном пальто, на ноги надеты лёгкие кожаные, не по сезону, ботинки. Он мог бы сойти за иностранца, если бы не одутловатость лица и пахнувший на меня резкий запах советских папирос.

— Здравствуйте, Ксения Игоревна, — обращается он ко мне и протягивает руку для пожатия (в перчатке) — я друг Игоря Ивановича, вот решил проведать, как Вы здесь зимуете, не холодно ли?..

Произнося всё это как-то заученно и машинально, без всякого моего приглашения, он по-хозяйски и по-свойски заходит в дом. Представился как-то вроде «виктора ивановича». Я была так рада и удивлена его неожиданному появлению, что отнеслась к нему как к посланцу с небес.

— Холодно, — говорю ему я, — отопление у меня замёрзло, а это означает конец зимовки, придётсЯ мне собираться в город.

— Ну, и правильно сделаете! Что Вам тут страдать, мучиться.., а знаете, мне Игорь Иванович тоже ключи от дома оставил.

При этих словах достаёт связку из кармана и показывает мне их. Наверное, один из новых и многочисленных папиных друзей, подумала я.

— Просил Игорь Иванович меня Вам помочь в случае экстренном, непредвиденном... вот как сейчас например.

Говоря это он прохаживается по комнате и как-то вопросительно на меня смотрит, вроде бы ожидая, что я начну задавать вопросы. В голове у меня и вправду замелькало много разного, но самое главное, я вдруг поняла, что мне нужно по-быстрому уносить отсюда ноги.

— А о собаке Вы не беспокойтесь, она меня знает. Я всё устрою и отопление к приезду Игоря Ивановича мы починим.

Кто эти «мы», я его уже не спрашивала, быстренько слетала на второй этаж и сунула бумажку-завещание в карман, потом накутала Ивашку до глаз шарфом, валенки с калошами, сама оделась и говорю гостю:

— Большое спасибо Вам за заботу, Вы меня так выручили и так неожиданно во-время...

— Езжайте домой в Ленинград, я всё Игорю Ивановичу доложу.

— А у меня нет от него сведений уже два месяца, он всегда меня поздравлял с днём рождения, слал телеграммы, звонил. Вы, значит, знаете где он и что с ним?

— Конечно! — как-то театрально воскликнул мужчина, — он в Женеве и захотел продлить своё пребывание ещё на месяц, кажется, его тётушка очень плохо себя чувствует.

Помню, что я сразу подумала: «надо уехать в глухомань с мамой и Иваном, купить там дом и жить». Что-то происходило выше моего понимания. Я в те годы не представляла и не интересовалась выездами людей за границу. Слово «невозвращенец» я услышала гораздо позже и, что за этим следует, узнала, когда была сама в Женеве. Редкие наши друзья ездили в туристические поездки и то,

в соцстраны, я слышала, что есть командированные, работающие за границей, а вот выезды по приглашению в гости или отъезды в Израиль были в моём окружении редкостью. Меня совершенно это не интересовало, единственная поездка, которую я совершила в 1977 году, была в Болгарию. Помнится, группа состояла из членов Союза художников, и, несмотря на то, что поездка была интересной, меня отвратило соглядатайство нашего руководителя. Как тогда говорили, он был типичный «искусствовед в штатском», а под конец поездки он пригрозил, что напишет на меня специальный рапорт «о моём поведении». Оно, конечно, было непростительно плохим, так как я старалась отставать от группы и осматривать город или музей в одиночестве, а вечерами мы с несколькими художниками из Эстонии ходили пить (на наши гроши) красное вино в кафе.

Но тогда, в зимний парголовский день, в разговоре с гостем я с трудом представляла, что не увижу больше моего отца никогда. Как допустить мысль, что подобное может случиться именно со мной, а углубиться в распросы с «виктором ивановичем» я побоялась. Вся ситуация и встреча носила характер почти провокационный. Попрощалась я с неожиданным гостем, сдала дом на его полное попечение и пошла на станцию за ручку с маленьким Ванюшей.

Он по дороге беспечно стал играть в снежки, до вокзала было десять минут быстрого хода и, скользя по дорожке, мы добежали к подъезжающей электрички. Я люблю загородные поезда, особенно субботне-воскресные, зимой в них много лыжников, на природе люди как-то веселеют, с их лиц сходит напряжение. Уже когда сходишь с поезда, город обдаёт тебя сырым ветром с залива, смесью разбросанной по асфальту соли с песком и мелкой снежной крупкой, сыплющейся из-под тёмного ленинградского поднебесья.

Домой мы приехали, как в убежище. Мама моя, человек куда более мужественный, чем я, приняла решение не поддаваться панике и ждать. Ждать было не известно чего, но что я решила сделать, так это послать телеграмму отцу в Женеву по адресу, который я обнаружила в его «завещании». В телеграмме я написала: «Дом оставила твоему другу, Ксения».

После «старого Нового года» мне стала названивать папина жена из Волгограда. Она требовала от меня хоть «какой-то правды» об исчезновении её мужа. Я ничем не могла её утешить, только сказала, что жду реакции на посланную телеграмму. Наташа была очень взволнована и, мне показалось, даже сильно обозлена на что-то. Можно было её понять, она оказалась в ситуации брошенности, с маленьким ребёнком, без каких либо известий и очень далеко от Ленинграда.

Прошло ещё несколько дней, и мне позвонил мой «спаситель» и заговорил со мной о Наташе. Он рассказал, что Наталия Юрьевна, что называется, «пошла в розыск», строчит в большом количестве письма в советское консульство в Женеве с вопросами «где мой муж?».

— Ведь Игорь Иванович там не развлекается! Он работает, у него деловые встречи с издательствами, большая тётушка, а эта женщина... пишет письма, — раздражённо сказал «виктор иванович».

— Но чем я могу помочь папиной супруге? Ведь я совершенно не в курсе их семейных отношений, а то, что касается исчезновения моего папы, видимо, волнует не только его жену... — ответила я.

— Что значит исчезновение! Он никуда не исчез, он находится в Женеве. Прошу Вас, успокойте жену Игоря Ивановича. Лишний шум, ненужные разговоры могут только принести вред и ему, и ей...

Это звучало почти угрожающе.

Я поняла только одно, что связь у папы оборвана со мной и с Наташей, но не с «ними». Работа видимо кипит, издатели из Германии прилетают в Швейцарию, и он совершенно не думал возвращаться через 20 дней в Ленинград. А может быть, он и вправду решил по настоящему «чухнуть» и «они» не знают об этом, но если догадались, то пытаются как-то и чем-то воздействовать. Много сценариев прокрутилось у меня в бессонные ночи, и всё-таки я надеялась, что отец отзовётся на посланную мной телеграмму. Однажды поздним зимним вечером раздался телефонный междугородный трезвон.

— Женева вызывает, говорите! — резко скомандовала телефонистка.

— Ну что там у вас происходит, доченька? — голос отца звучал из далека расслабленно, устало, почти отчуждённо. Уж не болен ли он, мелькнуло в моей голове.

— Я твою телеграмму получил, ты правильно сделала, что переехала в город. А вот Наталия Юрьевна делает ужасные вещи, она должна прекратить... (он не сказал «писать письма») меня искать. Я никуда не исчез, а сижу рядом с больной и почти умирающей Ниночкой. Много рисую... хочу тебе сказать, что должен задержаться ещё на два месяца, я занят серьёзным делом. Я тут не в бирюльки играю! — вдруг заорал он во весь голос.

Мне вдруг захотелось его спросить о чемодане с консервами, ведь он был рассчитан на двадцать дней, а прошло уже больше двух месяцев. По Союзу художников скоро поползли слухи, что мой отец остался в Женеве навсегда. Многие недруги и друзья с удовольствием задавали мне соответствующие вопросы. В то время я много работала для издательств и помню, как пришла на так называемый «художественный совет», где показывала очередную литографию на тему русских сказок. Зайчик плясал, мишка ел малину из лукошка, птичка пела песенку, в общем, детская радость. Но не тут-то было! Один из десятки художников, обсуждающих и выносящих свой вердикт «быть или не быть» моему зайчику, изданному в массовом тираже, вдруг произнёс «А не кажется ли вам, товарищи, что вся эта стилистика не совсем русская? Она отдает чем-то западным и не своим!» Воцарилось тягостное молчание, кому-то из них было страшно, а кому-то стыдно. И меня попросили придти ещё раз и подработать «образ русского зайца и мишки». Не нужно забывать, что это происходило уже в 1978 году.

Вся эта ерундистика продолжалась до марта месяца и однажды мы получили телеграмму: «Выезжаю, скажи Наташе, Игорь». Прошло пять месяцев с момента его отъезда, и все-таки он возвращается. В глубине души я надеялась, что, может быть, отец решится и «выберет свободу». Хотя мои наивные рассуждения в те годы о свободе выбора отца и его собственной воле были чистой фантазией. Ни о каком настоящем прыжке в неизвестность речи не могло идти.

Почему-то он приехал прямо к нам со всеми своими женевскими чемоданами, подарками, с застенчивой улыбкой в усы и бороду, но с настороженностью: а вдруг погонят в три шеи. Маме и мне его появление не понравилось. В конце концов, он должен был ехать к себе в Парголово, где уже начинал стаять снег и, вероятно, центрально-отопительная система дома была восстановлена. А главное, это его семья! На протяжении всех месяцев отсутствия Н.Ю. названивала мне по телефону и угрожала. Её безобразные звонки сводились к обвинению меня в заговоре с отцом, к расправе над моей невинной и больной мамой, к судебному разделу имущества, квартиры и к требованию денег. В первые минуты появления отца я ему обо всём этом рассказала. Он вдруг рухнул на колени, обвис, обнял маму, меня и стал умолять опять простить его за всё и вернуться в «нашу семью». «Не отталкивайте меня, я столько пережил за эти месяцы на чужбине. Я понял, что вы единственные! Только вы мои близкие и друзья! Господи, как я был не прав, что женился на Наташе, а бедная Дунечка...»

Всё стало понятно. Он задумал развод со своей молодой женой и хочет пережить её налёт в «нашей семье».

«Пожалуйста, ты можешь у нас иногда бывать, но жить ты должен в Парголово» — таков был наш дружный ответ с мамой. Он погрузился и, вздохнув, сказал, что всегда тяжело расплачивался за свои ошибки. Тогда он ещё не представлял, что его ждёт. А ждал его развод с шантажом и анонимными письмами во все инстанции, грабёж со взломом замков в доме и сценами, достойными пера Зоценко. С одной парголовской горки на другую неслись её проклятия: «Старый козёл, ты не достоин быть моим мужем!» Крики её были слышны даже дальним соседям. Отец старался избегать ходить в местный гастроном, где каждая продавщица с сочувствием расспрашивала его о происходящем и, конечно, жалела «бедного, несчастного старика», так глупо попавшего в сети «аферистки и интриганки».

Мы отказались приютить отца, но его возвращение и отъезд в Парголово был для меня своеобразным избавлением от ночных кошмаров.

ПРОГУЛКА

К сожалению, моя личная жизнь настолько плохо складывалась, что у меня самой всё чаще возникала мысль о разводе. Я вторично вышла замуж в 1975 году, может быть, это было подсознательным желанием избавиться от постоянного и тяжёлого присутствия отца в моей жизни. Практически два года я прожила в Киеве, сумела даже завязать контакты с местными издательствами и оформить несколько книг. Всё бы ничего, но уж очень «не своим» оказался мой супруг. Мне казалось, что и для В. наш развод был бы освобождением. Он много гастролировал по стране с балетным ансамблем Якобсона, но его не выпускали в зарубежные поездки. Он тяготился этим положением и, в результате всех неприятностей, решил уехать в Харьков, там ему предложили ведущие партии в репертуаре театра, он поступил в Москве в ГИТИС и ещё реже стал навещать нас с Иваном.

В этом году была ранняя весна, тепло, начинались «белые ночи» со своей бессонницей, и однажды к нам напросился на ужин отец. К середине нашего вечера он повеселел, к нему вернулся его прежний светский лоск, обаяние, и он с увлечением стал рассказывать о своей жизни в Женеве. Ближе к полуночи, напившись чая, он предложил мне проводить его до такси. Пахло черёмухой и по набережной Невы, в окружении гуляющей молодёжи мы с ним шли всё тем же знакомым маршрутом, через Дворцовую набережную, к Марсовому полю. Папа с увлечением говорил о своей тётушке, о

том, как она похожа на его покойную мать (мою бабушку), что с ней он мог обсуждать те тонкие и глубокие философски-отвлечённые темы, которых он никогда не касался со своей матерью. И вдруг он резко замолчал. Предчувствие мне подсказало, что сейчас последует нечто важное, сердце защемило. Конечно, вся наша прогулка была задумана им не для сентиментальных рассказов о его обожаемой Ниночке.

— Ты что думаешь, я вернулся из-за тебя, мамы твоей или из-за Дуни? Ничего подобного, я смог бы пережить разлуку с близкими мне людьми. Я много думал об этом, и я хотел остаться... мне предлагали швейцарцы. У меня была одна ночь, за которую я решил всё, страшная ночь, потому что я вспомнил свою жизнь и взвесил на весах всё, что я теряю и что приобретаю. Знаешь, я ведь совершенно свободно владею немецким, поэтому мог общаться не только с русской эмиграцией в Женеве. Но они там другие, уже не такие русские как мы, и о нас у них странные взгляды. Но я помню таких русских, они ещё оставались в двадцатые годы, их Сталин выкорчевал, — отец говорил тихим, спокойным голосом, видно было по всему, что он много думал о своём решении, и далось оно ему с большим трудом.

— Папа, но скажи мне, если бы ты остался, решение принимал бы ты сам, без давления какого либо? — мой наивно-провокационный вопрос отец оставил без ответа.

— Я понял, что не смогу быть без России, ты не думай, что это пафос, ты слишком ещё молода, в эмиграции я бы не выжил. Хотя там я познакомился с интереснейшими людьми, на меня нахлынули воспоминания детства, когда в наш дом ходила ещё «та интеллигенция», и я никогда не думал, что это вызовет в моей душе такой покой. Мне было с теми русскими так близко по сердцу, но я уже стар, чтобы начинать жизнь с начала. Ты помнишь актёра Юла Бриннера, мы ещё ходили все троём ты, Алёшка и я, пять раз посмотреть фильм «Великолепная семёрка». Представь себе, я познакомился с его двоюродной сестрой. Она скульптор, ювелир, сейчас живёт в Женеве, хотя всю молодость, двадцать лет после эмиграции, провела в Америке. Мы с ней очень подружились. Сколько

интересного я от неё узнал, ведь у всей семьи Бриннеров интереснейшая судьба. Её отец был консул, они бежали из Владивостока, потом период Харбинской эмиграции, в Сан-Франциско у неё был свой магазин-ателье, а сейчас она живёт в Швейцарии, много работает и выставляется. С Юлом они больше чем двоюродные, у них дружба и когда он не занят Голливудом и Бродвейскими спектаклями, то приезжает к сестре в Женеву. Знаешь, он здорово поёт, я слышал пластинку цыганских песен в его исполнении вместе с Алёшей Дмитриевичем.

Вся меланхолия с отца сошла, он преобразился, помолодел, говорил увлечённо, в подобном состоянии я не видела его лет пятнадцать.

Я смотрела на него, и моему удивлению не было предела, воспоминания о той жизни возвращали отца к нежности, любви и покою. Ему было в той стране хорошо, и, наверняка, менее страшно, там он был куда счастливее, чем сейчас. Так почему же он мне сказал, что не смог бы там остаться? Мы присели с ним на скамеечку Марсового поля и отец неожиданно произнёс:

— Скажи, ты хотела бы туда поехать? Ты молодой человек, тебе необходимо увидеть Запад! Тебя наполнит это энергией, даст силы, ты художник и при твоём таланте ты бы столько узнала! Хочешь поехать в гости в Женеву?

— К кому же в «гости» я могу поехать и зачем? У меня сейчас грядёт развод, я совершенно разбита морально и подобные проекты никак не входят в мои планы.

Что за странный оборот принимает наш разговор, подумала я, и откуда исходит столь странное предложение ехать в Женеву, и неизвестно к кому в «гости»?

— Да ты не думай сейчас ни о чём, отложи свой развод и поезжай! Я устрою тебе приглашение через Ирину Бриннер, она тебя примет как родную...

— Почему как родную? Она ведь не моя тётя.., — удивилась я.

— Понимаешь, Ксюша, мы с ней очень близко сошлись, ну, если хочешь правду, то у нас с ней серьёзные отношения... а последнее время я даже жил у неё в квартире.

Тут меня буквально стал разбирать смех. Что за удивительный человек мой отец. Даже там, в незнакомой стране, при больной умирающей тётушке он сумел устроить себе безбедное существование в окружении ласки, достатка и страстной любви. Я знала, как он мог быть неотразим, какое впечатление он производил на женщин. Его красота, напускная грусть, элегантность, светскость и талант били дам наповал. Они влюблялись как кошки, но частенько и он, увлечшись игрой, становился жертвой этих вулканических страстей.

— А сколько же ей лет? И неужели она всерьёз думает о вашей возможной совместной жизни?— спросила я.

— Я сейчас ничего не знаю! Я здесь, я решил вернуться и что будет через месяц, не мне решать... — сорвалась у него странная фраза.

— А кому решать за тебя?

— Слушай, прекрати меня мучить вопросами. Надо решать очень быстро, если ты захочешь, то я дам тебе денег на поездку. Ксюша, подумай, но советую тебе — поторопись, потому что Ирина осенью уедет в Америку почти на год и не сможет тебя принять у себя в Женеве.

Весь разговор был для меня в диковинку. Я настолько была погружена в свои семейные неурядицы, заботы о хлебе насущном, любви и выращиванию сына без отца, что ни о каких прогулках по заграницам не могло возникнуть даже мыслей в моей голове. Жила я в то время как-то по инерции, видимо, последние годы семейных перипетий да папиных экспериментов совсем меня пришибли. Для меня было бы проще и приятней поехать в деревню, чем окунаться в сложности оформления поездки в Швейцарию. И потом, я объявила В. о начале нашего развода.

— Я подумаю, но пока не знаю! Как решится, так и решится. Знаешь, я так устала от всего, что ничего не хочется. Просто хочу восстановить вкус к жизни, побродить на природе и ни о чём не думать.

— Да, да... конечно, я тебя понимаю. Во всём этом есть и моя вина. Ты не сердись на меня, ты ведь знаешь, как я тебя люблю...

больше всех на свете, — сказал отец виновато и как бы смущаясь своих чувств.

Он остановил проезжающее такси, обнял меня на прощание и я слышала, как он сказал шофёру «в Парголово поедешь?» и машина помчала его через Кировский мост, чтобы успеть до разводки мостов. Я возвращалась домой и думала обо всей запутанности, драматичности и комичности ситуации. Отец, который был талантливым художником, ярким и значительным человеком, был растерзан и подавлен в расцвете сил. Казалось бы, чего ему не хватало? При его увлечённости творчеством, воспитанным в семье деда и бабушки, ему бы быть действительно служителем искусства, а не подвергать себя ломке и самоанализу. Ему повезло, что он не состоял ни в КПСС, ни в каких либо комиссиях ЛОСХа, презирал чиновников от искусства и никогда не стремился преподавать в советских художественных ВУЗах. У него были «свободные» ученики, которые его ценили и любили, он был хорошим воспитателем, не побоюсь сказать, даже тренером. Более того, он сумел научить меня мастерству, профессии, рассказать мне, что мир велик, а искусство не ограничивается только «русским фольклором», и именно поэтому, оказавшись через много лет на Западе, я совершенно естественно вошла в незнакомый художественный мир.

Так почему же, вопреки происхождению, семье, культуре, воспитанию и чувству «своего» — затыгивало отца это совсем страшное, с которым не то что бороться, но даже обмануть или перехитрить было невозможно. Его разговоры, о том, что через пару лет грядёт новая Россия и те, кто придёт на смену, будут иначе руководить страной, мне казалось сплошным бредом. Вроде вечных рассказов об инопланетянах, которые из космоса за нами наблюдают и не дадут нам погибнуть, потому что только они знают, какие мы (русские) хорошие. Когда я наблюдала за отцом, мне казалось, что он находился в состоянии путника, заблудшего в пустыне и попавшего в зыбучий песок, который его всё глубже и быстрее засасывал. А до руки, протянутой в спасение, он уже не дотягивался.

Степени его заангажированности во всей этой страшной «системе» я тогда не знала, а узнала всё гораздо позднее, уже в Пари-

же. Ко всей бредятине, которую он иногда нёс мне, я относилась со смесью страха и стыда за него. Помню, что он мне, уже после своего возвращения из Швейцарии и нашего разговора, позвонил и сказал, что поедет в Москву, на встречу с каким-то Володей. Почему-то я запомнила, что «он» получил повышение, переведён из Ленинграда и хорошо говорит по-немецки.

Но наше гуляние по «белой ночи» и его предложение поехать мне в гости к Ирине Бриннер, неожиданно получило развитие. У меня в скором времени должен был состояться суд по разводу, но мой супруг объявил, что не приедет из Харькова (на то есть обстоятельства) и просит отложить всё до ноября. Всё как бы зависало и многие мои планы меняло. Буквально в те же недели я получила заказное письмо от Ирины Бриннер с приложенным приглашением. Письмо было написано немного старомодным, но красивым подчерком и содержало милые пожелания к моему вероятному и желанному приезду. Была и её фотография — красивой, ухоженной и решительной женщины лет шестидесяти трёх. Видимо, это дама здорово втрескалась в моего папочку, что готова пригласить к себе в гости «неизвестную дочь», подумала я тогда. Активности я никакой не проявила, сообщать отцу не стала, а главное, что не замечталось и не забрезжилось поехать в гости. Может быть, так всё и кануло бы и покатило бы иначе в моей жизни, если бы не отвратительное проявление моего супруга, через которое я совсем впала в отчаяние и полное непонимание ситуации. Уже потом, после многих лет, мне хотелось ему сказать, сидел бы тогда тихо, не суждено бы было мне поехать в Швейцарию и встретить мою судьбу. Перевесила эту чашечку весов именно песчинка! Не она ли меняла истории стран и народов, не говоря о судьбах людей?!

В июле месяце я сообщила отцу, что готова принять предложение Ирины. Он обрадовался, как ребёнок, которому подарили долгожданную игрушку.

Для оформления бумаг на поездку я должна была получить «характеристику» в Союзе художников (кажется, её давал партком). Я волновалась, во-первых, в КПСС я не состояла и была неактивным членом ЛОСХа, а после Болгарии на меня накатали «теле-

гу», и это у них осело; и потом, они могли задать мне различные вопросы, на которые я не смогла бы «хорошо» ответить. В их глазах моя поездка в гости к незнакомой даме, не родственнице, выглядела странно. Ехала я не к тётям, а к малознакомой подруге отца (тётя Ирина к этому времени скончалась, а тётя Нина была не в состоянии в девяносто девять лет приглашать). Но самое главное, моя просьба об оформлении шла почти следом после пятимесячного, скандального отсутствия отца, с разговорами, сплетнями и анонимками в его адрес со стороны Наталии Юрьевны, она писала во все инстанции, особенно после того, как он начал развод. В глазах парткома всё это выглядело вопиющим нахальством, и я чувствовала себя неловко.

Я попёрла на это заседание с самыми плохими предчувствиями, прокрутив в голове все возможные вопросы и ответы. Комиссия состояла из десятка художников, активных профсоюзников и партийцев. Меня вызвали в порядке очереди «на ковёр», зачитали мою просьбу и как-то стыдливо и враждебно молчали. Нарушил эту странную тишину председатель, он задал один только вопрос, как чувствует себя моя бабушка. Помню, что я пролепетала, что ей девяносто девять лет и что её разбил паралич после отъезда отца. «Да, конечно, Вы должны поехать и поддержать Вашу родственницу. Кто за, кто против, товарищи? Подымите руки!» Весь этот «детский сад» проголосовал «за». Бессловесная реакция этих людей и положительная рекомендация на поездку для ОВИРА меня поразила. Тем более, что исходило это всё от людей, которые шутить не умели и отвечали за свои подписи служебными местами и положением. Шёл 1979 год и те, кто помнит это время, конечно, поднимут брови от удивления. Могли не рекомендовать и даже отказать в поездке к отцу и матери, не то что к отдалённой знакомой.

Собрала я все необходимые бумажки и пошла их отнести в районный ОВИР, где меня необыкновенно ласково встретила пышная блондинка, которая некоторое время назад выдавала мне анкеты. «А я вашего папу знаю, очень интересный мужчина» — довольно игриво заявила она, принимая от меня комплект заполненных бланков.

Ого, подумала я, неужели и здесь мой папа проявил свой шарм, но когда же он успел? «Я всё передам в городской ОВИР, а уж Вас оттуда известят открыткой».

В полутёмном коридоре сидели малочисленные граждане ожидающие своей очереди на приём к «блондинке». Все они сразу вытянулись на своих жестких стульях и в глазах у них возник один молчаливый вопрос «ну, как там?» Мне было не по себе, я быстро вышла на улицу и закурила. Я должна была пройтись, меня охватила вдруг такая душевная тоска, будто во мне что-то оторвалось и обратно уж не воротишь. Может быть, это предчувствие надвигающейся беды, перемены жизни стало в тот момент так реально, что будто кто прошептал над ухом мне «вернись и забери свои бумаги назад». Но, видимо, в тот период жизни перевесило состояние безразличия.

Я решила, что если меня пустят в Швейцарию, то я поеду, а откажут — и то хорошо.

ВЕЩЬ И СОН

Пройдёт много лет, и найдутся историки и психологи, которые сумеют определить феномен, начавшийся с русским человеком в середине шестидесятых годов. В журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Новый мир» и просто отдельными книгами появились первые писатели-«деревенщики». Их произведения были встречены с нескрываемым энтузиазмом и восторгом. Изголодавшаяся по живому слову интеллигенция, инженерия, физики-лирики, художники и просто читающий люд восприняли это явление как кислородный глоток. Разочарованность в ближайшие годы построить «социализм в одной отдельно взятой стране», отчаяние полуголодного народа, как в деревнях, так и в городах, «догнать и перегнать Америку» и невозможность реализовать себя в этой стройке привели к странному явлению — советский человек потянулся из города в деревню. Василь Быков, Белов, Шукшин, Астафьев — породили целое движение, «вхождение в народ» или бег интеллигенции в природу. Тогда это было своеобразным утопическим и психоаналитическим проявлением «совка», достигшем сейчас, в двадцать первом веке, масштабов глобальных. Совинтеллигенция находила настоящую цель в жизни, скупая по дешёвке дома в деревнях, строя и восстанавливая их, парясь, как «мужики», в бане, копая огороды, доя коров, разводя кроликов, соля, маринуя и «закручивая банки» на зиму, а потом храня выкопанную картошку на своих городских балконах. Чем дальше от города покупался дом, тем романтичнее

было пребывание в нём, хотя частенько там не было даже электричества, а добираться в глухомань приходилось на попутках и с пьяными в дребодан шоферюгами. Русскому поколению, родившемуся после конца СССР, трудно себе вообразить ту степень зависимости и закабалённости их родителей от профкомов, КПСС, ОВИРОВ, ЖЭК-ов (прописки), окружающих стукачей и просто завистников. Страх, впитанный с молоком матери, сейчас даёт свои плоды, русский человек с трудом приучается мыслить самостоятельно, а порой, и не хочет думать, ведь за него думали в течение восьмидесяти лет.

Стоял разгар лета, и я решила не ждать в городе извещения из ОВИРа о поездке, а продолжить свои поиски покупки деревенского дома. Моя мечта скрыться в деревенском углу была по тем временам, как видим, не оригинальна. Я планировала, что после возвращения из моего «турне» (если таковое состоится?) мы с Иваном могли бы обосноваться в такой деревне. Отец, который вечно что-то строил и не достраивал, продал свой дом-башню на реке Мсте, но в деревне рядом с красивым названием Морозовичи жила дорогая моему сердцу женщина. Звали эту простую, из раскулаченных старообрядцев, новгородскую крестьянку Мария Михайловна. Ей было под шестьдесят, и именно она оказалась моей крёстной матерью.

В её небольшом доме было уютно, чисто, много икон, спасённых при разорении местной церкви, которую продолжали разбирать на кирпичи местные пьяницы и колхозники. Маша в колхозе не состояла, удалось ей избежать этой подневольности из-за мужа, он работал шофёром грузовика в соседнем райотделении. Когда мы с ней познакомились, она была овдовевшей; единственная дочь вышла замуж и уехала в Новгород. Наше давнее знакомство началось ещё со времён папиного строительства и деревенского романа, который Маше был известен в подробностях и о котором она старалась не вспоминать при нашем ежевечернем чаепитии у самовара. Она была набожна и очень строга, сумела сохранить в душе то, что называется страхом Божий. Не было в ней ханженства и нравоучения, но сердечное отношение к развалившейся нашей семье вызывало в ней чувство обиды на моего отца. «Срам какой, неужто Иваныч грех на душу возьмёт, разведётся с Лидой (моя мама). Бога он не

боится». Изработанность выносливого от природа тела не убила в ней молодости душевной. В свои шестьдесят лет она могла часами косить, копать огород, доить корову и ходить за скотиной. Корову подарила ей я, радости Машиной не было границ, назвала она её Дочей. Вот уж, как ни старались Советы убить крестьянство, а оно и через асфальт, будто травка, прорастало. Так и в Маше малая радость, которую я могла ей доставить через покупку скотины, кроликов, свиньи выростала в праздник. Как она за ними ходила, вела с ними разговоры, чистила клетки, мыла щётками поросят; каждому было присвоено имя.

Пенсию Маша не получала, только дочь посылала ей кое-какие денежные переводы, но и это было нерегулярно. Наша встреча и настоящая семейная дружба стала ещё сильнее после моего крещения.

Мы приехали к Маше с Иваном и окунулись в покой и уют Морозовичей. Дом стоял прямо на реке, а Мста с одного берега высокая, а другой берег пониже. Лес вокруг — с настоящими борами, не хожённый, а в тех местах, как известно, ни татаро-монголов, ни немцев не было, и совсем рядом курганные сопки, захоронения. В деревне было с десятков домов, в них только старушки, к двум из них приезжали на лето родственники. Один из таких домиков, что был рядом с Машиным, я и наладилась приобрести.

Конечно, я рассказала Марии Михайловне о своём намечаемом путешествии и даже попросила ее, в случае, если я поеду в августе, приютить на лето Ивана и мою маму. Для неё слова Швейцария–Женева были в равной степени не представляемым кусочком на планете, как и Ленинград–Москва. Она жила без телевизора, единственным источником цивилизации была радиоточка, которая вещала не всегда, а когда было электричество. В деревню раз в две недели и только летом привозили кино, на которое сходилась из соседних деревень трезвое население, состоящее из старушек и женщин с детьми. Редкие мужчины предпочитали ждать открытия Сельпо, в котором на протяжении десятилетий был всё тот же набор консервов, соли, сахара, слипшихся леденцов, хлеба и водки. Как-то, прислушавшись к разговорам в очереди перед открытием деревенско-

го магазина, я поняла, что великий русский язык состоит только из матерщины. Детки, которые возились в пыли, ожидая пока их папы купят бутылку водки, а им — комок слипшихся леденцов в кульке из толстой серой бумаги, тоже изъяснялись не на языке Пушкина. Моя Маша всё это осуждала, в магазин ходила, но в очереди с разговорами не простаивала, а в кино, тем паче, ей было ходить «заказано». Соблазну и искушению греховному она себя старалась не подвергать. Во многом мне она напоминала мою нянечку, а то, что Маша стала моей крёстной матерью, связывало нас троих особенно.

К моей поездке за границу она отнеслась как бы равнодушно, но почему-то стала отговаривать покупать дом. Причём, все доводы, ею приводимые, и отговорки были для меня не убедительными, а чаще всего она возвращалась к своим любимым животным и что с ними будет, если она вдруг умрёт. Я совершенно не могла понять, почему именно разговоры о болезни и смерти стали так её волновать. Может быть, она больна, скрывает от меня что-то, не хочет зря волновать перед поездкой? В общем, я стала задаваться вопросами. Однажды вечером, сидя после ужина за самоваром, она как-то странно на меня посмотрела и сказала: «Молиться твоему Ангелу-Хранителю буду. Надо чтоб помог он тебе из кругов тёмных выйти. Если не я, то кто за тебя ещё помолиться».

А и вправду, помолиться обо мне было некому! Только сама я в ночи неумело просила Пресвятую Богородицу простить и защитить меня. Чувство настоящей веры, благодати Божией и церковность пришли ко мне гораздо позже.

Но прошло ещё несколько дней после нашего вечернего чаепития, и мне приснился сон, значения которого я совершенно не могла понять и, видимо, от того, что он был «вещим», он мне запомнился, а толкование его пришло позже. Прежде, чем рассказать сон, хочу сказать, что со дня моего крещения я носила, не снимая, простой медный крестильный крестик, подарок Маши. А сон был такой. Будто сижу я у окошка в машинной избе, на столе кипит самовар, и чай мы пить собрались. За столом сидят Маша, мой отец и я. За окошком раскрытым виднеется садик, с тремя яблонями, огород, и по всему понятно, что стоит тёплый летний вечер. А на

маленькой лужайке перед окном будто холмик травяной возвышается. Тут Маша мне и говорит: «Ксенюшка, ты свой крестними и брось под холмик». Я покорно цепочку отстегнула и бросила крестик за окно. Гляжу, а цепочка с крестом моим как бы ожила и змейкой поползла по холмику вверх. Медленно ползёт, а я неотрывно на неё смотрю и со страхом думаю — только бы она, когда до вершины доберётся, не стала бы по другой стороне холма спускаться. И, что ещё страшнее, если упадёт со склона, не удержится, тогда «конец». А чему конец? Во сне я не осознавала, но чувствовала, что тогда несчастье приключится. И стала во сне горячо молиться! Посмотрела я на Машу, вижу, она с улыбкой на отца моего смотрит, а он как бы безразличен к происходящему, занят чем-то совсем другим, вроде мастерит за столом что-то. Присмотрелась я и увидела, что в руках у него рыболовная снасть, он её чинит, дырки в ней латает, страшно торопится успеть, всё за окошко поглядывает на мой крестик ползущий и приговаривает: «раз-два, раз-два...» Цепочка моя до вершины холмика добралась, и одним концом свесилась по отлогости на другую сторону... сейчас сорвётся, я глаза зажмурила от страха. Слышу, как Маша мне говорит: «Не бойся, посмотри». Мне вдруг так спокойно стало на душе, глянула я за окошко и вижу, что застыл мой крестик с цепочкой на противоположной отлогости, будто врос, а трава на этом склоне совсем другого цвета. Весь страх у меня прошёл и голос Машин, будто издали: «Не успеют, не упадёшь, не заманят...».

С этим я и проснулась. Сон был настолько постановочным, что мог бы сойти за реальный бред или галлюциноз, что-то он означал. Я не успела рассказать его Маше, так как в это утро местный почтальон на велосипеде привёз мне толстый конверт. Моя мама из Ленинграда пересылала мне в Морозовичи почту. Я разорвала пакет, из-под газет и писем вылезла жёлтенькая казённая открытка со словами «вам надлежит зайти... имея при себе... и т. д... в центральный ОВИР». Назначенная в повестке дата была завтра.

Я быстро собралась, попросила Машу «попасти» Ивана до приезда моей мамы и сказала, что буду держать её в курсе событий. Мы с ней прощались ненадолго, осенью я должна была вернуться и оформить

покупку дома. И уже в поезде, подъезжая к Ленинграду, я подумала, как жаль, что Маша не узнала о моём сне, она бы мне его растолковала.

К назначенному часу я пришла в городской ОВИР. Мне нужно было заплатить двести пятьдесят рублей (огромные деньги) за паспорт. Впервые я оказалась в стенах центрального отделения крошечного ада для многих отъезжающих за границу. Меня поразило количество людей, спускающихся и поднимающихся по центральной лестнице, а когда я вошла в большой полукруглый зал, то увидела, что свободного стула не найти. Даже вдоль стен люди сидели на корточках, это почти напоминало «феномен Казанского вокзала». Граждане пытались отвлечься чтением газет и книг, но мысли и слух были далеко. Стоило посмотреть на выражение лиц, объёмные папки с бумагами в руках и нервное посматривание на аппарат под потолком, выкрикивавший фамилии по спискам. Человек срывался с места и исчезал за одной из многочисленных дверей и загорожек. Советская толпа в метро, на улице, в присутственных местах имеет особую температуру, она не похожа ни на одну в мире. А в ожидании вердикта от Окуловых, Кашеевых, Шамановых и прочих чиновниц ОВИРа эта спрессованная, молчаливая и напряжённая толпа была достойным сюжетом для документалистов.

То были годы массового оформления выездов в Израиль, начавшихся в начале семидесятых, после «самолётного дела» Э. Кузнецова. Сколько унижений, бессонных ночей и преждевременных смертей стояло за отъезжающими на свою историческую родину. Инспекторы ОВИРа получали особое садистское удовольствие (так было приказано) хамить, отказывать, презирать и, что самое странное, в душе завидовать всем, кто приходил к ним оформляться. Этими «овирными блондинками» с эсэсовскими сердцами особого различия в обращении к малочисленной категории «в гости», — не делалось. Интересно, брали ли они тогда взятки?

Через полтора часа ожидания я получила заграничный паспорт. Мне объяснили, что визу для поездки нужно получать в Москве, так как в Ленинграде нет швейцарского консульства.

Не буду описывать, как я ездила в Москву за визой на сорок дней, что соответствовало приглашению Ирины Бриннер. Толпы у дверей консульства не было, я была почти одна, но когда я получила транзитную визу немецкую, то у железных ворот уже теснилась кучка поволжских немцев. По возвращении в Ленинград я встрети­лась с отцом, пришлось поехать к нему в Парголово. Стоял хороший летний день, и уже подходя к горе, я услышала лай его собаки. Пока я поднималась по лестнице, собака рвалась на своей длинной цепи и, видимо, меня не узнала, хотя зимой позволяла даже себя гладить. Отец выскочил мне навстречу в своих неизменных валенках. Он во все сезоны ходил по дому только в них. Настроение у него было скорее добродушное, хотя я никогда за ранее не знала, на какое состояние его души можно было наткнуться. Мы прошли в дом, где было чисто убрано, но никаких следов его жены и дочери я не заметила. На мольберте стоял только что начатый холст.

Он был рад моему приезду, а так как я уезжала через неделю, то мне хотелось узнать подробнее о тёте Нине и Ирине Бриннер.

Отец надавал мне списки телефонов и фамилий: «Это всё хорошие друзья, они тебе помогут. А вообще, советую тебе завести тетрадку и писать всё, что с тобой происходит изо дня в день, как дневник. Я когда жил там, всё время вёл такой дневник, а теперь вот перечитываю и обрабатываю свои записи...». Он осёкся заметив мой странный взгляд. Неужто «дневник» из интимного превратился в отчётность о проделанной работе, подумала я. Интересно, как отца восприняли все эти «старые» русские? Видимо, он настолько очаровал их, что сумел подружиться. Хотя по всему было видно, и этого он не мог от меня скрыть, как он ностальгически вспоминал о Женеве, о новых знакомствах, и с какой любовью говорил о тёте Нине. Перед самым прощанием он сказал мне о Ирине: «Ты не удивляйся, если она тебе начнёт рассказывать о наших отношениях. Она замечательный человек, и я думаю, что наша дружба может пере­расти в нечто серьёзное...».

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана,
Где б найти такую б...ь,
Что б на Брежнева сменять»

*(Стишок, сочинённый к обмену
Владимира Буковского на чилийского
коммуниста Л. Корвалана в 1976 году.)*

В 1979-ом обменяли Э. Кузнецова, А. Гинсбурга, Винса и Морозова на двух советских шпионов.

Ко всему набору «изменников Родины» и длинному списку изгоев из художников, писателей, поэтов (Бродского), побегушников (Нуриева, Барышникова)... не забудем добавить высылку А. Солженицына в 1974 г.

В течении пятнадцати «застойных» брежневских лет целый пласт новой постсталинской интеллигенции, не желавшей идти в «одном строю», были всяческими способами выдворены из страны Советов.

Новая история России, бесклассовая, обезличивающая — стала писаться с 1917 года. Она записала в свой «бухгалтерский» отчёт миллионы жизней, положенных на стройках «Беломорканалов», советских концлагерей, расстрелы, гражданские войны в России и Украине. Та часть русских, которым удалось бежать, быть высланными, спасти свои жизни в начале двадцатых годов, оказалась в эмиграции. Русских было много в Париже, Женеве, Лондоне, Берлине. Быть в эмиграции трудно, не всегда богато и не всегда успешно. Если первая волна русских бежала от пули, вторая от петли, третья волна была диссидентской, то четвёртая эмиграция (восьмидесятых-девяностых годов) уже была чисто экономической. После падения СССР возможность свободно выехать, работать, учиться и вернуться в страну свело феномен эмиграции на

миграцию. В наше время о таком не мечталось, человек уезжал, как умирал! Была в те застойные годы ещё одна странная категория эмигрантов, их называли «советские жёны». В основном, они отправлялись в Африку или арабские страны, реже встречались в Европе. Многие из этих женщин оказывались на крючке у КГБ, приходилось отрабатывать «сладкую жизнь».

Для меня, уезжающей «в гости», многое было неведомо об эмиграции. Конечно, бабушка часто рассказывала о своих сёстрах, но их переписка была очень не регулярной, а турвизит тёти Ирины тему не развил. Много я знала из передач радио «Свобода» и прочих «голосов», книги «сам-и-тамиздатские» читала, но по-настоящему история эмиграции была для меня неизвестна. Рассказы отца о «женевских русских», из его детства, интересные и глубокие беседы с тётёй Ниной — были мне в диковинку. Ехала я бездумно, глупо и бесцельно под воздействием каких-то жизненных внешних обстоятельств, сложившихся помимо меня. А встреча с тётёй Ниной (двоюродной бабушкой) меня волновала, и, может, именно это по-настоящему было важно.

Поезд Москва–Берн уже катил по своим рельсам и помню, что я решила пойти в вагон-ресторан. Съела что-то совсем несъедобно-отбивное, выпила пива и закурила. Вокруг меня сидели за столиками довольно мрачные люди, говорили мало, пили много, трудно было по ним понять, кто они. Сизый от густой прокуренности полумрак «ресторана» создавал обстановку вокзальной столовой. Я расплатилась и пошла в свой вагон, по еле освещённому коридору мне навстречу шёл проводник. Его сильно раскачивало, наверняка, не от скоростных оборотов колёс. Никаких весёлых мыслей это передвижение в ночи у меня не вызывало. Мне предстояло в Женеве, наверняка, выслушивать любовные излияния незнакомой мне дамы к моему отцу. Заранее я решила, что буду себя вести с ней просто, и, если она мне понравится, то по возможности откровенно, а если не придётся по душе, то сохраню дистанцию. Я помнила отцовские наставления и советы: в случае трудностей идти в совет-

ское консульство и спрашивать каких-то «петю, колю, сашу». Для себя я решила пойти в консульство и отметиться (так полагалось), но не одна, а с Ириной Бриннер. Ну, а трудностей просто не создавать, и «советов» от «пети-коли» не надо будет получать.

Я забралась на верхнюю полку своего пенала-купе. Со мной ехала женщина средних лет с мальчиком лет одиннадцати, они должны были сойти в Германии. Довольно быстро я заснула. Проснулась от того, что мы стоим и, видимо, уже давно. Соседка моя говорит «Это меняют колёса. Часа на два, а заодно и документы смотрят. Мы в Бресте». Скоро в наше купе довольно бесцеремонно, сильно постучав, вошёл проводник, женщина в форме и молодой военный. Паспорта наши отобрали, пошныряли глазами по стенам, потолку, заглянули под нижние полки, приказали выйти из купе. Я вдруг поймала себя на мысли, что чего-то боюсь, этот пограничный досмотр вызывал ложное чувство твоей собственной преступной деятельности.

Будто ты и вправду везёшь контрабандное золото, банки чёрной икры или кого-то незаконно укрываешь под полкой. Чувство подопытного лабораторного кролика перед вскрытием без наркоза меня не покидает до сих пор, когда я прохожу границу въезда-выезда из России. А тогда тем более! Из коридорного окна я видела, как кого-то снимали с поезда с чемоданами, а когда состав тронулся, пожилая полная женщина, вся взлохмаченная, бежала по перрону с растерзанной огромной сумкой, развалившимся тюком, чемоданом, чтобы успеть на ходу вспрыгнуть в вагон. Ей никто не помог, и поезд набрал скорость...

Мы продолжили свой нарушенный сон. Днём проехали Польшу. Поля, поля, редкие, одинокие пахари на лошадке, иногда на сотни километров отдельный трактор, бедность, обшарпанность мелькавших за окном станций. Следующей ночью мы должны были пересечь границу с Германией. Всё почти сценарно повторилось. Основательный ночной стук в дверь и морда чёрной овчарки сунулась сразу под нижнюю полку. Мальчонка от страха вскрикнул и кинулся к матери. «Всем встать! Выйти!» Мы с моей соседкой в ночных рубашках, прикрываясь простынями стояли перед немец-

кими пограничниками. Это был Берлин, Восточная зона. Женщина в форме подняла наши матрацы, посветила карманным фонариком вглубь под потолком, собака нас обнюхала и по команде: «Можете ложиться!» мы покорно залезли на свои полки. Нас закрыли на ключ, и выйти в коридор было невозможно, мы проезжали по Западной зоне Берлина. В темноте купе, при свете ночника, я приподняла жёсткую шторку окна и с верхней полки стала смотреть в мелькавшие тени за стеклом. Я различила, что по началу мы ехали вдоль высокой бетонной стены, с металлической сеткой и проволокой наверху. Минут через пятнадцать этого мрачного пути стали попадаться будки со слабым электрическим освещением, рядом люди в форме и собаки. Потом опять стена, а ещё через несколько минут из черноты мы вырвались в полосу света. Поезд резко прибавил скорость. А за бетонной границей и колючей проволокой замелькали тысячи живых светлячков.

Они двигались, сливались в живые потоки, их разводило в разные стороны. Что это? Неужели это ночной Берлин?! Ночь, а он не спит в мрачной летаргии своего соседа, сверкает неоновым светом. Два города: слепой и зрячий. Можно было различить кафе, гуляющие парочки, сотни машин... Это видение длилось несколько минут, потом поезд опять окунулся в вязкую темноту и я опустила шторы. Встреча с Западом навсегда останется для меня именно через это ночное мгновение. Из своего угла, в тесном купе, закрытая на замок, я почувствовала что там, где был неоновый свет, идёт другая жизнь, к которой ни меня, ни мою соседку с мальчиком пускать нельзя. Ещё я не могла определить какая эта жизнь и не умела сказать о ней слово — «свободная», но, странно, мне стало спокойно и хорошо на душе. Будто ласковый голос Маши я услышала в ночи и самой мне стало казаться, что несёт меня судьба к чему-то неожиданному и незнакомому.

Утренний пейзаж за окном разительно отличался от русских, поросших бурьяном, полей и полупаханых польских просторов. Мы катили по Западной Германии. Соседка и мальчик повеселели, угощали меня бутербродами, мы пили чай. Скоро им сходить, как я поняла, они были поволжские немцы и ехали навестить родствен-

ников. Я неотрывно смотрела в окно и мне нравилось всё. Какая ухоженность земельных угодий в геометрической мандриановой разбивке, разноцветные кусочки земли. На одном что-то цветёт ярко жёлтое, на другом вспахано кирпично-красное, а к горизонту — изумрудно-зелёное поле... Километры разнообразились игрушечными домиками с подстриженными газонами, садиками, цветниками. Мелькавший за окном мир был незнаком, и природа другая; эта первая встреча с любовно ухоженной землёй осела в моём сознании навсегда. Чувства гнёта и давления постепенно оставляли меня, тяжесть и напряжение последних лет отдалялись с каждым километром, они будто пресеклись границей, мой прежний мир был позади...

Я прибыла в Берн и должна была сменить поезд на Женеву. Отец мне очень толково всё объяснил, и у меня не было страха затеряться, более того, на худой конец, я могла хоть и плохо, но обратиться по-немецки за помощью. Довольно быстро я нашла нужный поезд, закинула свой чемоданчик наверх в сетку и покатила в Женеву. Три часа я ехала вдоль огромного озера, с заснеженными Альпами на горизонте, и мне было очень хорошо. В голове моей была абсолютно счастливая пустота! Единственная беспокоящая мысль — это предстоящее знакомство с Ириной, но и оно подменялось волнующей меня встречей с тётёй Ниной. А вот и Женева. Я сошла с поезда и поплелась через переходы Женевского вокзала к его центру. Было условлено, что встретимся мы с Ириной Бриннер у выхода из вокзала, ближе к стоянке такси.

Мне всё показалось тогда огромным, шумящим, мелькающим и... вкусно пахнущим. Первые запахи остались такими же запоминающимися, как и первые визуальные, и первые слуховые. Весёлая нарядная толпа с незнакомым языком, звуками, эскалаторами, витринами магазинов окружила меня, и я растерялась. Не смогла я найти выхода к такси, села на свой чемодан и стала оглядываться по сторонам. И вдруг вижу, как из центральной двери ко мне приближается дама, одетая во всё белое, лёгкое, развевающееся, с костылём в руке и ногой в массивном гипсе с каблуком. Ирина сломала ногу за неделю до моего приезда и я об этом не знала. Её

театральное восклицание: «Ксения!» — рассеяло все мои сомнения. Передо мной стояла она!

Я подхватила чемодан, мы сели в такси, город промелькнул за несколько минут, пока Ирина расспрашивала меня о разных пустяках, первое смущение при знакомстве — и вот я уже у неё дома.

Мы уселись с Ириной на кухне и первое, что она мне сказала:

«Пожалуйста, давай перейдём на «ты» и без всяких отчеств. Ну.. и я тебе должна сказать правду, у меня с твоим отцом роман... любовь!». Произнесено всё это было на одном дыхании, видно, она обдумала заранее, как бы мне этот секрет раскрыть, и, по возможности, быстро. Не хотела она, чтобы между нами были недомолвки по столь важному для неё событию. Её прямота мне понравилась. Я даже разулыбалась: сколько женщин мне уже в подобном признавалось, и всё о моём отце. Ирина восприняла эту улыбку как одобрение, повеселела, но я и вправду ничего против не имела. Она производила впечатление влюблённой девушки, трогательно убеждённой во взаимности. Немолодая, красивая, её одиночество было видно за версту. Объяснять ей, что она встретила человека, ненадёжного в плане чувств, было в данный момент бесполезно и жалко.

«А я уже всё знаю!» — мой ответ был воспринят ею как подарок, она вся светилась. Об одном я мечтала, чтобы она меня пощадила и ничего в подробностях не рассказывала об отце и их нежной дружбе. Но мы прошли в спальню, и я онемела от удивления. Над всей длиной её кровати была сделана полка, на которой плотно, одна к другой, в рамках, был выставлен фотографический портретный ряд изображений моего отца. «Это мой Гуленька» — промурлыкала Ирина, а меня чуть не стошнило на её китайский ковёр.

«Ирина, а как Вы с ним встретились?» — спросила я. Последовал обстоятельный рассказ о знакомстве. Ирина в тот момент занималась подготовкой своей персональной выставки в Музее часов в Женеве. Отца познакомили с ней общие друзья, предполагая, что им обоим будет интересно поговорить и обсудить художественные проблемы. Редкие гости из СССР появлялись тогда в Швейцарии. Первая русская эмиграция пополнялась третьей, диссидентской. Отец начинал свои ювелирные опыты, а Ирина — известный скульптор-ювелир — конечно, многое могла рассказать и показать.

Она была единственной дочерью богатых родителей. Отец Юла и её отец были родными братьями, а матери Ирины и Юла — двойняшками. Семья Бриннеров сколотила огромный капитал в России на сплаве и продаже леса. Революция разорила их, сначала был непродолжительный Владивосток, но и туда докатилась волна Советов, и все Бриннеры с детьми вплавь на лодках бежали в Харбин. Отец Ирины служил швейцарским консулом в Харбине, там же рядом продолжал расти и Юл со своей родной сестрой Верой. Все последующие сказки и легенды, которые сочинял голливудский актёр о себе, будто он «кочевой цыган», есть плод фантазии и коммерческой романтики. Сёстры и брат всю жизнь дружили. Вера стала профессиональной оперной певицей, Ирина — скульптором, Юл — актёром (с калейдоскопом жён и детей).

Отец Ирины был мягким и довольно бесхарактерным человеком, полной противоположностью своей жене, психиатру по профессии. Как мне рассказывала сама Ирина, всю жизнь она обожала и жалела отца и боялась матери. Её влияние и давление было настолько сильными, что, когда Ирина была уже взрослой девушкой, мать ни на шаг не отпускала её от себя. Ей было запрещено приглашать друзей домой, посещать театр, а в гости можно было ходить только с матерью или прислугой. После смерти отца это давление и настоящее «обладание» дочерью переросло в безраздельную тиранию. Вся семья Бриннеров была музыкальна, а мать Ирины была вполне профессиональной пианисткой. Вечная мечта Ирины петь (как в опере!) всегда высмеивалась матерью и стала реализовываться на семейно-любительской сцене только к момен-

ту знакомства с ней моего отца. Ей было шестьдесят три года, но жизнь и чувства только к пятидесяти годам обрели, что называется, «женскую оболочку». Мать всячески препятствовала её увлечениям, следила за ними и критиковала молодых людей. Результат вылился в печальный исход, Ирина осталась старой девой рядом с властной матерью. Прожив двадцать пять лет в Сан-Франциско, они решили вернуться в Женеву в начале шестидесятых годов. У обоих были двойные гражданства (американское и швейцарское), достаточный капитал и уже сложившаяся карьера Ирины как ювелира. Мать скончалась в 1972 году, по её желанию она была кремирована, и пепел матери Ирина хранила в урне, на той же полке, что и многочисленные фотографии моего папы. Она всё не решалась захоронить мать в Швейцарии (так она говорила), мечтала это сделать в Америке, каждый год там бывала, но урна оставалась на своём месте. Она «забывалась»(?) в последний момент..

Характер, сформированный властной матерью, избалованность богатством и, в общем, лёгкой карьерой дополнялся абсолютнейшим отсутствием какой-либо веры. Долгое время в детстве она была «ником», потом стала протестанткой (как все в Америке), затем студенткой в Лозанне перешла в католичество, а оказавшись в среде первой эмиграции, поменяла своего исповедника на православного батюшку. Как будто, наконец, обрела покой душевный, но всё испортилось из-за пения. Её тайная мечта — карьера певицы — не давала ей покоя. Пение в церковном хоре воспринималось как пение на сцене Ла Скала, что привело к размолвке с регентом и прихожанами. Не буду дополнять всю эту сумбурность Ирининой жизни деталями смен исповедников, приходов; дружбой то с одной дамой, то любовью с явным грузинским аферистом моложе её на двадцать пять лет, увлечением СССР и киданием на помощь выезжающим диссидентам (Эрнсту Неизвестному), «шефством» над С. Ростроповичем, а потом проклятиям и обидам в их адрес. Нет конца непоследовательности действий и чувств, и в результате — огромное одиночество этой женщины. Я благодарна ей по многим этапам жизни, она была первым и очень щедрым другом с начала нашего знакомства.

Ирина скончалась в Нью-Йорке на восемьдесят шестом году жизни. Когда мне стало известно, что она смертельно больна, я полетела к ней проститься. Рядом с ней были чужие люди, она была одинока и исповедывал её уже лютеранский пастор.

Конечно, рассказами о своём «одиночестве» душевном, полным расхождением и непониманием по жизни с моей мамой, встречей со «злой аферисткой», родившей ему ребёнка не по его воли, ссорой с сыном от второго брака, дружбой с первой женой (Мариэттой Гизе), страданиями от того, что единственный близкий ему человек (Ксения) его «оставила» и теперь страдает от мужа-деспота... пирамида всей этой бредятины Ирину растрогала до слёз, и она — влюбилась!

Она кинулась опекать меня воодушевлено и увлечённо. Не скрою, что я, не привыкшая к столь бурным проявлениям любви, дней десять не могла понять, что движет этой женщиной. Дорогие подарки, платья из голливудского гардероба, драгоценности, поездки в Альпы и Юра, посещение ресторанов, театров и гостей... всё это выливалось ушатами на мою голову, пошедшую кругом. Со стороны Ирины это не было расчётом или авансом на любовь к отцу, думаю, что её бездетность и кромешное одиночество получило выхлоп. В какой то момент я стала чувствовать себя в целлулоидной коже моей любимой куклы Иры (её ведь тоже звали так!) и тогда я поняла, что любовь Ирины к моему отцу была удушающей, и, если он её бросит или обидит, то конец истории может быть печальным. Положительных эмоций было слишком много, мои страхи оставались таять где-то на горизонте в трёхнедельной протяжённости швейцарского счастья.

На третий день своего приезда я сказала Ирине, что должна пойти в советское консульство и прошу её меня сопровождать. Она одела на себя нечто совершенно невысказанное, вызывающе-американское. Дикий парик, тщательный макияж, «Шанель»; драгоценности своего производства были в ушах, на пальцах и шее, швейцарский (особый) костыль в руке. Вызвав большую машину

с шифёром, так как с ногой в гипсе иначе передвигаться было невозможно, мы отчалили.

Встретил нас в консульстве худенький молодой человек в сереньком затрапезном костюмчике, провёл в комнату ожидания, попросил подождать. Жалкие наборы брошюр по полкам, «Советская женщина», «Огонёк», портреты вождей и почему-то запах то ли пиროгов с капустой, то ли закуски. Вышла женщина, которой я отдала паспорт, ушла. Ирина устала сидеть и демонстративно вытянула свою ногу в гипсе на кресло напротив. Меня мучительно долго «ставили на учёт». Минут через сорок, суетливо улыбаясь, почти влетел средних лет человек, было чувство, что он как бы с дороги, торопился и потому вытирал пот с шеи и лица. Видимо, мой паспорт «ждал» его появления. Сразу подошёл ко мне и, не замечая Ирины, протянул мне руку: «Меня зовут Александр Иванович, но для Вас просто Саша. Вашего папу я знаю, он у нас бывал». Я всё-таки развернула его лицом к Ирине и представила её, но она как бы совершенно не заинтересовала Сашу, и он продолжал непринужденно: «Вот Ваш паспорт, пожалуйста, не стесняйтесь, Ксения Игоревна, я Вам дам номер моего телефона, если какие трудности возникнут, посоветуем... Вы ведь первый раз выезжаете? Всякое может быть...». И много, безостановочно, монологично, минут пять, всё в таком духе. Я поблагодарила, попрощались, и ровно также, демонстративно не замечая присутствия Ирины, он проводил нас до выхода.

Дверь массивных ворот бесшумно за нами закрылась.

Возмущению Ирины не было предела! Она никак не могла взять в толк, почему на неё хотели, то, что называется, «чихать» в советском консульстве. Мало того, что она пригласила меня в гости, её Гуленька проживал у неё в квартире месяца четыре (конечно, им это было известно), вся Женева была заклеена афишами о её выставке, о ней говорило радио и телевидение... Ирина была по-своему тысячу раз права, но с другой стороны, слава Богу, что эти работнички не обратили внимания на неё. Думаю, что просто по «совковому» хамству и невежеству. Зато я была очень довольна, что благодаря присутствию Ирины мне удалось избежать приёма и разговора наедине с Сашей. Теперь я могу зайти к ним только перед отъездом

и постараюсь взять кого-нибудь из швейцарцев. Ирина собиралась улететь через двадцать дней, и было решено, что просто так она меня не бросит, с кем-нибудь познакомит и поручит меня опекать. Квартиру она оставляла на меня, прислуга приходила каждый день, и все отведённые сорок дней я могла жить совершенно спокойно.

Каждый год Ирина осенью убывала в Америку, где проводила по полгода, без этих поездок она не могла существовать. Как она говорила, для неё это был «глоток свободы после затхлого болота Швейцарии». Но мне было трудно это понять, не только тогда, но и сейчас. В результате Ирина в конце восьмидесятых годов перебралась окончательно в Нью-Йорк, поближе к бьющей ключом жизни и, самое главное, к Юлу. Через несколько месяцев он скончался от рака лёгких. От одиночества и неприкаянности Ирина теперь совершает поездки в обратном направлении, к друзьям в Швейцарию.

А в момент нашего знакомства, благодаря ей, я была хорошо введена в русскую Женеву. Все эти люди знали моего отца и, конечно, секрета из отношений с ним Ирина не делала. Об их романе она оповестила всех, так что меня представляла чуть ли не «своей дочкой». В общении и разговорах с русской диаспорой меня удивляло многое. Чего я никогда не могла себе вообразить, так это разобщённости и чёткой разграниченности этих кланов. Были группы просоветски настроенных богатых людей, которые, будто не замечая всего происходящего в СССР, ездили регулярно в Москву и Ленинград, хвалили советскую медицину (дешевизна плюс качество!), работали в ООН и боялись диссидентов, которые стали появляться на Западе. Одна из таких патриоток в результате многочисленных поездок в Союз умудрилась трахнуть с Шолоховым и, вероятно для сравнения стилей, с поэтом Евтушенко. При этом некоторые из этих русских были верующими, но, конечно, нога их не переступала православных храмов Зарубежной Церкви.

Другая часть русских женецев, наоборот, была антисоветски настроенной, много помогавшей диссидентам, связанной с РСХД, НТС, работавшей для «вражьих голосов», при каждой возможности посылавшей книги, знающих правду о «самой гуманной» и поэтому никогда не ездившей на Родину своих отцов. И ещё были русские,

растворённые в швейцарской среде, забывшие свой родной язык, сменившие вероисповедание и абсолютно не интересовавшиеся Россией. К этой категории относилось, скорее, третье поколение русских.

Встретаться и дружить с просоветскими дамами мне было неприятно и даже противно. Несколько раз я присутствовала на ужине, где в разговорах всерьёз хвалилась политика, проводимая Брежневым, говорилось, как им дёшево и спокойно бывать в Москве, какие тупые и жадные швейцарцы и, конечно, пелись дифирамбы «русской душе». Весь этот жалкий и примитивный набор был, вероятно, рассчитан на меня и как бы должен был укреплять меня в сознании, того, что СССР — это рай, а здесь — капиталистический ад, и поэтому я не должна расслабляться и поддаваться искушениям и соблазнам. Однажды, после очередного вечера с «задушевной беседой», я спросила Ирину, почему эти люди так усердно меня агитируют за советский строй. Они что, чувствуют в моей душе сомнения или видят, что я сплю и вижу остаться «насовсем у неё в гостях»? Кажется, Ирина мне ответила, что это они по инерции со всеми приезжими так говорят, а с Игорем у них было полное понимание, и что он им рассказывал о грядущей новой России. Хотя! Чем ближе к концу пребывания, тем больше он был одержим сомнениями. Более того, ему швейцарцы предлагали остаться, он советовался с нею и с ТТ, мучился целую ночь, и она до сих пор не понимает, почему он не решился. «Может быть, из-за тебя?» — спросила меня Ирина.

— Скажу тебе откровенно, что не знаю причины его нерешительности в этом вопросе. А может быть, возраст? — ответила я почти провокационно.

— Ну, какой возраст! Он ведь сильный, красивый, талантливый. А я ему такой бы опорой была, хотя бы на первых порах! — воскликнула Ирина.

Может быть, именно этой «опоры», при всём цинизме моего отца, он и не хотел иметь. А любви настоящей (не на несколько месяцев) у него не было. Объяснять этого он не хотел ей, расстался почти навсегда, а роман по переписке долго не протянул бы. Не знал он Ирины!

Однажды утром раздался звонок у входной двери и на пороге появился красавец мужчина, этакий Джеймс Бонд на швейцарский манер.

— Ну, вот Вы и приехали, как Вам наша Женева? А папенька Ваш всё беспокоился, что потеряетесь по дороге, поднял панику, даже звонил мне, — произнёс гость и я поняла, что это именно «он», с которым у отца были такие интересные беседы.

— Я уверена, что Вы Троянов? Как я могу к Вам обращаться? — спросила я.

— Да просто по имени, Тихон, а с моей женой Мариной и мальчиками я Вас познакомлю позднее. Я зашёл на десять минут с Вами познакомиться, к сожалению, должен уходить, дела. Ирина, я скоро позвоню, и мы чтонибудь организуем интересное, например, поедем в Берн или вдоль озера, пообедаем в ресторане. До свидания, — и моя рука утонула в его мягком пожатии.

Тихон Троянов был из тех интереснейших личностей, которые через разговоры, вопросы, мне задаваемые, рассказы (малые) о другой эмиграции, приоткрыл мне жизнь настоящей России в изгнании. Тихон был ласков и внимателен ко мне и сам того не подозревал, какую работу в моей голове проделали его осторожные беседы со мной, сколько вопросов я себе задавала после каждой нашей встречи. Он был владельцем большой адвокатской конторы в Женеве, сейчас её филиал Тихон открыл в Москве. В то время никто, а он тем более, не мог и мечтать о подобном. Кажется, он же вёл дела по защите «авторских прав», только, что выдворенного из СССР Александра Солженицына. Тихон Троянов был сыном священника, русский поток эмиграции через Югославию привёл его в Швейцарию, где он женился на гречанке.

Тихон познакомил меня с недавно открытым православным приходом в Шамбези. Службы велись по-французски, а сама церковь помещалась в крипте большого греческого храма. Состав прихожан был довольно разнообразный, в основном швейцарцы, французы, перешедшие в православие, и русские. Вся атмосфера этой почти домашней церкви была необычна, она напоминала семейный очаг. Часто после воскресных служб все оставались и пили

чай, гуляли, вместе устраивали интересные литературные встречи, на которые приглашались богословы и литераторы. Основателем этого прихода был сам Тихон Троянов.

Благодаря широкому охвату, если не разбросу, знакомств, Ирина меня свела с Наташей Тенц и Таней Дерюгиной. Наташа в те годы была в активных хлопотах и помощи диссидентам. В её большом доме подолгу жили Виктор Некрасов и Вадим Делоне. Она их матерински выхаживала и абсолютно безропотно сносила не всегда простые ситуации. Таня, которая совсем недавно потеряла мужа (Владимира Варшавского), находилась в тяжёлом душевном состоянии. Меня, я помню, поразил глубокий траур её души, не говоря об одежде, она долгие годы не снимала своего чёрного платья. Таня стала «подкармливать» меня книгами, о существовании которых я не подозревала, и тут раскрылся для меня новый мир. Я окунулась в чтение дневное и ночное. За Солженицыным были Авторханов, Варшавский, Зиновьев, Войнович, журналы «Посев», «Грани», а потом и многое, написанное в эмиграции с тридцатых по шестидесятые годы. Это чтение взапой подтвердило во мне осознание лжи, которой нас питают в СССР. Словно нахождение и соединение недостающих квадратиков в головоломке, оно выстроило полную картину того, что скрывалось от нас и запрещалось, за что сажали и высылали инакомыслящих из страны.

Я, конечно, о многом знала, но об очень многом не подозревала! Это была настоящая история России, с кровью и трагедией, а чем больше я читала, говорила с Тихоном, Наташей и Таней, тем странней и непонятней выходили персонажи «ооновских» просоветских дам и господ, с удовольствием ездивших в страну утопической «бессобытийности» и обмана.

Каждый день был насыщен впечатлениями.

Примерно через неделю после приезда я предложила Ирине пойти со мной к тётке Нине. Помню, что я очень волновалась, знала, что она только что пережила инсульт. Ей было девяносто девять лет. Рассказы отца, что она внешне похожа на мою покойную ба-

бушку, то, что она больна, удастся ли мне с ней поговорить, дойдёт ли до её сознания, что я её внучка, — все эти опасения приводили меня почти в панику.

Ирина стала лучше передвигаться со своим костылём и гипсом, а поэтому мы пошли к Ниночке пешком. Спустились вниз под горку, в старую часть города и, помню, как подошли к стенам старинного здания, увитого кроваво-красным плющом. Здесь находилась «Армия спасения». Убежище для людских душ, где можно было встретить и молоденькую наркоманку, которой помогали вылечиться и одинокого пожилого человека. После смерти мужа (а потеряла она его рано), тётя Нина окончила богословские курсы и стала помогать людям своими проповедями, советами. Она была здесь всеми любима и уважаема, вела широкую переписку с самыми разными людьми даже за пределами Швейцарии, к ней приезжали посетители.

В доме царил швейцарский порядок. Нас поднял пенальный деревянный лифт на пятый этаж, и девушка, одетая во всё чёрное, провела до двери. Маленькая, почти крошечная старушка утопала в огромном, с прямой спинкой, расшитом гобеленовым рисунком кресле. Под ногами у неё стояла скамеечка с довольно высокой подушкой, пышные белые волосы были аккуратно уложены, нос с «армянской» горбинкой, чёрные глаза смотрели на нас с нескрываемым удивлением. Передо мной была копия моей покойной бабушки! Отличия я заметила позже, а они были в выражении лица, мягкости движений, ласковости повадки и почти детской веселости. Строгостью и скромностью убранство комнаты походило на келью.

Ничего лишнего, белые стены, полка с книгами, Библия, свеча.

— А где же Игорь? — первое, что услышала я, подойдя к ней.

Я решила её обнять, но мне показалось, что до неё невозможно дотронуться, такая хрупкость, невесомость и прозрачность была в её теле.

— Он обещал мне, что вернётся, а сам уехал... туда... далеко на Север.

И она очень осторожно кивнула головой в сторону окна.

— Это Ваша внучка, Ниночка, её зовут Ксения! Вам Игорь о ней рассказывал! — голос Ирины напугал её, она как-то взметнулась взглядом на меня, потом на Ирину.

«Зачем я беспокою её», подумала я, видно, почувствовав, что жила она в потустороннем мире, и ей было не до нас.

— Я думаю, нужно говорить тише, пусть она сама начнёт спрашивать, — сказала я Ирине.

Меня поразил русский язык тёти Нины, без малейшего акцента. Она смотрела на меня и не понимала, кто я.

— Они там, наверху, мне очень многое обещали, я с ними всегда спорила, но у них дурной характер...

Я взяла её детскую ручку в свою, у меня навернулись слёзы. Не могла я найти слов, чтобы навести её на разговор. Как жаль, что она живёт уже другим, нам пока неведомом. Отец мог с нею говорить, он часами сидел рядом, рисовал её, у них было общение. Руки своей Ниночка не отдёргивала, а как больной ребёнок доверчиво сжимала и разжимала пальцы в кулачок. В этот момент ей принесли обед, и я сказала девушке, что покормлю Ниночку. Самой ей было уже трудно справляться с ложкой и держать чашку в руках.

— А ты сама попробуй, это очень вкусно, — угощала она меня.

Кормление из ложки, маленькими глотками, потом передышка перед чем-то протёрто-мясным и компот.

— Нет компот, пожалуйста, ты съешь, они это замечательно готовят., — я всё улыбалась в ответ и вытирала салфеткой её губы.

— А... Вы значит дочь Игоря? Вы Ксения? — вдруг неожиданно спросила она.

— Да, я Ксения.

— Вы не уедете, как Игорь? Вы останетесь? Мы с Вами будем разговаривать...

— Нет, я уеду обратно, у меня там сын, — у меня от волнения был комок в горле.

— Почему все остались там, почему все уезжают на Север. Но мне там... наверху..., — и она подняла свой маленький пальчик, — мне сказали, что Вы будете здесь. И я Вас вижу здесь, на моём месте,

— каким-то загадочным полужёпотом произнесла Ниночка, — Вы, что же, несчастны в семейной жизни? -

Такого я услышать не ожидала от неё.

— Знаете, у меня есть мама, сын, и это уже много, — ответила я, понимая, что отца нужно оставить для неё, не нужно её обделять.

— А у меня теперь есть Игорь! — и она засияла глазами, лукавой улыбкой девочки, которая хотела сохранить секрет.

— Ниночка, Вы должны понять, что Игорь — отец Ксении! — настаивала Ирина уже в третий раз. Но было чувство, что она как бы не слышит и не видит Ирины.

— Вы внучка Сони и моя тоже, Вам здесь будет хорошо... и я постараюсь с ними наверху поговорить. Когда я с ними спорила об Игоре, они не согласились, но теперь я уверена, что смогу их убедить, и Вы останетесь на моём месте.

У меня разрывалось сердце от нашего разговора, и вдруг, обратившись к Ирине, она сказала:

— Ах, Вы та самая дама, которая была у меня вместе с Игорем!

— Да, и я делаю вот эти красивые украшения, — как-то особенно вызывающе сказала Ирина, позвякивая золотой цепью перед глазами старушки. Потом она стала снимать с себя брошку, браслеты, кольца и примерять все это на Ниночку, которая совершенно растерялась под незнакомым ей золотым дождём.

— Это очень красиво... — безразлично сказала она.

— Пойдём, пожалуйста, Ирина, пора уходить... — тянула я Ирину за руки, которые не переставали украшать мою тётю Нину.

— Мы сейчас уйдём, Ниночка, но я скоро вернусь одна и буду у Вас часто бывать! — я обняла её кукольные плечики и поцеловала.

— Я буду Вас ждать, очень ждать...

Помню, что я прыгала через две ступеньки вниз по лестнице, обливаясь слезами. Деревянного лифта я ждать не могла, а Ирина не понимая, что со мной происходит, обиженно поджала губы. Встреча с Ниночкой была для меня шоком эмоциональным. Перевоплощение бабушки через столько лет, её загадки в словах, полубреда, полутайны, невесомость и почти отстранённость, призрачность. Желание и невозможность поговорить, вернуть пожилого и

больного человека в мир реальный, поднимает в нас много чувств — смесь раздражения, нетерпения, а бывает, и гнева. Связано это, скорее всего, с тем, что мы не можем простить старения нашим близким и любимым людям. Ведь мы помним их ясный ум, память, а мир, в котором они пребывают, страшит нас и напоминает, что и мы там будем. Как знать, а может быть, старик видит и знает гораздо больше, чем мы, и то, что нам кажется бредом потерявшего рассудок, на самом деле есть тайна подсознания.

Ведь слышат и чувствуют младенцы в утробе матери, так почему же стоящий на пороге небытия человек может показаться нам полоумным, душа человеческая вечно жива и пребывает в пространстве, нам неведомом.

Я почти жалела, что взяла Ирину с собой. Ко всему прочему, я не могла найти слов, чтобы объяснить ей всю её бестактность и грубость.

Уже у самого выхода из дома стояла огромная белёсая швейцарка. Она тупо и удивлённо посмотрела на моё заплаканное лицо и, видимо, это её обеспокоило (она знала, что я навещала свою тётку), поэтому стремглав кинулась вверх по лестнице.

Н К = N К

На мою долю выпало много болезней, начались они с самого рождения и несколько раз приводили к почти смертельному исходу. Стоило мне родиться в декабре 1945 года, в голодном, холодном послевоенном Ленинграде, как в возрасте четырёх месяцев я заболела дизентерией. От полного истощения и обезвоженности моё маленькое тельце превратилось в скелетик, лекарств не было, спасло чудо. Позднее, лет с пяти, я начала болеть всеми детскими болезнями подряд, длилось это года два. В дополнение ко всему, скарлатина с дифтеритом и размещение в «Боткинских бараках». В больнице я находилась почти шесть месяцев, с небольшими промежутками на побывку дома. Позже я постоянно болела ангинами, что сулило осложнения на сердце, а следовательно, мне нельзя было заниматься спортом, хотя я больше всего любила танцевать, кататься на коньках и плавать. Любя животных (а в ленинградских дворах было всегда изобилие кошек), я подобрала помоечного кота, который меня искушал. Оказалось, что он болел бешенством. Он скоро сдох, но я была приговорена терпеть двести уколов в свой детский животик.

В пятнадцать лет меня отвезли по «скорой» на операционный стол с диагнозом аппендицит, разрезали при местном наркозе и пока копались в кишках, обнаружили, что аппендикс мой растёт с другой стороны. Срочно стали переделывать наркоз и останавливать кровотечение. Операция из банальной превратилось в четы-

рѣхчасовую схватку со смертью, но самая лучшая и гуманная медицина в мире, приложив нечеловеческие усилия, меня спасла. После этого я долго входила в жизнь и мне было прописано лекарство от спаек в животе. Однажды в аптеке девушка, которая готовила эту жидкость, ошиблась дозировкой и приготовила всю смесь в десятикратной пропорции. Рассказывать о результате лучше не буду, так как отравление было как от сильного яда.

Следующее испытание меня настигло в двадцать один год.

Я вышла замуж, и моя первая беременность оказалась внематочной. Обнаружили это поздно, но когда положили на операционный стол, то кровотечение было сильнейшее. Тут уж меня постарались спасти изo всей мѳчи, да так, что я, «проснувшись», поняла, что побывала в состоянии клинической смерти. Сколько это длилось, сказать не могу, только когда меня вернули к жизни, вокруг толпилось много врачей с довольно бледными и перепуганными лицами. Объяснений я не получила, а когда они ушли, соседки по палате мне многое рассказали. Сама я долгое время не понимала, откуда вернулась, так как чувство отделения души от тела, лёгкости её по выходе из плоти и лицезрения себя с высоты потолка приводило меня в полное недоумение. Я пережила превращения своей души в стальной блестящий шар, невесомый, подвижный, и отделение или выход себя из тела. Я парила по операционному залу, видела, как врачи что-то проделывают с моим телом, слышала, как они говорят между собой, различала перепуганный голос медсестры, мальчика-анестезиолога. Но потом скорость передвижения твоей души мчит тебя дальше! Помню, как я влетела в ярко освещѣнный коридор, свет в нём настолько силѣн и бел, что режет глаза — неземной свет. Коридор, по которому я лечу, пуст и чист, скорее похож на гигантскую трубу. Чуть позже начинаю слышать голоса, распознаю в них знакомые, но среди них есть и чужие. Кто-то из них мне говорит, что нужно лететь дальше и зовѣт всё вперѣд... чем глубже я удаляюсь в пространство, тем страшнее мне делается, а гигантская труба, как туннель, всё больше превращается из прямой в бесконечные повороты. И в какой-то момент меня одолевает невероятный страх: если я не остановлюсь, то обратно

уже никогда не вернусь. Слышу голос, который мне говорит: «Соберись с силами, остановись, не мчись дальше, а то будет поздно...» Чувствую, будто одна сила тянет вперед, а сама я делаю колоссальное, нечеловеческое усилие и приказываю себе остановиться перед очередным поворотом, за которым совершенно отчётливо сознаю тьму и безвозвратность. Очнувшись я оттого, что меня лупила по щекам здоровенная медсестра, руки и ноги мои почему-то были привязаны к решётке железной кровати, и человек пять безмолвных врачей пялились на меня с обречённым видом. В тот момент, когда я открыла глаза, кто-то громко сказал «Ё... т... м., наконец-то!» Это радостное восклицание было для меня замечательным возвращением на землю.

Многие годы я никому не рассказывала о пережитом ощущении. У меня было смешанное чувство радости, страха и того, что я заглянула в нечто запредельное, о чём не нужно рассказывать. Боялась я, и что никто мне не поверит. Первый, кто услышал мой рассказ, был НК, в Женеве.

Протяжённость всех болячек и физического неуютта от них, а в результате — долгий постельный режим, привёл к тому, что я читала с утра до ночи. Это было моё основное развлечение.

Библиотека в нашем доме была прекрасная, ещё дедом и бабушкой собираемая, поэтому аппетит свой я утоляла постоянно и с огромной пользой.

И ещё, когда мне было лет четырнадцать, помню, что стали меня одолевать мысли о поиске своей второй половины. Особенно о том, что должен где-то существовать именно «живой» человек, который меня спасёт и защитит. Я не была церковным ребёнком, молилась, но в храм ходила редко, а вера в Бога пришла гораздо позже. Может быть, под воздействием книг, музыки, театра, атмосферы волнующей и будоражащей воображение — это были девичьи мечты о «прекрасном принце»? Но, как ни странно, сейчас я могу сказать о них как о подсознательном и вполне реальном ожидании такого «принца». Тогда мне казалось, что поиск бессмысленен и космичен. Я часто совершала одинокие прогулки по берегу Финского залива, гуляла по самому прекрасному городу в мире, любила смотреть в

ночное бездонное небо, где ты кажешься песчинкой в пугающей галактике. Мне всегда было хорошо одной и было хорошо в городе на Неве; даже осенние наводнения, ветер, дождь и длинные тёмные месяцы, переходящие в «белые ночи», вполне соответствовали моей натуре. Нервозность и беспокойство атмосферы Питера, красота особенная, трагическая, не похожая на венецианскую. У меня в Ленинграде было много встреч и ненужных, плохих ошибок, от которых костенеет душа и теряется надежда.

Но, возвращаясь к юности, ещё не покрытой коростой, предчувствие, что когда-нибудь я встречу свою половинку, и мы будем как одно целое — у меня всегда теплилось. В жизни любовь и смерть приходят неожиданно. У меня это случилось в момент моего забытийного отчаяния от осознания невозможности такой встречи.

И вот, в канун двухтысячного года раздался телефонный звонок, и голос дорогого мне человека сказал, чтобы я открыла «Брокгауз и Эфрон» и прочла бы фригийское сказание о Филемоне и Бавкиде: «В прекрасно обработанном Овидием фригийском сказании благочестивая чета старых супругов радушно приняли посетивших их в образе утомлённых спутников Зевса и Гермеса. Остальные жители этой страны обошлись с ними негостеприимно. Тогда в наказание за это Боги затопили эту местность, но хижина Филемона и Бавкиды осталась невредимой и, более того, была обращена в роскошный храм. По желанию испуганных супругов боги сделали их жрецами этого храма и послали им в награду одновременную смерть — они были превращены в деревья: Филемон — в дуб, а Бавкида — в липу».

За неделю до своего отлёта в Нью-Йорк Ирина сообщила мне, что мы поедем куда-то за город, а вечером к нам в гости придёт Никита. Именно он, по согласованию с Ириной, должен был меня «пасти» в её отсутствие. Ничего мне о нём не рассказала Ирина, только что работает он синхронным переводчиком в ООН, да временно снимает квартиру у Тани Дерюгиной (Варшавской), которая нас повезла за город на своём автомобиле. Таня с самого начала пу-

тешествия стала плакать и говорить, что ей эта поездка не нужна и что лучше бы она осталась дома, чем везти нас в такую даль. Душевное состояние её было тяжёлым, она недавно пережила смерть мужа. Нам с Ириной оставалось мрачно молчать всю дорогу, а Таня, рыдая, боролась с рулём, потом с кюветом, сообщая поисками по карте дороги туда и обратно, каким-то мимолётным, истерическим чаепитием в гостях и со столь же тяжёлым возвращением в Женеву. Даже природа предвещала грозу, всё небо затянуло огромной чёрно-синей тучей.

До сих пор помню этот день в деталях. С самого утра, мне казалось, что должно произойти нечто катастрофическое, а танино состояние это предчувствие беды только усугубляло. Она вела машину на огромной скорости, а к вечеру, когда, наконец, наше путешествие закончилось и мы добрались до Женевы, я с облегчением вздохнула.

— Таня, поднимись к нам, вместе поужинаем, — пригласила её Ирина.

Но бедная Таня махнула нам на прощание рукой в перчатке и скрылась в темноте переулка на своей белой машине. Сердце моё билось, как молот. Будто я бежала в гору с рюкзаком на плечах. Ноги, руки, плечи, всё тело болело. Мы с Ириной стояли перед нашим домом и растерянно смотрели вслед машине. Очевидно, мы обе думали об одном и том же - состояние Тани было ужасающим! Очнулись мы от шума мотоцикла, который затормозил рядом с нами. Человек в шлеме и коричневом твидовом пиджаке приглушил мотор и помахал нам рукой в большой кожаной перчатке.

— А, вот и Никита! — радостно воскликнула Ирина.

Было темно на улице, свет горел только в подъезде. Я первая прошла к лифту, а за мной Ирина и мужчина в мотоциклетном шлеме. В свете первых маршей лестницы он снял свой шлем и обращаясь ко мне сказал:

— Меня зовут Никита Кривошеин.

— А я Ксения, — ответила я.

Мы сели в лифт, тянущий нас всего на один этаж и вдруг, в один миг со мной началось то самое, что труднее всего описать словами. Как не скажешь, а всё банальность выйдет. Рядом Ирина, а он на-

против меня, прижат спиной к двери лифта. Не смотрю в его глаза, уже их заметила, а говорит и курит он так, будто я всё это видела и знаю давно (ещё с детства), или просто ВСЕГДА.

Из лифта мы влились в темный квартирный коридор, только огонёк от Никитиной сигареты нам светит. Ирина шарит по стене рукой, наконец, свет, хорошо, что не бьющий в глаза, а мягкий, отражённый от потолка. Голос у гостя тихий, картавый и манеры - не много застенчивый, может быть надломленность. Сели в кресла, Ирина принесла аперитив.

— Никита, вот хочу Вас попросить опекать в моё отсутствие Ксению.., — услышала я голос Ирины.

Он стал задавать мне вопросы, разговор завязался не светский, а скорее интересный, время шло, мы что-то ели, пили. Мысли мои стали блуждать далеко и первый шок от встречи стал обрастать ещё большими беспокойствами. Почему-то я внутренне стала бороться, чтобы не поддаться обаянию этого человека. Мне казалось, что смесь светскости, женского победителя сердец и независимости холостяка — дают ему право относиться ко мне с некоторой иронией. Наверное, на такого человека я производила впечатление наивной провинциалки из Ленинграда, которая хлопает глазами накрашенными, старается говорить умненькие вещи, а, в общем, я для него чужак «оттуда». Хотя через полчаса он мне преподнёс как бы комплимент, что я не похожа на «тех советских женщин», которые наводняли Женеву. Я тогда ничего не знала о Н.К., история его семьи, его самого, даже не приоткрывалась в наш вечер. Ни Таня, ни Ирина, которой было всё равно, и относилась она к Никите в тот момент дружески-утилитарно, не рассказали о нём. Может быть из осторожности? В разговоре всплыли фамилии общих знакомых, и постепенно выяснилось, что мы могли бы вполне встретиться раньше в Москве и Питере. Чувство панической неизбежности, что судьбу не объедешь и что передо мной сидит именно Он, тот прекрасный принц из детства, укреплялось с каждой минутой нашего разговор тогда. А к концу вечера и после большой внутренней борьбы я признала за собой поражение. Я влюбилась.

Мы договорились о встрече, он должен будет позвонить нам..

Когда Никита ушёл, Ирина с кокетливым видом произнесла:

— Учти, Никита опасный, он не такой как все.

— Чем опасный? — удивлённо спросила я.

Но ответа я не получила и сочла, что это замечание имеет отношение к мужским достоинствам нашего гостя.

Каждый день приближал Ирину к отъезду. Она была нежна, добра и сердечна со мной, кажется, единственное, что ей стало мешать, так это Никита. Хотя сама же меня с ним и познакомила. Мы стали гулять втроём. Она не оставляла меня ни на минуту с ним наедине.

Тут я невольно вспомнила поведение её собственной матери, в Ирине бушевали многослойные страсти ревности и справиться с ними ей не удавалось. В скором времени мы проводили её с Никитой в аэропорт, она улетела в состоянии большого беспокойства за меня и...за себя. С этого дня мы не расставались с Н.К. ни на день. Он окружил меня вниманием, нежностью, рыцарством, любовью, и всё это походило скорее на сказку, чем на быль. На его мотоцикле мы побывали в горах (Зермате), Никита познакомил меня со своими друзьями и коллегами. Больше всех сопереживала наши отношения Наташа Тенц, ей так хотелось чтобы «эта история» была с хорошим концом. А для меня взаимность чувств от Н.К. была настолько неожиданна! Нам было хорошо вдвоём каждую минуту, мы успевали соскучиться, если не виделись полчаса, нам было о чём поговорить и вместе помолчать, мы пребывали в счастье нахождения «своей половины», о скором расставании навсегда и что будет, потом мы говорили, но кроме безысходных решений, ничего на ум не шло.

Однажды мне Никита сказал: «А знаешь, что твой дед Иван Ершов, ухаживал за моей тётушкой! Она сейчас живёт в Нью-Йорке, ей много лет. А мама моя бывала на его спектаклях, помнит его, когда он исполнял Вагнера, а ещё он пел на семейных вечерах в их доме... Вот судьба! И после стольких десятилетий мы с тобой, наконец, соединились в Женеве». Чтобы расстаться навсегда, подумала я тогда.

Стоило нам появиться вдвоём на женевских улицах и сходить пару раз вместе с Н.К. в гости, как уже поползли по городу слухи.

Мне стали звонить «ооновские дамы» и навоящими вопросами, пытались выяснить, с кем я провожу время в отсутствие Ирины. Я поняла, что лучше сказать всё как есть и однажды при очередном звонке я произнесла «А я с Никитой Кривошеиным встречаюсь!»

— Ксенечка, зачем Вам это! Он опасный, антисоветчик, с его прошлым... У Вас будут неприятности, а Ваш отец будет очень расстроен и не доволен. Ко всему прочему, Вы ведь замужем у Вас сын, а он бабник, пьяница, да ещё, я слышала играет в рулетку... — дама не могла остановиться в характеристике Н.К.

— Вот это-то всё мне и нравится! Он мне обещал показать, как он играет в казино, говорят это целый спектакль. Неужели Никита Кривошеин состоит из одних пороков? — женское любопытство меня всё-таки разъедало.

— Ну почему же, он известнейший переводчик, много работает, путешествует. Он ведь двуязычный, то что называется «биллингв» родился в Париже ещё до войны, внук царского министра. История их семьи запутанная. У Вас будут большие неприятности, повторяю, что лучше прекратить с ним общение, — угрожающе произнесла она в конце.

Сказать честно, я не задавала вопросов Н.К. о его, как выразилась дама, «антисоветской деятельности». Может быть, я делала это подсознательно. Не хотелось отягощать себя лишним грузом мыслей, поскольку наши отношения строились на радости встречи, взаимном чувстве и неизбежности скорого расставания навсегда. Как-то в разговоре, Никита обмолвился мне, что в СССР и даже в Болгарию не ездит, я могла только догадываться почему. Видимо его возвращение во Францию в 1970 году было сопряжено с такими опасностями, что территорию СССР лучше не пересекать даже транзитом. Ну, а для себя я решила, что будь, что будет теперь, я наверняка уже стану невыездной! Сам Н.К., видимо, оберегая меня, не рассказывал особенно о своей семье и истории её эмиграции. Книга его матери «Четыре трети нашей жизни» только начинала писаться в черновиках.

Лучшим информатором, подробно рассказавшим о личности моего друга НК=НК, стал сотрудник КГБ после моего возвращения

в Ленинград. Он задавал мне вопросы о нём, а мне нечего было на них ответить. Этот человек рассказал мне о Никите и его семье столько интересного, что мне приходилось только удивляться прекрасной конспирации Н.К.

Больше всего Никите хотелось поделиться со мной своей любовью к западной Европе, особенно к Франции, которую он хорошо знал и любил, а я была благодарным слушателем и ученицей. Ему предстояла поездка в Индию, и до неё оставался почти месяц. Он хотел много успеть, даже познакомить меня с родителями и Парижем, но время поджимало. До моего возвращения оставалась неделя, и Никита мне предложил пойти в консульство и продлить моё пребывание. Я была уверена, что ничего хорошего не выйдет, но тем не менее попросила Наташу Тенц сопровождать меня. Не помню, как всё происходило в подробностях. Уже другой тип строго сказал мне, что могут продлить только на две недели, я «должна возвращаться к сыну».

Помню радость Наташи, которая, как девочка, обнимала и целовала меня, забывая, что мой отъезд отодвинут, но неизбежен.

Никита в тот же вечер купил билеты в Сан-Рафаель, где отдыхали его родители. Он твёрдо решил познакомить меня с ними. Более того, гулять, так гулять! Было решено, что с помощью Вити Эссель мне раздобудут пропуск, и Никита контрабандой свезёт меня в Париж. Это был огромный риск, проверки на границах были не то что сейчас, и с моим «серпастым-молоткастым» грозило большими неприятностями. Никита взял всю ответственность на себя.

Как только я получила отсрочку отъезда, то позвонила домой и сообщила об этом маме. К вечеру в квартире Ирины, где мы обожновались с Никитой, раздался телефонный звонок, и я услышала голос моего отца:

— Ну как ты там, доченька, живёшь? Наслышан, что неплохо?,
— с иронией произнёс он.

В Ленинграде уже знают о наших отношениях с Н.К.? Быстро работают, мелькнуло у меня в голове.

— А что же ты скрываешь своего друга, ничего о нём мне не расскажешь? — противно игривым голосом продолжал он.

— Кто же тебе рассказал?

— Я получил от Ирины из Америки письмо с подробным описанием вашего знакомства. Она мне немного рассказала о «нём». Она встревожена за тебя и думает, что ты можешь наделать глупостей. Надеюсь, ты понимаешь, что у тебя сын, мать и, в конце концов, я.

В моей голове пронёсся ураганом сценарий, слепленный в больном воображении отца: дочь не возвращается, его не пускают к Ирине, сына я бросаю на мать, а, следовательно, никогда уже не увижу, воссоединение семейное было тогда невысказано, мой недо-разведённый супруг делает всё возможное, чтобы в наказание лишить меня всех прав на сына, позор, скандал, пресса...

— Папа, я скоро вернусь домой. Мне разрешили продлить своё пребывание ещё на две недели.

— А ты пойди ещё раз в консульство и попроси, чтобы тебе продлили на два месяца, а не на две недели. Поговори с ними, я тебе даю хороший совет, и, помнишь, я тебе написал имена, фамилии к кому обратиться, — сказал отец.

На этом наш разговор закончился, но удивительны в нём были два момента. Первый, что, узнав от Ирины (и, видимо, не только от неё!), кто есть НК=НК, отец не напуган, а, скорее, рад, и второе, что он мне советует просить продления на два месяца. Поговорила, посоветовалась с Никитой и решила позвонить в консульство. Мне сходу отказали! Да ещё пригрозили, что если в срок не уеду, то будут неприятности. Не знала я тогда, что слишком поторопилась, до них ещё не дошли приказы из Москвы. Могла ли я подозревать в то время, что с момента, когда отцу и «им» стала известна наша встреча с Никитой, детективное развитие её стало писаться в кабинетах Большого дома на Литейном.

Время пролетело быстро. Я была рада, что Никита улетит в Индию до моего отъезда. Конечно, мы думали о всевозможных проектах нашего воссоединения. Никита сказал, что хочет на мне жениться. В планы входило и фиктивное замужество с «выездным» иностранцем, и отъезд по «еврейской квоте». Но как всё осуществить? И будут ли на всё силы, хватит ли нашей любви, не умрёт ли она во время бессрочной переписки? Мы договорились, что будем писать друг другу письма, а в каждое воскресенье созванивать-

ся. Прощание с ним в Женеве я запомнила на всю жизнь. Расставались мы тяжело, я долго смотрела, как Никита уходит от меня в глубь аэропорта, толпа поглощает его и вот его уже нет, а я одна, и останется мне только его голос по телефону, да почерк в письмах.

Думалось мне: вот, через две недели он вернётся обратно в Швейцарию, а я буду в недостижимом Ленинграде; он будет ходить в те же кафе, сидеть на тех же скамейках над озером, гулять по улицам Женевы, но без меня.

Помню, что собирали меня в дорогу Наташа и Марина Троянова, которая накупила мне тонну шоколада, чтобы моё возвращение было хоть не так горько от слёз. Приехала я в Женеву в печали от безысходности и одиночества (чтобы развеяться!), а возвращаюсь с любовью и болью в сердце. Последние часы в поезде перед границей я провела, прижавшись лицом к стеклу окна. Мелькавший за окном швейцарский пейзаж казался застывшим кадром. Я старалась его запомнить навсегда, не только глазами, но и заполнить воспоминаниями прогулок с Никитой.

Дома мне предстояла вязкая встреча с отцом и развод.

Вот сегодня снова день и он светлей,
а вчера мигрень целый день,
Очень больно в голове и в глазу словно нож,
никуда от боли не уйдёшь.
Помню всё!
Первый взгляд и прощай,
Навсегда ты ушёл и за край,
Через ту границу на замке, а когда увижу... может в декабре.
В декабре через год, через два...
это слово «подождать» — навсегда.
Как отчаяние не встречи, а разлук,
Было длинным целый год
и не без мук.
Мы увиделись во сне,
до декабря,
было тихим это утро без дождя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сойдя с поезда в Москве, я увидела отца, он приехал меня встречать. До сих пор не могу простить себе фразы, которая стала роковой для всех дальнейших событий и обернулась большими страданиями. В тот момент я настолько жила ещё «той жизнью», инерцией неподконтрольности слова, небоязни прослушек по телефону, начиталась, наслушалась Никиты, стала многое видеть, глубже понимать, а, главное, — смелее смотреть.

«Если бы не Ванюша, я бы осталась в Женеве! Я вернулась только ради него!» — слово не воробей, не воротишь, особенно когда есть уши заинтересованные в подслушивании «мыслей вслух». Отец крепко запомнил, что сорвалось у меня с языка в первые минуты нашей встречи. Но тогда я произносила это, сквозь слёзы, с осознанием расставания навсегда с моим любимым, то чего только не скажешь, когда знаешь, «что навсегда». Я шла, глотая слёзы, по платформе Белорусского вокзала, втираясь постепенно в суету московской толпы. Вот мы на площади перед вокзалом и меня поражает пустота и обшарпанность города, серая масса граждан, закрытость и не улыбочивость лиц, разваливающиеся от старости машины и нечто угрожающе-важное в самой атмосфере Столицы. Этот город шуток не любил. А безысходность присутствовала.

Как быстро человек привыкает к красивому и хорошему. Но если он всю жизнь живёт в подмене настоящей красоты и моральных ценностей, которую ему заменяют идеологической фигнёй, то

он начинает верить, что Эрмитаж самый большой и полный музей мира, Москва — порт пяти морей, а русские люди — самые добрые и гуманные люди в мире. Далее идёт весь набор бреда, которым питают русских людей до сих пор: фигуристы, балет, спорт, музыканты, космос, армия — самые талантливые, сильные и непобедимые. Весь этот миф разбивался в пух и прах с первого посещения советским человеком Запада. Хоть и в турпоездке, без денег, с подследкой, с невозможностью и запретом общения с гражданами страны.

Сама видела и знаю людей приехавших в те годы из поездок в Англию, Францию, Италию, которым долгое время приходилось выходить из настоящего эмоционального шока. И это касалось не только посетителей заграничных магазинов, где они видели тридцать сортов кофе, но и культурно-общественная жизнь поражала масштабом. Очереди на выставки, огромные книжные магазины, заполненные концертные залы и всё это не соответствовало пропаганде духовной нищеты и полной бездуховности свободного мира. Расхожая фраза, что на Западе «мясо есть, а души нет» — была ложью. И можно только горько сожалеть, что та кастрация чувств и засорение мозгов, которые превратили русского человека в зинovieвский персонаж «гомо советикус» — до сих пор даёт о себе знать. Вера, доброта, открытость миру, любовь к ремеслу, земле, путешествиям и... многое другое — подменилось у советских людей завистью и злобой ко всему близлежащему, вечному поиску внешних врагов. Зависть — один из больших грехов, она порождает несчастья и преступления.

Через десять минут я окунулась в прошлое — со всем, что оставила, с тем, что забыла, заглушила. Отец был ласков и предупредителен, будто с больной, перенёсшей тяжёлую госпитализацию и теперь начинающей ходить. А меня и вправду покачивало. Помню, что мы завезли вещи к друзьям, и пошли гулять по Москве. Нервы мои были на взводе, и я плохо себя контролировала.

Да и зачем? Мне казалось что всё, о чём я рассказывала отцу в ту прогулку им сопереживалось. Я видела его участливые глаза, заботу, внимание ко мне и грусть сознание безнадёжности ситуации. Он задавал совершенно банальные вопросы, а я как на приёме у психоа-

налитика выкладывала всё подряд меня волнующее. Главное, что я рассказывала ему о Никите, о наших чувствах и о полной невозможности их развития. Я говорила ему, что Никита хочет на мне жениться, что мы любим, друг друга, что наши семьи знакомы ещё с начала века, что это судьба и как хорошо, что я, наконец, знаю, что такое соединение душ, и ещё многое другое, что мог понять только мой отец, потому что он был человек проницательный и очень тонко мыслящий. Мы сели за столик маленького кафе и отец произнёс: «Знаешь Ксюша, у тебя состоялось интереснейшее знакомство. О вашем будущем ты сейчас не думай, может быть и устроится. Только никаких глупостей с фиктивным браком и выездом в Израиль, не вздумай! Я посоветуюсь со знакомыми юристами, у меня есть один знаток».

Мгновенно меня охватило глобальное отчаяние, и я, поняла, что все мои излияния души были ошибкой. Страшной, неизбежной ошибкой! Что меня как мотылька затянуло на свет свечи и что тут-то я и сгорю. Не нужно было отцу всё это рассказывать. Я вдруг почувствовала, что мои болячки и раны настолько обнажены, что лечить их будут совсем не доктора «айболиты», а скоро меня поволокут в ГБ объясняться о «НК» и каяться в содеянном. Тут и вспомнились мне предупреждения «ооновской дамы» по телефону.

— А знаешь, ведь тебе было послано продление. Мне так сказали в ОВИРе. Ты могла бы ещё месяц и больше быть с Никитой. Но это из-за неповоротливости наших чиновников. Между ними такая несогласованность, они опоздали тебе сообщить, а ты поторопилась..., — с улыбкой произнёс отец.

— Папа, но это не имеет никакого значения. Всё равно исход наших отношений ясен. Будут письма, телефонные звонки, да и то всё продлится не долго, обсекут. А сюда он приехать не может, и зазывать я его не буду! — я решила сразу расставить точки над «и», чтоб никому не повадно было спекулировать на заманивании любимого человека.

— Времена изменились, и я думаю, что вы сможете переписываться, да и о будущем стоит подумать, а вдруг он приедет, не испугается, коль такая любовь... Его здесь не тронут! Не те времена, да и люди другие, более умные.

Меня пронзили эти слова отца, потому что под словом «другие времена и другие люди» подразумевалось КГБ.

— Нет! Этого не будет никогда! Я не смогу подвергнуть ни Никиту, ни его семью хоть малейшему риску! — мой тон был решительным и резким. Отец, зная меня, понял сразу серьёзность моих слов и больше к вопросу о приезде НК не возвращался ни разу.

Так и не знаю, кем был разработан план всей дальнейшей операции. Может быть наш свежий, первый разговор послужил основой всего дальнейшего. Отец, зная меня, мой твёрдый характер, невозможность лукавить, может быть, сам подсказывал «им» сценарий постановки. И может быть, он по своей авантюристности понял, насколько счастливый случай открывается ему в перспективе выезда на Запад, минуя женитьбу на бедной Ирине Бриннер. Я стала ему для этой операции замечательным объектом эксперимента, с интересными перспективами челночных поездок. Думаю, что решение приобщить дочь-умницу к намеченному, да так, что она ничего не поймёт, а когда поймёт, будет поздно, зародилось в его голове именно в тот момент. Ирину с её театральной любовью можно послать подальше, она больше не нужна, а иначе хлопот не оберешься! Пишу так, потому что все последующие события начали вырисовываться именно в этом ключе. За столиком московского кафе, пока я проливала крокодиловы слёзы, радуясь отцовскому сопереживанию и доброте, а Никита «там» ни о чём не подозревал — зарождалась операция НК=НК, своего рода «Восток-Запад».

По возвращении в Ленинград я решительно продолжила свой бракоразводный процесс. За моё отсутствие супруг не проявлялся, я изыскала его в Харькове, предложила не упрямиться и согласиться на обусловленные сроки. Он неожиданно прилетел, стал требовать объяснений и заявил, что разводиться со мной не хочет. И всё-таки наш развод состоялся. Как ни печально говорить об этом, но решающим стимулом в разводе был материальный фактор. Выкуп сына и личной свободы мне стоил машины и гаража.

В наших разговорах с Никитой мы были откровенны, но многое он о себе не рассказывал, чутьём своим я понимала, что так надо, и что это только на пользу мне. Со своей стороны, я не могла рассказать Никите о своих подозрениях по поводу отца. Мне было стыдно и страшно говорить ему об этом. А вдруг он не поймёт, оттолкнёт, оскорбит или, самое ужасное, начнёт подозревать меня!

Пришло первое письмо от Никиты, конверт разорван, и половина второй страницы письма потеряна. Потом он мне позвонил, и начались наши еженедельные воскресные звонки. Мы писали друг другу каждый день, расстояние наших чувств не сглаживало, наоборот, укрепляло. Письма наши «ими» читались, но в обе стороны приходили регулярно, то, что цензура работала хорошо, я поняла гораздо позднее.

Целые фразы мне потом зачитывались, задавались вопросы... Страна вступила в затяжной период войны в Афганистане, маразм брежневского аппарата «крепчал» — арест и преследования академика Сахарова, высылки и посадки инакомыслящих продолжались.

Постепенно я вошла в домашний ритм жизни, радость встречи с Иваном, мамой. У меня было много книжных и театральных заказов, сроки поджимали и я с головой ушла в интересную работу. Никто меня никуда не «приглашал», хотя я каждый день ждала вызова на разговор в КГБ. Всё складывалось не в мою пользу, было состояние затишья перед грозой. После нашей встречи и разговора в Москве отец мне не звонил и продолжал жить в Парголово. Наступил 1980 год и где-то в начале марта, мне позвонил отец и попросил меня с ним увидеться. Холод стоял отчаянный, промозглый, ни зима, ни весна, снег почти сошёл, но слякоть и грязь под ногами вперемешку с песком и солью разъедала обувь. Папа любил говорить о делах вне стен, поэтому мне было назначено свидание на Каменном острове. По дорожкам, под начинающимся дождём мы дошли до старого Деревянного театра. Шли молча, угрюмость его меня угнетала, я заметила, что у отца вернулся его нервный тик. Это бывало с ним только в периоды сильного нервного напряжения. Мы укрылись под колоннадой полуразрушенного театра.

— Ксения, могла бы ты попросить Никиту прислать тебе приглашение в гости, месяцев на шесть... — наконец мрачно произнёс отец.

— Думаю, что нет. Так как по его приглашению меня ни в какие гости, а тем более к нему, не выпустит. Никита сам мне говорил об этом. А зачем это нужно? — удивилась я.

— Ты хочешь выйти замуж за своего ёбаря или нет?! — заорал он на меня страшным, срывающимся от злобы голосом.

— Папа... как ты можешь... — только и пролепетала я в ответ и заплакала.

Видимо он понял, что переборщил.

— Ну, прости меня, успокойся. Я хочу говорить с тобой серьёзно и реально. Мне посоветовал один «юрист» сделать именно так. Пусть Никита пришлёт приглашение в гости на шесть месяцев для оформления вашего брака во Франции.

— Но это же бред, меня никто не пустит во Францию «выходить замуж». Так не бывает, об этом мне говорил сам Никита. Единственный способ это мне выйти замуж фиктивно и выехать. Он постарается подыскать подходящего человека, верного, может быть за деньги. Его друзья мне уже звонили... — ответила я сквозь слёзы. — И потом, без Ванюши я не поеду! Так и Никита решил, что только с Ваней будет наше воссоединение, если такое будет вообще...

Отец медлил с ответом, а потом произнёс:

— Сходи в районный ОВИР и посоветуйся по поводу Ивана. Но вряд ли ты сможешь взять его с собой. И вообще, он будет только помехой, если всё состоится, тебе нужно налаживать свою личную жизнь, профессию. Иван сможет побыть с твоей мамой или... со мной. Ты ведь заключишь брак и вернёшься? Потом будет оформление сына, а всё это не так просто. Учти, что у него есть отец, твой бывший муж и если он не захочет, то может написать заявление и ты сына никогда не увидишь. Более того, если ты будешь делать глупости, то тебя могут лишить материнства, как невозвращенку и предателя Родины. Ты должна это знать и всё учесть!

Сердце моё похолодело. И это было сказано отцом совершенно спокойным тоном.

—То есть, как это мой сын будет мне помехой и в чём? Я без Ивана никуда не поеду. Это моё последнее слово! И Никита тоже этого не поймёт. Вся эта затея абсолютно не реальна, кто тебе посоветовал идти таким странным путём?

Я абсолютно твёрдо и решительно поставила себя в разговор, так что отец почувствовал мою несговорчивость. Он был страшно взволнован, и по всему видно было, что чего-то не договаривалось им до конца.

— Слушай, ваши планы насчёт фиктивного брака будут нереальны. Никто этого «эmissара» в страну не пустит, а если и доедет чудом, то тебе с ним здесь не разрешат оформить брак. Это я постараюсь лично. В нашей семье фиктивных браков не было и не будет никогда! Позор! Если твой возлюбленный так жаждет на тебе жениться, то пусть сам приезжает, его никто не тронет! Есть люди, которые дадут гарантии, — он с раздражением и в сильно повышенных тонах продолжал меня просвещать.

— Да нет же! Он не может сюда приехать, потому что его немедленно посадят. О каких гарантиях ты говоришь, какие люди могут давать их, и неужели ты думаешь, я им верю? Я же тебе рассказывала историю его семьи, их арестов, возвращения...

Все мои доводы и слова отец, будто не слышал. Мне казалось, что у него есть заведомо намеченный план, как нужно меня убедить, и что его раздражает моя несговорчивость и упрямство.

— Ну, хорошо, я советовался с друзьями, со знающими юристами, они говорят, что подобные случаи в международной практике бывали. Ты о таких случаях может, и не знаешь! Но есть исключения, ты хоть это можешь понять!? Ведь твой Никита работает в международных организациях, а значит, всё время в разъездах, времени приехать и заключить брак в СССР у него нет... Так это или нет? — мне показалось, что отец, как на репетиции, повторял свой заученный текст.

— Нет, он не поэтому не может приехать сюда. А потому, что это опасно. И я сама не позволю ему это сделать. Лучше закончу наши отношения, тем более это так просто сделать, надо перестать писать и звонить! А предлог придумаю! — тупо настаивала я на своём.

— Так вот, хватит разводить мелодраму, — он резко оборвал меня, — Я пытался тебе сам всё объяснить. Но если ты мне не веришь, так я тебя познакомлю со специалистом, он, кстати, давно хотел с тобой поговорить. Сам он из отдела эмиграции, никакой он не гэбешник, умный, образованный человек и может дать тебе совет. Я с ним говорил о тебе и это он посоветовал, чтобы Никита прислал приглашение на шесть месяцев в гости. Он же сказал, что об Иване лучше сейчас не упоминать.

— Никиту удивит столь странное предложение! Он не поймёт. Мы думали в перспективе пожениться, но оба знаем, как это трудно. Нам невозможно даже встретиться в ближайшие годы... А ты сам, оказывается, без моей просьбы говорил со своим знакомым «юристом» о нас? Я тебя ведь не просила?

Вот оно, началось, сразу мелькнуло у меня в голове. Хотят всё-таки познакомиться под видом «юристов-специалистов по эмиграции». Тонкий ход, давят на чувства, слезу, мол мы Вам поможем, а потом Вы нам... Неужели я похожа на наивную дурочку. Или начитавшись нашей переписки, «они» решили, что птички в клетке, а у них ключик от дверцы.

— Да я ведь иногда консультирую по вопросам современного искусства специалистов по эмиграции. Он о тебе от меня слышал, я ему рассказал о твоих проблемах... Но ему интересно твоё мнение об эмиграции, он просил меня познакомить его с тобой. Уже давно просил, но я говорил ему, что ты очень занята разводом и работой. А теперь пришло время, когда я сам тебя прошу, очень прошу, хотя бы ради меня встретиться с ним, — у отца лицо было тёмное, страдальческое, а сколько седины и морщин прибавилось. Даже осанка его высокой фигуры изменилась, он как-то сгорбился, сильно похудел. Какая тяжелая подневольность, и каким позором души и унижения даётся ему это служение. Кто же подал идею с «приглашением замуж», а в заложники оставить, на всякий случай, сына? Ведь этому спектаклю театра марионеток не будет конца. Под запугиванием, заманиванием любовью можно было добраться и до главного героя. Там или здесь, это уже не имело значения.

— Хорошо, я согласна повидаться с твоим знакомым «юристом-специалистом». Только мне бы хотелось встретиться с ним в твоём присутствии...

Отец не дал мне договорить и воскликнул:

— Я приведу его к тебе домой?

Такой наглости я не ожидала. Ну и нравы!

Но коль уж я согласилась и будто прыгнула с головой в холодные воды Невы, то игра началась. В ней победителей не бывает, а жертв обычно множество. Подозревала ли я тогда, насколько это игра может быть опасной и что я рискую не только своей совестью, честью, любовью дорогого мне человека, может быть, даже его жизнью и приговором отнятия сына навсегда.

Чем-то эта игра напоминала «русскую рулетку» — может, бахнет, а может, пронесёт до следующей прокрутки пуль в барабане пистолета. Никита сейчас играл во Франции в более спокойные рулеточные комбинации. А уж если и проигрывал, то не душу и совесть, а деньги. Рассчитать эту «русскую рулетку» невозможно, на то и ставка судьбы. Интуиции не хватит, опыта нет, одна вера, да и теплящаяся надежда, что можно будет сойти с дистанции...

«НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ»

Папин роман с Ириной начал давать осечки, об этом мне стало известно после звонка самой «жертвы» из Нью-Йорка. Ирина писала папе письма, но очевидно с какого-то времени он перестал ей на них отвечать. Что послужило причиной такого странного поведения отца, не знаю. Но бедная Ирина, которая как на плаху положила свою «честь и совесть» влюблённой девочки, металась на другой стороне планеты, в полном непонимании происходящего. У отца в Парголово телефона не было. Эта изоляция во многом помогала ему избегать нежелательных встреч и звонков. Во время последней нашей прогулки по Каменному острову отец в озлоблении сказал: «Вот, пишет мне целые письма-романы. Кому это надо, у меня нет времени читать всю эту галиматью!» При этих словах он вынул из портфеля штук двадцать нераспечатанных конвертов и сунул их в мусорный ящик.

Бедная Ирина, подумала я, плакал твой «иконостас» над кроватью. Беспокойство её, как оказалось позже, было связано с намеченными мероприятиями для оформления «их с Гуленькой брака». К этому времени отец развёлся. Все бумаги, юридические документы были у Ирины готовы, и дело было за малым, она готова была приехать в Ленинград, чтобы пойти с отцом в районный Загс. То ли он не мог и не хотел этого, то ли просто не любил её, а может, в связи со мной и Никитой планы «юристов» поменялись — всё свелось к его исчезновению с её горизонта. Это было совершенно в его духе.

Как только возникали в его любовно-сердечной сфере проблемы, он старался испариться, надеясь что, может рассосётся само по себе. Но не таков был характер Ирины. Для неё не было преградой ни молчание отца, ни двенадцатичасовой перелёт в СССР и явное нежелание «жениха» с ней переписываться. Она купила туристическую путёвку с билетом, позвонила мне и сообщила, что через пару недель приедет. Я послала отцу телеграмму в Парголово, вечером он мне перезвонил:

— Эта дурёха предлагает мне на ней жениться! Чтобы спасти меня! Пошла она к чёрту! Мне всё надоело, я ей написал письмо, объяснил, что нужно подождать с решениями, я сейчас не готов... Так она хочет заплатить все алименты за Дуню до восемнадцати лет, а мне чуть ли не завещание на имущество. Она сошла с ума, душает я на это куплюсь! — отец был возбуждён до предела.

Ну как тут не восхититься благородством его души! Никаких сделок с совестью и всегда правда, одна только правда, голая, страшная, ранящая... Дорогая Ирина, мне было её жалко, и я совершенно не представляла, как буду её встречать, что буду ей говорить и объяснять. Последняя фраза отца была «Прошу тебя, избавь меня от этой истерички, встреть, поговори... скажи, что меня нет в городе. Может быть, я и возникну на десять минут, но в самом конце».

Моя встреча с «юристом эмиграционного отдела» приближалась. В голове я рисовала картину этой встречи, что нужно отвечать, как говорить. Но прежде всего, я решила ни в коем случае не показывать страха и никак не выдавать своего крайнего желания соединиться с любимым НК всеми средствами. Будто всё это для меня не столь уж важно, а взаимные письма и звонки — ну так это одна «любовная игра». Жизнью я довольна, у меня сын, работа, ехать никуда не собираюсь. Это была интуитивная тактика поведения и защиты от возможных предложений. Тем более, что на их глазах происходила комедия как бы «вполне всерьёз», моего отца и Ирины. Как ни покажется странным, но в день нашего свидания я чувствовала себя спокойно и уверенно.

Отец приехал около пяти часов дня, а через полчаса раздался звонок в дверь и на пороге возник молодой мужчина, лет тридцати

шести... с огромным букетом белых цветов. Вначале вошёл букет, а потом из-за него выглянуло на меня улыбочивое лицо bruneta с голубыми глазами. Он был полноват, среднего роста, в модной импортной куртке и джинсах.

Я провела гостя из коридора в комнату.

— Меня зовут Николай Иванович, мы с Игорем Ивановичем давние знакомые, — произнес, улыбаясь, мужчина и как-то фамильярно обнял отца за плечи.

Я поставила букет в вазу, предложила присесть всем за круглый стол, накрытый непарадной кашемировой скатертью. Неожиданно отец достал из своего портфеля бутылку коньяка, коробку шоколада, лимон и предложил выпить.

— Ах, с удовольствием! Коньячок это всегда хорошо, — суетливо радостно болтал «николай иванович, — Знаете, у меня дочка, её зовут Василиса, а у Вас, значит, Ванечка. Вот какие русские имена у наших детей, это теперь стало возвращаться. Да, — с грустью вздохнул он, — Всё разбили в своё время, разорили, а теперь «мы» восстанавливаем, — я не ослышалась, акцент был именно на слове «мы».

Коньяк был разлит по рюмкам, и наступила неловкая пауза. Мне казалось, что семейные портреты и фотографии в ролях деда и бабушки с явным недоумением глядели на нас со стен.

Гость осмотрелся и будто читая мои мысли произнёс:

— А покажите мне, Ксения Игоревна, фотографию Вашего Ванечки!

Принесла, протянула.

— Хороший пацан, — и пауза.

Я молчу, отец болтает «о погоде», по сути к делу не приступает, а я продолжаю ждать. Цветы в вазе белыми факелами демонстрируют свою казённую принадлежность, коньяк разлит повторно.

— Я должен скоро бежать, у меня свидание с одним молодым художником, — совершенно неожиданно и суетливо сказал мой отец. Заторопился, бросился кому-то звонить из соседней комнаты, потом попрощался, на ходу замотал шарф, и входная дверь за ним захлопнулась. Вот так подстава, подумала я! А гость расслабился и улыбнулся мне:

— Ксенечка, можно я Вас так буду называть, расскажите мне про Швейцарию. Я, к сожалению там не был, всё больше в Германии бываю, да и то чаще в ГДР.

— Что я могу добавить нового о Швейцарии? Красивая природа, приятные и интересные люди и ещё большой покой во всём. Без потрясений страна. Мне там было очень хорошо, — я успокоилась после внезапного исчезновения отца и решила вести разговор в непринуждённой форме. Вот чего я не переносила никогда, так это фамильярности «совковых мужиков» в разговорах с женщинами и поэтому его «ксенечка» меня очень насторожила. Только бы не пришлось ему хамить, мелькнуло у меня в голове.

— Я слышал, Ксенечка, от Игоря Ивановича, что Вы развелись со своим супругом? — продолжил он (будто новости у них только из домашнего источника).

— Да, наша жизнь не сложилась, к сожалению...

— А что же Вы думаете, что за границей мужчины другие, лучше наших? — вот, наконец, и взял «быка за рога» мой собутыльник.

— Почему же лучше, наверное, там тоже разные бывают, — ответила я.

— Но что же Вы не смогли у нас-то хорошего найти? Чагой-то Вас на тамошнего потянуло? — строгим голосом спросил «николай иванович».

— Ах, это Вы имеете в виду Никиту? — я ответила с полунаивной интонацией, как бы подыгрывая гостю в его манере выражаться. Собеседник заулыбался и налил нам ещё по одной рюмке. — Мне повезло, я встретила, наконец, любимого человека, наши чувства взаимны...

— ...До этого Вас не любили? Не поверю, никогда не поверю, Вы же красавица... — разгорячился «николай иванович», — Но стоит ли менять спокойную жизнь у себя на родине на полную неизвестность и чужбину? О Никите Игоревиче я слышал разное, семья его известная, историческая. Очень печально, что так пострадали они все, да хоть живы остались, и то радость. Мы теперь таких людей не за решётку бы сажали, а в гости бы зазывали. Да, Сталин в своё время дров наломал, а последующие правители тоже не всегда голо-

вой думали.., сейчас у нас специалисты есть по истории эмиграции. Знаете, ведь я пишу диссертацию и меня интересует всё, что касается живых впечатлений и рассказов о русской эмиграции на Западе, — при сих словах он не достал блокнот для записи моего предполагаемого рассказа, но почему-то, пошёл в коридор, принёс свой чёрный кожаный портфель и поставил его рядом со стулом, у своих ног.

— Ничего интересного и нового, пожалуй, я не смогу Вам рассказать. По причине того, что в основном я там развлекалась и кроме ресторанов, театров и казино, в которые меня водили, я ни во что ни вникала. Жизнь эмиграции разная и, скажу прямо, времени на её изучение у меня не было. Ведь я даже побывала в Париже контрабандой от ОВИРа, — со смехом ответила я и опрокинула залпом рюмку коньяка.

— Понимаю, что у многих тамошних русских обида на Советскую власть. Но ведь всё поменялось, к старому возврата нет, теперь есть молодое поколение специалистов, которые вроде меня разъясняют тем, кто наверху, как нужно себя вести. Я с большим уважением отношусь к Вашему отцу. Игорь Иванович мне много рассказывал о своей поездке в Женеву и о Вас тоже говорил... Вы что, очень переживаете, что роман Ваш с Никитой Игоревичем закончится просто перепиской? Но ведь он может сюда приехать. Ему нечего бояться! — «никтолай иванович» говорил убедительным тоном и всем обликом выражал уверенность в полной безопасности, появления НК на территории СССР.

— Что Вы, никогда Никита сюда не придет! Он напуган на всю оставшуюся жизнь. И зачем ему это делать? У него работа, частые поездки, старые родители, которых он не может оставить. Да они скончаются раньше времени, если он соберется сюда. Скажу Вам прямо, что я никогда его просить об этом не буду! — решительно сказала я.

— Неужели ради Вас и такой любви, он не поедет? Какая же это настоящая любовь?! — это звучало провокационной подначкой со стороны «николая ивановича».

— Слушайте, я ведь не девочка и не настолько наивна. Мы говорили с ним и многое обсудили. Я ему сказала, что мне дороже моя

чистая совесть и его спокойствие во Франции, чем наше счастье, замешанное на риске для его жизни, — мой слушатель при этом открыл свой чемодан и запустил в него руку. Может быть, мне пригрезилось, но как будто я услышала щелчок клавиши...

— Да что Вы говорите такое. Кто же его здесь тронет? Я, если хотите, любые гарантии могу достать, у меня друзья в Москве, они знают, кто такие Кривошеины. А Никита — знаменитый.., — кипятился «николай иванович».

— Не нужно мне никаких гарантий, а Никиту я звать сюда не буду! И давайте больше не говорить о его приезде, — я решила свернуть нашу дружескую беседу, тем более, что разговор как-то упёрся в тупик. Этот тип очень хотел меня уговорить пригласить Никиту, а насколько я поняла отца, всё начиналось с обратного. Отец ведь первым заговорил о возможности моего «выезда в гости и замуж» к Никите во Францию. И только под предлогом советов от «специалиста по эмиграции» я согласилась встретиться с пресловутым «николаем ивановичем». Значит, опять обман, и всё это было подстроено только как наведение контактов со мной в непринуждённой домашней обстановке. А я-то дура, уже говорила с Никитой о подобном приглашении, и он на том конце провода был потрясён моей просьбой. Ничего подобного он не слышал! И его удивлённое и продолжительное «Дааааа..? Конечно...» я могла хорошо понять, и только молила Бога, что бы он не задавал мне лишних вопросов по телефону, в мембране которого и так постоянно присутствовало «эхо москвы»

— Скажите, Николай Иванович, отец мне говорил, что якобы есть форма приглашения, по которой меня могут отпустить «выходить замуж» во Францию? Именно об этом я и хотела Вас спросить: насколько это реально? — решительно обратилась я к моему собеседнику.

— Ксенечка, эта практика на деле осуществляется, но крайне редко. Чаще всего по особому приказу из... Москвы, — тут он запнулся, — в Вашем случае, я ничего не могу решать, могу только давать советы, как действовать. Но думаю, что если Вы по своему характеру и упрямству не захотите понять, что я Ваш друг, то боюсь,

ничего хорошего из воссоединения с Никитой не выйдет, — его намёк, «что он мой друг» я прекрасно поняла: за этим стоит предложение на них работать. Но этого не будет никогда! Я решила для себя, пусть мы лучше не увидимся с Никитой и весь роман превратится в «сотню писем к другу», чем пойти по пути отца.

— Ну, что поделаешь, если не выйдет из этой затеи ничего, то переживать и биться головой об стену я не буду! Жизнь в конце концов не заканчивается на одном романе. Я вполне удовлетворена своей женской судьбой. Поверьте мне, начальные отношения с Никитой не причина кидаться с головой в авантюры. Мне эти хитро-сплетения не осилить и я об этом сразу Вам заявляю, — спокойно и настойчиво ответила я «николаю ивановичу».

Он вздохнул и раздосадовано покачал головой, но настаивать не стал. Разговор после этого как-то завял, перешёл на рассказ о его дочке и его «хобби». Сейчас уже не могу вспомнить, в чём состояла страсть и увлечение «николая ивановича». Время было уже почти семь часов, и мой собеседник сказал на прощание:

— Я с Вашего разрешения ещё раз Вам позвоню, но если у Вас будут ко мне вопросы, то вот мой служебный телефон. Если не застанете, мне всегда передадут сослуживцы, — он протянул мне бумажку с написанным от руки номером телефона. Адреса своей конторы он не назвал. Громко защёлкнулись замки его тяжёлого портфеля. Мы попрощались, и я с облегчением закрыла за ним входную дверь.

На душе моей было противно и муторно не от выпитого коньяка, а от пережитого в течение этих полутора часов напряжения.

Через две недели после этой встречи пришёл объёмный конверт от Никиты. А вечером того же дня раздался телефонный звонок, и я услышала далёкий голос Ирины: «Ксюша, дорогая, я прилетаю. Сообщи Гуленьке...».

Помню, что оба события были, как два нокаута.

Первое, что я увидела, вскрыв письмо от Никиты и вникнув в его содержание, было приглашение мне и Ивану. Но приглашение было «не в гости и замуж», а «замуж и на постоянное место житель-

ство вместе с сыном». Я была в полном замешательстве, ничего подобного я даже не предполагала. Что же мне теперь делать?

И второе, это близкий приезд Ирины. Мне было радостно её увидеть, но я со страхом ждала их встречи с отцом. Он, конечно, не предполагал от неё такой прыти; как ни прятался, но, видно, много наобещал ей, и авансы обернулись долгом. По всей ситуации, в которую были поставлены Ирина и я — видимо мне и предстоит быть буфером. Наше знакомство переросло в дружбу, ей я остаюсь верной до сего дня, благодарность которую, я испытываю к ней, не поросла коростой времени.

Пришлось опять слать срочную телеграмму в Парголово. Отец проявился немедленно, прилетел на крыльях и взглянув на приглашение Никиты — помрачнел. Недовольству его не было границ! Всё не так. А когда услышал, что вот-вот нагрянет Ирина, то стал кричать во весь голос, что не желает с ней встречаться, что, если она приедет в Парголово, не откроет ей дверь, спустит собаку с цепи и вообще приготовит ей сюрприз... Это было ужасно, всё ужасно!

На приглашение Никиты он не знал, как реагировать. Было понятно, что форма и содержание не соответствует намеченной «практике» моего выезда. Единственное, что он мне буркнул:

— Всё равно иди в ОВИР. Там тебе всё объяснят. А своему Никите скажи, что вряд ли из этого выйдет толк. Есть разница между гостями и постоянным местом проживания, он-то должен это знать.

— Но папа, тебе не кажется, что есть больше логики, когда тебя приглашают выйти замуж и, следовательно, на постоянное место жительства, чем «в гости и замуж». Может быть, во Франции нет такого понятия, что невеста приезжает в гости, оформляется брак, а потом её отправляют обратно домой, — возразила я.

— Не знаю! Мне юристы сказали, что нужно написать «в гости» и без Ивана... сходи в районный ОВИР, может быть, я не прав и есть возможность тебе выехать по такому приглашению...

Ирина появилась через несколько дней. Я встретила её в аэропорту, отвезла в гостиницу «Астория», где у неё был заказан номер, потом мы пришли к нам домой. В последний раз она посещала Москву и Ленинград ещё со своей мамой, в шестидесятые годы.

Как всегда, иностранным туристам показывали красивый фасад страны: музеи, балеты, хорошие рестораны... это у неё и осталось в памяти. У меня была трудная задача: мне хотелось принять её достойно и, по возможности, оградить от хамства отца. Но сама Ирина будто не понимала всей ситуации, стремление увидеть «Гуленьку» затмило ей разум. Мне пришлось ей рассказать о приглашении Никиты и посвятить в наши планы. Реакция меня удивила: она стала меня отговаривать выходить замуж за Никиту! Только потом мне стало понятно, что не так уж наивна она была по поводу перспектив её собственного брака с Гуленькой. В результате нашей успешной «операции» с Никитой их браку грозил полный провал.

Видимо, отец задумал именно это! А после того, как я ей показала приглашение Никиты, она интуитивно вдруг поняла, что шансов выйти замуж, обогатить и осчастливить Гуленьку — ноль. Ох, уж эта смесь: облагодетельствовать и получить под это проценты, выгоду, плюс чистую любовь и прощение. Странно, но она, как те «ооновские» тётки, стала обрисовывать мне Никиту не с лучших сторон, отговаривать меня пускаться в столь опасную авантюру, говорить, что он меня бросит, как уже произошло с другими дамами.

Я не спорила с ней, мне было её жаль, пришлось сказать, что отец не сможет с ней увидеться; пришлось врать. Произошло самое ужасное: она захотела с ним поговорить лично и никакие мои доводы не помогли. Было вызвано такси, на котором она покатила в Парголово.

Мораль сей басни такова, что на следующее утро мне позвонили из гостиницы «Астория» и попросили зайти к гражданке Бриннер. Когда я примчалась к ней в номер, она лежала в состоянии полной прострации, только что от неё ушёл врач из «неотложки», который делал ей сердечные уколы. Меня напугал её вид, она была совершенно белого цвета и с трудом говорила. Уж не инсульт ли её сразил?! Постепенно приходя в себя, она рассказала мне отвратительные подробности встречи с отцом: бурные «объяснения в любви» кончились тем, что он её просто спустил с лестницы.

Жалость и любовь к ней боролась во мне с желанием сказать ей: «дура ты дура, на кой ты ляд нарывалась на неприятности и пёрла

из Америки выяснять отношения». Я провела рядом с ней ещё два дня, стараясь отвлечь и развлечь, но шок был велик. Улетала она в ужасном состоянии.

Мне была одна дорожка — в районный ОВИР, всё к той же пышной блондинке. Представила, как он удивится — через год после моего последнего появления. Никаких эмоций у неё мой приход не вызвал, взметнула она на меня свои крашенные глазки, взяла приглашение и с весёлым видом мне заявила:

— Не могу я Вам выдать анкеты под столь странное приглашение.

— В чём его странность? — спрашиваю я, а у самой сердце оборвалось. Ведь ситуация глупейшая и небывалая, но инспекторша и глазом не моргнула и готова ко всем вопросам и ответам, будто к ней каждый день с подобными бумагами приходят.

— Не выпустят Вас, во-первых, с сыном. Это не положено. Можно в гости и замуж, но нельзя — на постоянное место жительства с сыном, не будучи замужем, а сын ведь от другого брака, а может быть, Ваш прежний муж не согласен на выезд сына, нужно просить его об этом, он должен заплатить алименты до его восемнадцати лет, а Вы — выписаться из квартиры, переделать паспорт на ПМЖ... — не было конца доводам и причинам, «почему не положено».

— Что же мне делать? — спрашиваю растерянно.

— Вы мне это приглашение оставьте, я позвоню в центральный ОВИР и посоветуюсь, а Вы мне перезвоните через недельку, — по её ответу мне стало ясно, что направлять её действия будет не центральный отдел виз и регистраций. Вернулась домой, позвонила Никите в Париж и пересказала ему, в чём заключаются трудности. Он был удивлён кажется, самому факту, что его приглашение дошло до меня по почте так быстро. Он растерянно что-то многозначительное, с паузами, ронял:

— Да...? Странно... подождём, что скажут... а как же без Ивана? А будет ли против его отец..?

Мне хотелось ему сказать, что если захотят, то прикажут, пригрозят, и В. подпишет любую бумажку против, вплоть до лишения меня материнства.

Я сама не представляла, как можно поехать без Ивана, потому твёрдо решила, что это будет моё последнее пересечение границы. Вся ситуация может сложиться, как её замыслили «они», а я на подобный шантаж не потяну. По сценарию — «материнское сердце не камень», и к единственному сыну привязанность больше, чем к любимой родине, а, следовательно, назад меня может вернуть только Иван. Вот он и должен остаться в виде заложника до моего пока добровольного возвращения.

В тот же день я видела отца: ответ блондинки его не удивил, будто он знал об этом заранее; я плакала и говорила ему, что без Ивана никуда не поеду. Он начал на меня орать страшным голосом и вдруг сказал:

— Я клянусь тебе, что твой Иван будет с тобой! Но сейчас тебя с ним не отпустят. Решай сама. Подожди, что тебе скажут через неделю в ОВИРе.

— Но как ты не понимаешь, что я не хочу, чтобы Иван оказывался в положении «подсадной утки»! Я не хочу иметь его в качестве заложника! — рыдала я.

— Глупости, никто так не рассуждает. Ты не понимаешь, сколько тебе предстоит дел в Париже и Иван тебе будет только помехой! Оформить брак, вернёшься и заберешь своего Ивана, кому он здесь нужен... Никогда не нужно ничего рубить с плеча... это вечный твой максимализм, всё без нюансов, или белое или чёрное, — отец был взволнован моим настроением и чувствовал, что я многое понимаю из задуманной операции. Ему очень не хотелось, чтобы я резко сказала «нет», а для себя я решила идти до конца и постараться раз и навсегда избавиться от кошмарных манипуляций отца и маячивших за ним «никтолай ивановичей».

Через неделю я позвонила в ОВИР и блондинка мне сказала, что достаточно, если Н.И. Кривошеин пришлёт в дополнение к приглашению (не действительному!) телеграмму, где будет сказано, что он приглашает меня «в гости, замуж, на шесть месяцев». Об Иване чтобы не было ни слова!

По этому ответу я поняла, что «они» отказались от мысли зазывать НК в СССР. Может быть, мой разговор с «никтолай ивановичем»

и многократные с отцом убедили их, что я стою на своём. Хоть в этом от меня отстали, с радостью думала я. Когда я позвонила моему дорогому Никитушке и сказала о телеграмме, то его эмоциональным отрывочным восклицаниям не было конца. Он понимал, что вопросов задавать не нужно. Телеграмму я получила на следующий день.

— Ну, что Вы волнуетесь за мальчика. Вы будете ездить туда-сюда. Заключите брак и вернётесь. Не обязательно Вам сидеть в этой Франции шесть месяцев. А потом и с Иваном поедете, только его отец должен будет дать разрешение, — не забыла напомнить мне «ОВИРная» блондинка.

Меня удивила логика и простота её рассуждений, будто подобные ситуации она встречала и разрешала в каждый свой рабочий приём посетителей. Её непринуждённая манера держаться со мной выходила из рамок обычной, то есть, стержовно агрессивной: женское любопытство взяло верх:

— А что же он сам-то сюда не приедет? Ведь проще бы было.., — потом сама, как бы испугавшись, что зашла далеко в своих вопросах, осеклась. «Каждый сверчок знай свой шесток»: к кому и почему я еду «замуж» — знать ей этого не положено, видимо, поэтому и не осведомили. Но история настолько необыкновенная в её практике, что женское любопытство взяло верх! Кто же он этот НК=НК, что невесту к нему посылают?

— Работа у него такая — тяжёлая, ответственная... всё время ездит из страны в страну. Да и родителей не может оставить надолго, — объяснила я ей совершенно заученно.

Но она не поверила ни одному моему слову. В её глазах я прочла страх, растерянность и раболепие перед начальством — если что не положено ей знать, то так и надо.

— Ах, он дипломат! Так бы и сказали, тогда всё понятно, — с облегчением заключила она, выдала мне анкеты, и на этом мы с ней расстались.

Куда меня несло, я понимала с трудом. Возникло чувство, что сама судьба уже управляет ситуацией, которая мне неподвластна. Зачем и почему я решилась на столь страшный шаг, как поездка без

Ивана в неизвестность? И что скажет на всё происходящее НК, когда я его увижу? Ведь по телефону и в письмах я не могла рассказать подробностей о сетях, которые расставляются вокруг нас. Мне так хотелось соединиться с Никитой, вытащить Ивана из СССР, навсегда избавиться от отца, страшных гебешных теней и начать жизнь с нуля.

Машина времени из стали, но руки в бархате велюра.
Быстрее всех она бежала, настигла и уже подмяла.
Костяшки треснули,
душа ушла не в пятки,
и испарилась, как могла, спасая память без оглядки.
А что мне делать без тебя?
Ведь я лелеяла, любила
И думала, что навсегда то равновесие лекала подвешено
посередине,
не отклониться...
Но настало, с приходом стали, лязга, брызг и отклонение магнита.
Оно случилось в перевес всему, о чём мечталось летом,
зимой забылось,
и настигло.
Машина времени без стука, на лапках в бархате вошла
и обняла тебя любя.

Отец был человеком чутким и проницательным. Он был талантливым художником, мыслящим человеком, читал Гёте и Байрона в оригиналах, был большим поклонником Запада, прогрессивным человеком, но с навязчивыми идеями поиска «русского бога» и особого предназначения России. Он всё больше замыкался, совершенно изолировался в Парголово и мне казалось, что пустота, образовавшаяся вокруг него, была искусственной. Старые друзья его избегали, новых я не встречала, Ирина перестала ему писать, с дочерью Дуней связи никакой; единственное, что оставалось — это живопись. Идеи, бродившие в его голове, приводили к бурным и не всегда последовательным размышлениям вслух. Он любил со мной спорить, я, пожалуй, стала его единственным слушателем и собеседником при наших редких встречах.

Из его рассуждений выходило, что ярлыки «империя Зла» и «колонии-сателлиты» изобретены и приклеены злонамеренно: никаких оснований у Запада на то нет. Что сбегать и процветать «за бугром» в трудные времена всегда удобно и выгодно. И процветание всех сбежавших — просто первая реализация неоднократно ставившегося эксперимента о преимуществах социализма перед капитализмом. Можно сравнить ГДР и ФРГ, Север и Юг Кореи... Всё это — американская пропаганда об «империи Зла», которая от антисоветизма переключилась на русофобию: «Они с чем и кем борются?!» — восклицал отец: «с Советской властью или с русским

народом? Для Бжезинского, я думаю, сомнений нет: конечно, с народом. Замечала ли ты, что стреляющий по всаднику стреляет также и по лошади. Этот «тонкий» момент выводит из круга моих симпатий большое число стреляющих. Все эти изменники, а особенно разведчики-перебежчики, оправдываются, что боролись против КГБ. Отлично. А кому они присягали?! И кому они приносят вред? Конечно, не КГБ, который уже не тот, что в прежние годы — люди другие: умнее, образованнее... Нет, они приносят вред прежде всего русскому народу. А мы, русские, должны иметь своё государство и устраивать его сами, не привлекая для этого врагов. Привлечение печенегов к династическим разборкам и в десятом веке было предательством. Я хочу быть патриотом своей страны, будущей России, но мне мешают. Нам мешают!

К вопросу о патриотизме и государстве имеет прямое отношение одно стихотворение Киплинга. К сожалению, никак не найду его, чтобы тебе его прочитать, Ксюша... Оно написано от лица гребца, прикованного к галере, который гордится подвигами, совершёнными галерой. Вот и я горжусь своей Россией будущего и прошедшего. Мы все в этой лодке, но есть люди, которые от страха кидаются за борт... Надеюсь, что ты никогда не решишься на столь самоубийственный поступок! Все это — испытания, выпавшие на долю русских, праведные испытания».

Наши разговоры кончались бурно и не всегда мирно.

Вся процедура стала повторяться, анкеты районного ОВИРа, характеристика с места работы (ЛОСХа), потом центральное управление отдела виз и регистраций. Помню, как я волновалась, вновь идти в Союз художников на партийное собрание для утверждения характеристики. Вошла в комнату, все члены группы сидели по периметру, вдоль стен, центр зала был освобождён для очередного «подсудимого». Мне показалось, что до моего появления этот художественный своеобразный парттрибунал бурно обсуждал мой вопрос. Атмосфера была накалена, и по выражению лиц и взглядов, которые они исподлобья бросали на меня, в настроении многих сквозила недружественность. Если представить себя на их месте, понятно, что ситуация выходила престранная. Разногласия меж-

ду художниками разогрели воздух, и недовольное большинство взбунтовалось, но меньшинство в этой «не тройке» было сильнее. Как я поняла, именно им было приказано дать мне характеристику «на поездку замуж в гости»! Опять меня спрашивали, почему жених не может приехать, а я отвечала формулировкой, что я еду «в гости замуж на шесть месяцев» и это не вызывало даже тени улыбки. «А с кем же Вы оставляете вашего сына на время отсутствия?», полюбопытствовала одна из художниц. «На свою маму и оформляю опеку на время моей поездки, жить он будет в квартире, где родился и вырос...» У многих глаза были устремлены в пол, председатель окинул всю братию строгим взглядом, и произнёс: «Товарищи, пожелаем, Ксении Игоревне хорошей поездки и счастливого медового месяца!» За это и проголосовали все единодушно, при одном воздержавшемся.

Моё решение для себя я приняла. Если мне разрешат уехать без Ивана, возвращаться через шесть месяцев я не буду. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы вытянуть его из СССР. Прекрасно зная, что он в этой игре будет главным инструментом нажима на меня, я подумала о получении хоть каких-то подписей от его отца. Я сообщила В., что намереваюсь поехать через несколько месяцев в гости во Францию и возьму с собой Ивана. Просьба подписать такое разрешение вызвала у него бурю возмущения и отказ. Вот, подумала я, началось, неужели «они» уже успели его научить, как себя вести! Но, поразмыслив, поняла, что пока у «них» нет оснований мне не верить, еду я на время, мальчик остаётся заложником, в моё отсутствие он живёт с бабушкой. Значит, здесь чисто личный протест. Как при каждом разводе, — а наша пара не была исключением — в советском судопроизводстве наличествовала статья о присуждении алиментов и разделе имущества. Денег у него не было, а по всему он должен был мне вернуть сумму за половину машины и ежемесячные долги за сына. Неплохо зная характер В., я написала ему письмо, где отказываюсь от алиментов и не претендую на «авто», если он подпишет мне разрешение на поездку со мной в гости Ивана. Предложение было заманчивым, любовь к железному коню оказалась сильнее, и он написал мне текст заявления. Подпись была, но дата

не была проставлена. На это не обратили внимания в ЖЭКе, домоуправление заверило мне заявление печатью. В случае моего отъезда письмо я отдам маме. Мой отец ничего не должен знать об этом.

Стоял конец мая месяца, когда раздался телефонный звонок и «никтолай иванович» попросил меня к телефону:

— Мог бы я с Вами увидеться? Мне необходимо обсудить целый ряд вопросов в связи с Вашей возможной поездкой. Я буду ждать Вас в вестибюле гостиница «Европейская», ровно в 18 часов.

В назначенный день и час я была на месте. Совру, если скажу, что не волновалась, но страха у меня не было, скорее любопытство. «никтолай иванович» уже ждал, сухо и сдержанно поздоровался, предложил пройти к лифту. Мы поднялись, сейчас уже не помню на какой этаж и пошли по коридорам, застланным красными ковровыми дорожками. Меня поразила безлюдность этой многоэтажной и роскошной гостиницы. Минут десять мы «блуждали», спускались, подымались по лестничкам, с этажа на полу этаж. На протяжении нашего похода мой сопровождающий молчал. Я старалась не нарушать этой тишины: да и что тут могло быть за заигрывание как беспечный «разговор о погоде». Наконец, возник тупик и дверь, «никтолай иванович» вынул ключ из кармана, открыл и мы вошли в обычный гостиничный номер.

Комната скорее походила на скучный чиновный кабинет, была обставлена уродливым лакированным ширпотребом, шторы на окнах плотно закрыты, в центре огромная двуспальная кровать девственной нетронутости. Необжитость туристами этой комнаты бросалась в глаза.

Он пригласил меня сесть в кресло, зажег настольную лампу не раздвигая тяжёлых штор, хотя на улице было довольно светло, и кинул свой увесистый портфель на кровать. Потом открыл маленький холодильник и из него выплыла бутылка коньяка и блюдо с бутербродами. В голове моей прокрутились банальные кадры кино с приставаниями, и я покосилась на кровать, накрытую красным плюшевым покрывалом.

— Угощайтесь, — нарушил наше молчание Николай Иванович, налил коньяк и пододвинул тарелку с бутербродами, — Вы мне вот

что расскажите Ксения Игоревна, видели ли Вы когда нибудь журнал «Континент»?

— Да, и даже читала несколько номеров, — ответила я.

— Ну, вот видите, а Вы говорили мне, что никогда не разговаривали с Никитой Игоревичем о политике. Он ведь в этом журнальчике печатается... и друзей его борзописцев Вы тоже не встречали? — укоризненно покачал головой «николай иванович».

— Он меня развлекал, мы путешествовали и занимались любовью, а о политике... говорили, но я не понимаю, что Вы имеете в виду.., — как можно спокойнее ответила я.

— Вы скоро увидите, что я имею в виду, — посмеиваясь, произнёс он, — А вот что Вы можете рассказать о его близких друзьях? Он ведь не только с дипломатами общается, хотя в знакомых у него самые известные западные личности. О истории его выезда из СССР известно даже президентам... письма писались. Но сам он ведёт активный образ жизни и не только переводческий. В письмах к Вам он об этом, наверняка, не сообщает... — на этой фразе он осёкся, так как понял, что выдал ознакомлённость с нашей перепиской.

— Я встречала только его коллег переводчиков, несколько друзей Ирины, моего отца, мы вместе посещали мою тётю Нину, да я бывала в квартире, которую он снимает у своей большой подруги в Ферне-Вольтер... это под Женевои.

— Эта дама из Ферне-Вольтер очень интересная личность, и, вообще, окружение Никиты Игоревича непростое. Вы ведь знаете, как я интересуюсь, эмиграцией, я говорил Вам, что семья Кривошеиных знаменитая, много испытывавшая... «Нам» непонятно, на кого работает Никита Игоревич? — при этом вопросе он странно на меня посмотрел.

— Как «на кого» он работает?! Вы же знаете, что он работает на международные организации, Юнеско, ООН, на министерство иностранных дел, много путешествует.., — я была удивлена подобному вопросу. Будто они не знают его мест службы, наверняка рядом с ним в переводческих кабинах сидят советские коллеги, некоторые из которых по совместительству пишут доносы на таких, как НК.

— Да нет же, Вы меня не поняли! — раздражённо воскликнул «николай иванович», — ЮНЕСКО здесь не причём! На какую разведку он работает, с кем из них он связан? Вот что нас интересует.

От этих слов у меня закружилась голова, и это было не коньячное опьянение. Я могла ожидать чего угодно, только не такого поворота событий.

— Вы можете мне не верить, но честное слово, я ничего не знаю об этом, — прямо глядя ему в глаза, произнесла я. Мой ответ не понравился, он не поверил мне. Извинившись, что ему нужно отлучиться на десять минут позвонить (телефон был на столе), а главное, принести ещё бутербродов, «николай иванович» вышел из номера.

Мысли кипели у меня в голове, нужно было собраться и держаться как можно естественней. Стены комнаты смотрели и слушали, увесистый портфель на плюше кровати будто приглашал меня в него заглянуть, я сняла трубку телефона, мембрана издавала странный звук шумящей воды, отодвинула край шторы и увидела напротив стены Большого зала Филармонии... Он вернулся минут через пятнадцать, принёс тарелку с жареными пирожками. Будто продолжая прерванный разговор на полфразе, произнёс:

— Ведь Ваш жених активно занимается антисоветской деятельностью... а в друзьях у него такие как, Буковский, Кузнецов, Амальрик и Максимов!

— Ну и что из этого следует? Его друзья диссиденты, инакомыслящие... Причём здесь иностранные разведки? — удивление моё было неподдельным, я никак не могла понять связи одних с другими.

— А на какие же деньги живут и едят все эти так называемые «инакомыслящие»? Они же, кроме как своей болтовнёй на радио «Свобода» и в журнале «Континент», денег не заработают! Платит им кто? — в его тоне сквозила уверенность, что я знаю источники, связи, пароли, явки и многое другое... но пока «стесняюсь» сказать. — Не надо ему слишком шуметь, все эти письменные заявления, протесты. Я советую Вам, Ксенечка, на него повлиять.

— Этого я никогда делать не буду! Да если я даже попыталась бы, Никита меня бы не стал слушать, и был бы крайне удивлён моим поведением, — ответила я.

— Коли так, то существует другой путь. Будьте антисоветчицей сами, подстройтесь под его жизнь, красных флагов не вывешивайте, не надо этого... наоборот, станьте инакомыслящей. Мы это поймём. Ход умный. Сами наблюдайте, сближайтесь с его друзьями. Что Вы думаете, у нас таких на Западе нет? — голос «николая ивановича» был ровным и абсолютно уверенным. Странно, но в какой же момент наших разговоров произошло это незаметное превращение простого писателя «диссертации по эмиграции» в настоящего вербовщика?

— Как же Вы можете мне предлагать всё это? Ведь это означает, что я должна следить и доносить на Никиту и его друзей. Я на это не пойду!

— Зачем так резко ставить вопрос. Это для его пользы. Он сможет сюда приезжать, ему нечего будет бояться. Надо быть только потише в своей деятельности с такими как Буковский, да Амальрик... — продолжал настаивать «николай иванович»

— Я говорила уже, что приезжать он сюда не хочет и не может. А в остальном я абсолютно не могу быть Вам полезной.

— Хорошо, оставим пока это, но мы ещё вернёмся к этому разговору. Жаль, очень жаль, что Вы не хотите нам помочь. С Вашим характером у Вас бы великолепно это получилось. Скажите мне честно, неужели Вы и вправду так влюблены в него? Вы же авантюристка! Это я чувствую, — он вдруг заговорил игривым голосом.

— Кто Вам сказал, что я авантюристка? Может быть мой отец, это его домыслы? Откуда у Вас это слово, из наблюдений за моей жизнью? И почему у Вас возникают сомнения в искренности наших отношений с Никитой? Вы подозреваете, что я готова пойти на всё, лишь бы уехать на «райский Запад». Это ошибка с Вашей стороны. Я люблю и ценю покой и правду в отношениях, — всё, что выплеснулось из меня в этот момент, вероятно пойдёт не на пользу, подумала я. Но так даже лучше.

— Как Вам сказать, Ксения Игоревна? Ваш отец считает, что эта любовь у Вас скоро пройдёт. И он за Вас спокоен в этом плане. Но то, что касается всего остального — он не уверен, что Вы смогли бы настоящему вжиться в парижскую жизнь, особенно в эмиграцию. Он очень хочет Вам помочь! И как бы ни сложился Ваш возможный

брак с Кривошеиным, он сумеет по своему опыту, знанию языков быть хорошей Вам опорой. Если так и окажется, всем будет хорошо.

Боже, вот, оказывается, какие многоступенчатые планы строят «они», с ужасом подумала я.

— Может быть, но не уверена... Я знаю моего отца, у него патологическая страсть со всеми ссориться и всех сталкивать лбами. С Никитой ему было бы трудно сойтись. Знаете, я устала от ссор и разводов. История взаимоотношений моих родителей всем тяжело далась, мне жаль мою мать и я люблю моего сына, который, к сожалению, не сможет поехать со мной. Почему? — резко поставила я вопрос.

— Почему? — будто эхом повторил он задумчиво, — Вы ни в коем случае не должны думать, что он остаётся заложником. Много будет зависеть не только от Вашего бывшего супруга и его заявления, которое он Вам подписал... — он не закончил фразы: и так всё было ясно. Мой секрет полишинеля им известен. Неужели В. тоже на крючке у них? — Не спешите, времени у нас впереди много, очень много. Обдумайте наш разговор, может быть, по-другому пройдёт наша будущая встреча. Ваше резкое «нет», надеюсь, сменился на что-то другое.

Он встал, я поняла, что наша беседа завершилась. По красным дорожкам мы молча дошли до лифта, я старалась не смотреть ему в лицо и ничего не произносить. В вестибюле он протянул мне руку, вяло пожал и совершенно официальным, сухим тоном уже без голосовых нюансов сказал:

— До свидания Ксения Игоревна. Я Вам ещё позвоню... а кстати, у Вас есть мой номер телефона. Надумаете, звоните.

Я шла по Невскому проспекту и весь разговор с «Николай Ивановичем» прокручивался в моей голове как магнитофонная лента. Всё ли я правильно говорила, в чём я себя могу упрекнуть, не поймалась ли я на удочку? Вроде нет. Ну, а если так, то надо немедленно отказаться от поездки! Я никогда не смогу пойти по тому позорному пути, на который «они» меня толкают. Нужно сходить в ОВИР и забрать документы. Никите просто скажу, что мне отказали, он не удивится.

Мысли и возможные решения преследовали меня вплоть до двери нашей квартиры. Я вошла и увидела неожиданно отца, сидящего в нашей столовой и пьющего чай вместе с мамой. Иванушка уже спал в своей постели. Вид у меня был, вероятно, странный, отец на меня посмотрел с беспокойством.

— Что случилось? — был его первый вопрос.

— Хочу тебе сообщить, что я отказываюсь ехать к Никите! Завтра пойду в ОВИР забирать бумаги и позвоню в Париж, — мой решительный тон насторожил отца ещё больше.

— В чём дело, тебе сообщили что-нибудь неприятное? Вы поссорились? — он стал испуганно задавать мне вопросы.

— С Никитой всё в порядке. Да только твой «консультант по эмиграции» предложил мне следить и доносить на него!

— Какие идиоты! — воскликнул отец, вскочил, стал бегать по комнате, — Я же им говорил, чтобы они к тебе не приставали с подобной чепухой. Ты не тот человек! Какой примитив мышления! — он хватался руками за голову, бил указательным пальцем по лбу, определяя этим жестом весь пещерный ум «николай ивановича».

Мало ли что ты говорил «им», подумала я, а может, они рассчитывают на нечто другое и не считаются с твоим мнением. У тебя свои планы, а у них свои.

— Нет, я прошу тебя, убедительно прошу, ничего не предпринимай! Вот так, сгоряча, ты наломаешь дров. Всё будет хорошо, и, пожалуйста, без глупостей. Сейчас уже поздно, но завтра я позвоню в Москву, у меня есть там с кем проконсультироваться. Что этот тип тебе ещё говорил? — отец старался успокоиться, а, главное, утихомирить меня.

— Говорил, что Иван может быть заложником, если я буду плохо себя вести.

— Слушай Ксюша, ты знаешь, что я тебя люблю больше всех на свете, я тебя никогда не подводил, не предавал. Будь умницей и поверь мне! Только об одном помни, всегда: ничего не подписывай с этими людьми. Если они тебе будут предлагать подписать... нечто... ну, да ты поймешь, о чём идёт речь. Умоляю, не подписывай! А решать, конечно, тебе, я не хочу быть виновником твоих страданий,

— вид у отца был жалкий, побитый, он выглядел не победителем, а побеждённым.

Засыпая, я молилась Господу о том, чтобы искушения и испытания, выпавшие на нашу с Никитой долю, не сломили нас. Чтобы мы могли встретиться, поговорить обо всём — без страха быть подслушанными телефонистками. Молилась о том, чтобы Господь защитил Ивана и меня, сохранил нас вместе и не разлучил навсегда, чтобы козни дьявольские не коснулись нашей жизни.

Город мой состоит из руин красоты
Он белеет и тает как призрак.
Полу ночь, полу день
Запах гнили воды из каналов
Вперемешку с черёмухой горклой...
В предрассвете зари полечу за мостом,
Тот, что перекинут через реку.
До банальности захваленная белая ночь,
Приземлюсь, с рекою побеседую.
А на той стороне, за другим мостом,
Третий справа это мой дом.
Если сжаться в комок,
Превратиться в платок,
Подстелиться под дверь и пролезть...
Я увижу других,
Я услышу чужих,
Запах мой не узнаю в своей колыбели...
До банальности захваленная белая ночь,
Не укроешь ты пологом колыбельным.
Ты оставишь меня, не в защиту себе
Оголив мои раны детства,
Не услышу друзей,
Не увижу родных.
На могилы их брошу цветы...
Пролечу над Невой,
Поверну на залив
И махну на прощанье рукой.

Страна всё больше погружалась в изоляцию и брежневский маразм. Мы вступили в тяжёлый затяжной период афганской войны, бессмысленно кровавой и в результате проигранной. Посадки инакомыслящих, изоляция под домашним арестом академика Сахарова. Чувство, что граница захлопнется навсегда, не покидало многих.

Я так и не смогла поговорить с Машей, рассказать мой сон, поездка в Морозовичи состоялась, но была печальной. За время моего отсутствия Мария Михайловна тяжело заболела и скончалась. Идея покупки дома отодвигалась на неопределённое время.

Наша переписка с Никитой не прерывалась. Хоть несколько строк мы старались писать друг другу каждый день. Корреспонденция не пропадала, но, видимо, содержание интересовало «читателей», иногда конверты были даже плохо заклеены. По детским письмам и звонкам Никита познакомился с Иваном, а смешные французские открытки с «пищалками» вызывали особенный интерес у «работников почты». Игрушки в виде «лего» приходили с недостающими деталями. Никита писал изо всех стран мира, дневниковость нашей переписки видимо хорошо конспектировалась «ими». Но официальный канал связи мы с Никитой использовали всюю и не стеснялись в своих письмах непрошенных глаз, пусть себе читают... Зато осторожность и полное молчание в связи с моим оформлением мы сохраняли обоюдно. Даже когда однажды возникла okazия передать письмо Никите с его другом, я не решилась описать всю многосложность ситуации.

Прошло лето, наступила осень, ОВИР молчал. И вот опять раздался телефонный звонок, голос «николай ивановича». Просьба встретиться на том же месте. Свидание наше происходило днём, конец сентября стоял солнечный и тёплый. Мы поднялись на лифте, пошли по лестницам, мне показалось, что это другое крыло гостиницы «Европейская» и другой номер. Окна зашторены. Опять коньяк, кексы, а «николай иванович» в весёлом расположении и болтает о рыбной ловле. Оказывается, это его страсть. Что означает эта смена настроения? Тактика поведения? Сама вопросов не задаю, разговор о поездке не начинаю.

— Смотрите, что я Вам принёс, — и достаёт из своего портфеля журнал «Континент», — загляните в оглавление.

Пока я листаю журнал и всматриваюсь в тексты, он разливает коньяк по стаканам. Вижу фамилию, мне не знакомую: Пётр Равич, а переводчик Н.Кривошеин, пробежала глазами текст, но мысли мои на нём не сосредотачиваются, думаю как ответить.

— И что Вы хотите этим сказать? — спрашиваю, — ведь НК здесь как переводчик, это его специальность, он этим деньги зарабатывает. А когда на французский переводит, тогда подпись «НК» и авторы другие.

— Э нет... Вы не думайте, что всё так просто. Во-первых, хочу сказать: текст очень интересен по своему содержанию, и, видимо, взгляды автора совпадают с мнением переводчика. А потом, нам известно, что они дружат, и переводчик тут работал с большим старанием...

— Может, он работал со старанием, чтобы деньги за перевод получить? Вот и весь интерес, — ответила я.

— А Амальрика он тоже из-за денег переводил? Слишком тенденциозная компания получается. Хотя понятно, что подобные тексты хорошо оплачиваются. Они ведь направлены на подрыв нашей страны, и кто их финансирует, нам понятно. Посмотрите, что делают его друзья на разных радио, как они освещают войну в Афганистане. А ведь там наши русские парни гибнут... — в его голосе звучали патриотические нотки. Но у меня было чувство, что всё это ему далеко до лампочки. Его сытый упитанный вид, импортные шмотки, командировки в ГДР, дорогостоящие хобби, рыбалка и футбол, интересовали «николая ивановича» гораздо больше.

— Скажите мне откровенно, а Вы сами верите в патриотизм современного русского человека? Не кажется ли Вам, что эта черта характера изжила себя, и на её место заступили другие, более жизненные, категории. Молодёжь, которая гибнет непонятно за что в чужих песках, уже не та, что в войну сорок пятого года. Их боевой дух одними приказами и заградотрядами не поднять, — почему меня дёрнуло всё это ему выложить, до сих пор не понимаю. — Вы послали бы туда своего сына и поехали бы сами? Нет у них комсомольско-

го задора, они другие, циники, за пару джинсов страну с потрохами продадут. А Вы меня спрашиваете о людях, которые старались сказать правду в своей стране, но их пересажали или выслали... Вы же сами говорили, что семья Кривошеиных героическая, а теперь выходит, что они враги и выкормыши американских спецслужб?

Видимо, такого он от меня не ожидал, присмирел и спор не продолжил. Коньяк из стакана перекочевал в его желудок и он сказал:

— Смотрю я на Вас и всё больше понимаю, почему Ваш отец такую характеристику на Вас давал. Решительная Вы женщина, видно много литературы в Женеве читали, просветили Вас там хорошо... Вот в таком духе и продолжайте в Париже, у Вас хорошо получается. Я хочу Вам дать адрес. Когда окажетесь в Париже, подробно пишите обо всём и посылайте... хотя бы раз в месяц по этому адресу.

— Наверное, я неправильно объяснилась в последний раз. Я никаких писем, рассказов и дневников посылать Вам не буду и адреса не возьму. У меня характер совершенно не годится для столь тонкого дела, — решительно ответила я. Ну вот, наконец-то они от меня отстанут, но разозлятся.

— Я прошу Вас никому и никогда не говорить о наших встречах и разговорах, — тихо произнёс «николай иванович», глядя в свой пустой стакан.

— Конечно, не буду! Это я Вам обещаю, я не из болтливых.

— На это-то мы и рассчитывали, надеялись, что сотрудничество наше будет взаимновыгодным... — на этой фразе наше свидание закончилось. Моя уверенность, что мне откажут в поездке к Никите, была стопроцентной! Помню, как я пришла домой и проплакала всю ночь.

Через полтора месяца меня вызвали в ОВИР для получения паспорта на поездку во Францию. Чуть позднее у меня состоялся разговор с отцом, который прямо сказал, что мой случай рассматривался в Москве и всё висело на волоске. Неужели мне и нашим отношениям с Никитой придаётся столь государственное значение? Это же всё бред! Кто я? Очередной винтик в заржавевшей машине ГБ, каких сотни. Ну не получилось меня ссучить, так выйдет с другими. И дался им Никита с его мифическими разведками мира.

Неужели они будут терзать теперь Ивана и меня, ради каких-то рассказов о том, что ест на завтрак Игорь Александрович Кривошеин, сколько водки вливают в себя друзья Никиты или с кем трахаются эмигрантские красавицы. Я твёрдо решила, что всё без исключения расскажу Никите и его родителям, ну, а какова будет их реакция, увидим. Отец мне давал напутствие перед дорогой: «Ты ни в коем случае не должна отказываться от советского паспорта. Даже если Никита будет настаивать. Ивана тебе тогда не выдать!»

Стояло начало декабря, со слякотью чёрного снега под ногами. Поздно вечером я поцеловала маму, спящего Иванушку и мы вышли с отцом на улицу к такси. Он провожал меня. Вот мы выехали на набережную Невы, на горизонте подсветка Смольного монастыря, ангел Петропавловки, Летний сад... Я попросила шофёра поехать своим маршрутом. Слёзы потоком омывают моё лицо, я захлёбываюсь в слезах, я последний раз еду по любимому городу, прощаюсь с ним навсегда. Мой сын уплывает от меня в ночи с каждой минутой, я не в силах уже остановить колесо времени, назад пути нет, оно мчит меня вперёд в полную неизвестность и, может быть, пропасть. Отец видит мои слёзы и мрачно молчит.

На платформе отходящего поезда, он прошептал мне в ухо: «Уезжай из этой страны. Никогда не возвращайся. И всё расскажи Никите. Он поймёт».

БУРЯ (Мф. 14:22-34)

(Из проповеди митрополита Антония Сурожского)

Так же, как Петру и другим Апостолам, нам трудно поверить, что Бог мира, Бог гармонии может находиться в самой сердцевине Бури, которая, кажется готова разрушить нашу безопасность и лишить нас жизни.

Христос остался один, на берегу, в уединённости и молитвенности, а его Ученики отправились через море. Они рассчитывали на безопасное плавание, но на полпути их настигла Буря, и они поняли, что им угрожает гибель. Страх и ужас охватил их!

И внезапно среди бури они увидели Господа Иисуса Христа. Он шёл по бушующим волнам, среди разъярённого ветра и вместе с

этим в какой-то пугающей тишине. Ученики закричали от волнения и страха, они подумали, что это призрак, они не могли поверить, что это Он. А Иисус Христос из сердцевины клокочущей бури про-изнёс им: «Не бойтесь! Это я, подымите головы ваши, потому что приближается избавление ваше...»

Нам трудно поверить, что Бог может находиться в сердце трагедии; и однако это так. Он находится в сердцевины трагедии в самом страшном смысле, трагедия человечества и каждого из нас это отделённость наша от Бога, мы часто не ощущаем Его. Всё Царство Божие внутри нас, а мы не чувствуем этого и не понимаем. Господь протягивает нам руку и говорит «не бойтесь я с вами», а мы как эти ученики, мы находимся в том же море, буре, ужасе гибели, мы в оцепенении, страхе, мы парализованы и веры нам не хватает.

Пётр захотел идти из лодки ко Христу, под защиту безопасности! Не это ли мы делаем всё время, когда чувствуем опасность? Когда разразится Буря, мы спешим к Богу изо всех сил, потому что думаем, что в нём спасение от опасности. Но если мы будем оглядываться на волны, вихри и на нависающую угрозу смерти, и не верить до конца Господу и его помощи безраздельной — мы, как Пётр, начнём тонуть.

И в тот момент, когда мы чувствуем, что нет надежды, что мы гибнем, что если у нас в это последнее мгновение хватит Веры и мы закричим как Пётр: «Господи! Я тону! Я погибаю, помоги мне!». Господь протянет нам руку и поможет нам.

И поразительно и таинственно говорит нам Евангелие, «что в то мгновение, когда Христос взял Петра за руку, все они оказались у берега».

Чтобы ни у кого не вызвать подозрений, что я уезжаю навсегда, я собрала только два чемодана. В них были положены фотографии, дедушки, бабушки, мама — в ролях, отец, Иван, немного моих детских с няней. Я взяла папку со своими работами, изданные книги, шесть маленьких серебряных ложечек (ещё прабабушки), крохотный гобеленчик (исторический) из спальни наследника цесаревни-

ча Алексея, хранившийся в нашей семье, скатерть, вышитую моей нянечкой; остальное пространство чемоданов занимали носильные тряпки.

Чувство, что началась новая жизнь и обратно дороги нет, не покидало меня с момента, когда я поцеловала спящего Ивана, закрыла дверь нашей квартиры, и попрощалась с нашим семейным гнездом. До мелочей знакомые предметы, с детства меня окружавшие, фамильные реликвии, библиотека деда и бабушки, атмосфера их присутствия и продолжение их жизни в этих предметах — всё уплыло навсегда. Мне было тридцать пять лет, позади оставалась немалая художественная карьера, друзья, любимый город... всё начиналось с нуля.

Радость от встречи с Никитой омрачалась разлукой с сыном. Страх переехал границу вместе со мной. Долгие годы я жила с постоянным чувством гнёта, а последние события повергали в состояние безнадежности; предчувствие гибели уже не только моей, а и сына, мамы, Никиты, их физической опасности не покидала меня. Угрозы со стороны «никтолай ивановича», «их» желание победы над нами было вполне реально.

Как только мы увиделись, я рассказала обо всём Никите и его родителям, помню восклицание Нины Алексеевны «я так и знала!». В течение недель двух я подробно описывала Никите события, нас соединившие. Сразу возникло решение вытягивать Ивана, и, конечно, ни в коем случае не возвращаться назад. Мы встретились с Никитой так, будто вчера расстались в Женевском аэропорту, год и три месяца постоянной переписки сыграли огромную роль в наших отношениях. Наша любовь с первого взгляда стала ещё горячее и надёжнее.

Оформление брака требовало большой и длительной бюрократической процедуры, нам предстояло обустроить жильё. В административной рутине и узнавании Франции проходили первые месяцы моей жизни. То, что я решила уехать насовсем, во многом определило мой профессиональный путь. Во всяком случае, многодневные походы по издательствам, озеро слёз, пролитое из-за неудач, решение вжиться себя в культурную и художественную

жизнь Парижа запомнились на всю жизнь. Из нашей советской бессобытийности и тягучести жизни я попала в инопланетный мир, полный разнообразия и пульсации. Мне хотелось испытать свои силы в столь нелёгкой борьбе, удача улыбнулась мне, но далеко не сразу. Я стала выставляться в галереях Лозанны, Парижа, Страсбурга и Токио, участвовать в художественных Салонах, мои вещи появились в каталогах, но всё это случилось гораздо позже. Этому предшествовал большой титанический труд «пересадки» и учёбы. Даже язык я начала изучать с буквы «А», погрузившись в многочасовые ежедневные стрессовые уроки школы «Берлиц». Никита в первый день сказал мне: «Ты не должна чувствовать себя эмигрантом во Франции, а поэтому изучи язык и строй всю свою профессиональную жизнь в среде французских художников». Природа, люди, привычки, разнообразие прекрасной Франции, по которой мы с Никитой путешествовали на мотоцикле, сыграли огромную роль и заложили фундамент любви к этой стране. Никита прекрасно знал Францию, где родился и рос до четырнадцати лет. Его мечта вновь вернуться на родину сбылась после 22-летнего перерыва, в 1970 году. Романтический патриотизм и возвращенческий порыв его родителей в 1948 году закончился арестом Игоря Александровича, потом самого Никиты в 1956-ом. Мать Никиты, Нина Алексеевна Кривошеина, написала воспоминания «Четыре трети нашей жизни». В этой книге рассказана история семьи Кривошеиных, их Восток-Запад...

Регистрация нашего брака была назначена на 10 февраля 1981 года. Никита шутил, что когда-то его освободили десятого февраля из лагеря, а теперь он в этот день женится. Перед процедурой в мэрии нужно было пройти целый ряд медицинских анализов, сюда входило просвечивание лёгких, анализ крови и общий осмотр врачами. Этому подвергаются все французы, желающие связать себя узами Гименея. Мы пришли в назначенный день на приём ко всем врачам сразу и расстались на время прохождения процедур. Помню, как я в кабинке разделась, а медсестра внимательно посмотрела на мой крестильный крестик, подарок Маши и сказала: «Пожалуйста, снимите его». Я пыталась возразить, что никогда не расстанусь с

ним, и что он вряд ли помешает рентгену и осмотру врачей, но девушка стояла на своём.

Пришлось отстегнуть цепочку и положить мой крест в сумочку. Мы встретились с Никитой через два часа в вестибюле поликлиники, перешутились парой слов, вышли на улицу и вдруг он меня спросил: «А где твой крестик?» — «Да я его положила в сумочку, медсестра меня попросила снять его...», с этими словами я стала шарить на дне сумки. Крестика на месте не было. Я вытряхнула всё содержимое, перерыла все карманы — безрезультатно. Кинулась по лестнице в кабинеты, где проходили все процедуры, уговаривая сестёр и врачей поискать, объясняя им, что ценности для вора он не представляет никакой: простой медный, на старенькой стёртой цепочке. Всё было напрасно, мой крест исчез! Мы с Никитой грустно пошли к метро, и вдруг в моей памяти всплыл мой сон. Я не успела рассказать его Маше, но теперь я сама поняла его значение и все события, происшедшие со мной, конечно, в этом сне были. Встреча с Никитой, переход в другую жизнь, страх и сети вражеские, слова моей крестной матери и надежда на удачу в новой жизни, предстоящая свадьба... Конечно, это Маша забрала к себе мой крест, она будет молиться обо мне, и всё будет хорошо.

После гражданской регистрации брака мы венчались в церкви. Шаферами у нас были Степан Николаевич Татищев и Дмитрий Васильевич Сеземан. Наши обручальные кольца были сделаны Ириной.

Совершенно очевидно, что мой отъезд наделал шуму в Ленинграде и Москве, но в равной степени и моё появление во Франции вызывало у многих недоумение. Друзья в СССР во время моих сборов вопросов не задавали, сама я отвечала им одинаково заученно, но это не внушало доверия. А поэтому пересуды о том, «кто такой Никита», что это за «птица», к которому выпускают жениться из СССР, слышались за моей спиной. Мой приезд в Париж вызвал такую же реакцию: «кто она такая, что её выпустили выходить замуж в Париж, да ещё к НК?» Подобные разговоры и слухи были присущи эмигрантам третьей волны, именно они больше всего интересовали «николая ивановича». Я помню, что мы решили с Никитой ни пе-

ред кем тогда не излагать своей истории: подозрений и домыслов мы всё равно не рассеяли бы. У многих из них было патологическое желание всех подозревать в сотрудничество с КГБ. Как мы видим, это могло вполне иметь отношение и ко мне.

Весь план дальнейших действий был выработан Никитой.

После заключения нашего брака мы подали на получение мной французского гражданства, его тогда оформляли в течение одиннадцати месяцев. Гостевая виза моя заканчивалась в мае, для того чтобы мы могли использовать все официально-допустимые возможности для вытягивания Ивана, я пошла в советское консульство. Попытаться встать на учет на постоянное место жительства обернулось трудностями и недовольством. Мне слали открытки и уверяли, что только по возвращении моему в Ленинград могут оформить моё постоянное место жительства во Франции. Анкеты, тем не менее, были приняты к рассмотрению, мне сказали: «ждите!» Мы с Никитой пошли в мэрию, и я сделала приглашение в гости маме и Ивану от своего имени.

Через две недели мне позвонил отец в полном бешенстве! Он кричал, что это заговор, что я должна немедленно приехать и продолжить оформление своего пребывания во Франции «на месте», что мама не может никуда ехать (хоть она и опекун) и что совершенно логично, что ей отказали (уже!) в ОВИРе, так как я, находясь в гостях, не имею права никого приглашать. Отец ещё кричал, что я беспокою «всех» своими глупостями и что обо всём была другая «договорённость» и он не понимает наших с Никитой действий... Совершенно спокойным голосом Никита объяснил ему, что Ксения сейчас находится в стадии оформления постоянного места жительства, в консульстве документы приняты к рассмотрению и что одновременно идёт оформление моего французского гражданства. Было бы глупо и неразумно совершать сейчас поездку в СССР. Более того, сказал Никита, если ОВИР отказал по моему приглашению, то он пошлёт повторное, от себя, на законном основании как муж. Отец не мог себе представить такого поворота событий. Правила игры не менялись, но корректировались уже с нашей стороны. Это был год, когда чудесным образом и совершенно необъяснимо по-

чему заработала автоматическая телефонная связь. Можно было избежать телефонистки и простым набором кода (как сегодня) соединиться с Ленинградом. Для меня это было настоящим подарком, я могла регулярно разговаривать с Иванушкой и мамой. В один из таких вечеров я позвонила домой и неожиданно услышала голос отца. Я была страшно удивлена, ведь он постоянно проживал в Парголово. Не позвав к телефону Ивана и маму, он сказал: «Мама получила приглашение от Никиты. Но он многого не может понять в нашей обстановке... Зачем тебе сейчас нужен Иван в Париже? Он будет только помехой для вас. Прекратите дёргать мальчика, он и так уже лишён отца и матери. Теперь у него буду я! Я заменю ему настоящую семью, займусь его воспитанием; и хватит рвать душу и сердце своей матери. Приезжай обратно, как только уладишь свои дела, может быть, и Никита с тобой решится приехать... хочу с ним познакомиться поближе, посмотреть ему в глаза».

Это был разговор удава с кроликом. Представить себе, что мой отец насильно отберёт у моей мамы Ивана, я совершенно не могла! Вакуум безнадёжности и страха парализовал меня. На следующий день мне удалось застать маму дома, и она сказала, что отец совершенно неожиданно переехал со всеми чемоданами к нам в квартиру. «Но, ты знаешь, Ксюша, я решила пойти в ОВИР и попробовать оформить приглашение для Никиты. Вряд ли они сумеют так сразу отказать мне». Мне хотелось сказать ей в телефон, что отец мой — злодей, что он играет в страшные игры, что только по дьявольским наущениям может так поступать родной отец. Пытка, задуманная ради собственных эфемерных игр, теперь переносилась непосредственно на мою мать. Но я сказала другое, совершенно сознательно понимая, что нас подслушивают: «Мамочка, хочу тебе сказать главную причину, почему я сейчас не могу приехать. Я беременна и очень плохо себя чувствую. Передай эту новость отцу». Поверила ли она мне в тот момент, не знаю, но я услышала её радостное восклицание. Мне было стыдно от своего вранья, так лгать нельзя. Но ситуация складывалась крайне напряжённая.

Наступил июль. За это время мама всё-таки сумела подать документы и теперь ожидала ответа. Видимо, отец поверил, что я жду

ребёнка, каждый раз я рассказывала ему как я себя плохо чувствую, как меня тошнит, и что я совершенно не могу пользоваться транспортом. Но, в свою очередь, он отвечал мне: «Ты не должна беспокоиться, тебе нужен покой, действительно, лучше переждать и никуда не ехать. Иван тем более тебе будет помехой, с маминим приездом пока неясно». «Нет! — готова была я кричать в телефон — мой сын не может быть мне помехой, он необходим мне, как воздух!»

Тяжело заболела Нина Алексеевна и врачи посоветовали её госпитализировать в геронтологическую клинику. Мы стала приходить к ней каждый день. Она с трудом ела больничную пищу, я варила дома протёртые кисели, готовила паровые котлеты, салаты. Старинное мрачное здание больницы с арками и переходами было окружено большим каштановым парком. В галереях здоровенные санитары перевозили на колясках больных, немощных и выживших из ума стариков. Почему именно в эту кошмарную обстановку поместил наш домашний врач Нину Алексеевну, до сих пор не понимаю. Ей было восемьдесят семь лет, у неё возникли серьёзные проблемы с сердцем, но она была в совершенно ясном уме, заканчивала писать мемуары, читала газеты, следила постоянно по телевидению за новостями мировой политики, шутила и разговаривала с медсёстрами. Этот контраст с окружающими её персонажами Босха был ужасен. К сожалению, Нине Алексеевне не становилось лучше, вскоре она оказалась дома на короткое время, чтобы потом попасть уже на операционный стол.

Никита уезжал работать в Женеву, а перед его отъездом Нине Алексеевне сделали операцию. Всё прошло хорошо, и он ехал со спокойной душой, мы с Игорем Александровичем стали по очереди навещать её в больнице. Незадолго до операции Нины Алексеевны мы с Никитой сняли квартиру в том же доме, где жили его родители. Оказавшись одна после отъезда Никиты, я принялась за устройство нашего нового жилища. В квартире не было никакой мебели, но зато был холодильник, стол на кухне, два стула и кровать, и ещё мы купили старый чёрно-белый телевизор. Я благодарна ему на

всю жизнь — именно он во многом был моим окном в незнакомый мир и освоение языка. Занятие по оклейке и покраске стен отвлекло от мрачных мыслей и постоянного ожидания известий.

Телефонный звонок! И я слышу, как сквозь треск и шум пробивается голос мамы. Я села на пол в пустой комнате, телефон поставила рядом.

Моё сердце по привычке сжималось от страха и ожидания плохих новостей. Это состояние стало нормой, каждый разговор с Ленинградом был тяжёлым испытанием. Мне приходилось говорить наигранно весёлым и спокойным голосом, в основном для посторонних ушей, а потом заливаться слезами.

— Ксюша, дорогая! Ты только не волнуйся, тебе сейчас нельзя волноваться. Меня вызвали открыткой в ОВИР для получения паспорта!

Наконец-то, вот и свершилось — молнией пронеслось в моей голове.

— ...ты знаешь, я даже деньги заплатила.., а потом пришла и мне отказали выдать паспорт. Не плачь, почему ты плачешь? Ванюша здоров, слышишь, моя дорогая девочка, всё уладится.

Слёзы лились молчаливым потоком, я старалась подавить рыдания, телефонистки не должны были всего этого слышать. Собрала силы, я как можно спокойнее сказала:

— Мамочка, я сейчас перезвоню Никите в Женеву и расскажу ему о твоём звонке. Я совершенно уверена, что произошло недопонимание и, видимо, эта накладка исходит от рядового инспектора ОВИРа. Кто-то не разобрался в ситуации и не совсем понимает, к чему это может привести.

— Меня попросили написать объяснение. Почему я еду к тебе вместе с Иваном, что я намереваюсь делать потом? А ещё я отдала им «заявление», которое тебе написал В., он ведь не возражает, чтобы Иван поехал. Дата на заявлении свежая... Я написала, на имя начальника ОВИРа, что буду сопровождать внука и сразу вернусь назад, теперь надо ждать.

Вечером того же дня Никита из Женевы набрал номер нашей квартиры в Ленинграде.

Подошёл к телефону отец. Никита подробно рассказал о только что перенесённой операции Нины Алексеевны, о моём состоянии, и уже в конце разговора сказал:

— Мы рады, что, наконец, Ивану разрешили приехать навестить нас. Вероятно, с паспортом случилось недоразумение. Оно скоро разрешится. А если нет, то, может быть, мне стоит подключить своих друзей... у меня есть возможность проконсультироваться в самых высоких инстанциях с юристами-специалистами по международному праву?

— Ну, что Вы, Никита! Я уверен, это какое-то недоразумение, вскоре всё выяснится. Не беспокойте напрасно своих друзей, не нужно поднимать шума.

Именно этот разговор стал поворотным в данной ситуации. Мне позвонила мама через сутки, и я услышала её радостный голос:

— Ксюшенька, мне выдали сегодня паспорт. Мы скоро увидимся. Теперь я пойду выправлять визы и заказывать билеты. На все, наверное, нужно положить недели три, — мама ликовала, но вдруг я услышала голос отца, сдержанно, сухой, почти оскорбительный:

— Ну, как? Ты довольна?! Теперь ты можешь немного передохнуть от переживаний. Позванивай, от тебя это дешевле, а то у меня совсем плохо с деньгами, ты, небось, не бедствуешь...

Мы с Никитой ликовали! Это была победа!

В одиночестве надсадном приходили тени в ночь,
Далеко в пространстве света всё, что было близко мне,
Люди-миражи от детства, растворилось всё во сне.
Не вернуть всех разговоров, не позвать на помощь друга...
Существует телефон.
Но молчит подолгу он.

Наша радость омрачалась всё ухудшающимся состоянием Нины Алексеевны. После операции она стала выправляться и даже находила в себе силы опять «командовать» Игорем Александровичем, что было хорошим признаком для нас. Мы шутили по этому поводу и ждали, что скоро она опять сможет составлять свои знамени-

тые списки продуктов для Игоря Александровича. Обычно, после возвращения из магазина, она журила его со словами: «Игорь, Вы опять купили не то...», после чего И.А. приходилось безропотно идти в лавочку на углу и менять один сорт помидоров на другой. Мы ждали её возвращения домой, и у меня не было предчувствия беды, видимо, известие о скором приезде Ивана и мамы притупило мою бдительность. Помню, как Нина Алексеевна обрадовалась известиям из Ленинграда и сказала: «мама Ксении должна здесь остаться вместе с Иваном навсегда».

Никита собирался уезжать на конференцию в Африку. Он покидал Париж с тяжёлым сердцем и всё-таки с надеждой, что Нина Алексеевна вскоре вернётся домой. Каждый день мы продолжали по очереди с Игорем Александровичем дежурить в больнице. Шли дни, казалось, состояние её стабилизировалось. С некоторого времени она стала просить нас оставаться на ночь, сердце давало сбои, она задыхалась, ей приносили подушки с кислородом, делали переливание крови. Через ночь я проводила в больнице, спала рядом с ней на раскладной кровати. Вернувшись рано утром домой в пустую ещё не обжитую квартиру, всеми мыслями рядом с Ниной Алексеевной, я решила позвонить в Ленинград. Представляя, как они готовятся к отъезду, в счастливом ожидании услышать, наконец, спокойный голос мамы, радостные восклицания Ивана, я набрала ленинградский номер нашей квартиры. Было семь утра. Странно, что в такую рань никто не отвечал, я позвонила через час, опять телефон молчал. Только к восьми часам вечера я услышала голос моего отца!

— Собирался тебе позвонить, доченька. Уже два дня, как мама в больнице. У неё сломана шейка бедра... пошла выносить помойное ведро, поскользнулась...

Это был выстрел в сердце, у меня перехватило дыхание:

— Почему ты мне сразу не позвонил? Уже прошло два дня! А с кем же Иван?

— Ты не беспокойся, говорят, это недели на три в больнице, потом два месяца дома неподвижного режима, а там будет видно... Ты приезжай, сама увидишь! Ваня сейчас в Парголово, я попросил сво-

их друзей за ним присмотреть, а потом можно отвезти его к отцу в Киев.

Нет, это происходит не со мной! Это просто страшный ночной кошмар, стоит только усилием воли открыть глаза, и всё будет по-прежнему: я услышу голос Ивана, мамочка скажет мне, как она готовится к поездке, я расскажу ей о состоянии Нины Алексеевны — какую ночь я провела рядом с ней...

— Да, и ещё будут делать дополнительные анализы. Странный перелом, такая хрупкость костей, есть подозрение на рак, — голос отца звучал спокойно, без обычного раздражения, в нём даже сквозили нотки нежности, сочувствия и... победы.

— Мама лежит в прекрасной больнице им. Ленина, на завтра назначена операция. Ты можешь позвонить мне в конце дня. А вообще, советую тебе как можно быстрее подумать о приезде. Ведь Нина Алексеевна не одна, рядом её муж, Никита., — отец продолжал, что-то говорить, но я ничего не понимала, я не могла ничего ему ответить, я не могла даже плакать. Шок, столбняк, потом страшный озноб; меня колотит, словно в припадке падучей, я в Париже одна, Никита в Африке, скоро опять идти в больницу, мне нужно немедленно что-то предпринять. Но кто даст совет? Кто даст мудрый совет!?

К вечеру мне позвонили из больницы и попросили немедленно придти. Было около девяти часов вечера, совсем светло, конец сентября и уже холодно. Вероятно, у меня поднялась температура, так как меня знобило.

Вошла в палату, вижу вокруг Нины Алексеевны хлопочут три врача, сёстры, лица взволнованные. Одна из них укрепляет на штативе мешочек с кровью, втыкает иглу в руку Нины Алексеевны, говорит, что это уже второе переливание.

— Ксения они меня замучили. Рука тяжёлая, не ту кровь они мне вливают... я чувствую, что не моя это кровь. Нехорошо мне от неё. Дышать трудно, — Нина Алексеевна говорит с трудом, за день с ней произошла большая перемена. Её маленькая фигура, в груди проводов и кислородных подушек, словно растаяла, съежилась.

— Сядь рядом, расскажи что происходит. Ты собиралась зво-

нить в Ленинград? Как они? А где Никита? Что слышно от него?

Я не могла рассказать Нине Алексеевне о случившемся. Нелзя, чтобы эта женщина, которая всю жизнь прожила ожиданием и страхом за мужа и сына, ещё и сейчас страдала.

— Хотите посмотреть телевизор? — я пыталась держаться как можно спокойнее. Как изменилось её лицо... В голосе — кротость, обычная ворчливость на сестёр сменилась покорностью.

— Нет, сядь рядом, дай твою руку. Хорошо, что сегодня будешь ночевать ты, — прошептала, задыхаясь, Нина Алексеевна. Она закрыла глаза, я взяла её руку в свою и стала гладить: может быть, она заснёт. Сёстры суетились вокруг, а я прилегла рядом, взяла книгу, но мне не читалось. Голова кипела, я рисовала страшные картины моего возвращения в Ленинград, операцию мамы, поездку в Киев за Иваном; может быть, суд с лишением меня материнских прав, безумные разговоры с отцом, «николай ивановичем» и полную неясность нашей дальнейшей жизни с Никитой. Около двух часов ночи я задремала и всё слышала тяжёлое дыхание Нины Алексеевны.

Проснулась я от тишины, открыла глаза и увидела белую ширму, отделявшую меня от кровати Нины Алексеевны. Что-то произошло, а, может быть, она заснула, и сестры, чтобы не тревожить её, поставили эту загородку? Но потом я услышала приглушённые голоса сестёр, пришёл врач, я встала, и все они испуганно посмотрели на меня. Нина Алексеевна больше не дышала, она скончалась.

Все вышли из комнаты, и я могла остаться на некоторое время одна с Ниной Алексеевной: прощание.

Было четыре часа утра, я медленно брела домой. Мне предстояло сообщить Игорю Александровичу о смерти. Но не сразу, лучше подождать девяти часов, чтобы не напугать; потом отослать телеграмму Никите в Африку. Прошли сутки — случилось два несчастья.

В одной из «лучших» больниц Ленинграда «им. В.И. Ленина» оперировали мою маму. Рано утром пришёл хирург. Он не совсем твёрдо держался на ногах после ночного банкета, праздновался

его выход на пенсию, и сегодня была последняя операция. Из-под белоснежного халата, пропавшего хлоркой, странным образом выглядывала пижама и стоптанные домашние тапочки. Он нагнулся над мамой и выдохнул смесью водочного перегара, закуски и папиросного угара.

Уже под наркозом, на операционном столе, мама отдалённо и глухо слышала звуки молотка, вколачивающего в её бедро гвоздь.

Что вбивалось? Неизвестно. Видимо так было надо. Затуманенный взгляд хирурга и дрожь в руках сыграли роковую роль. Предмет, который должен был надёжно соединить кости в шейке бедра — прошёл рядом. Это был не обычный гвоздь, а достаточно увесистый, многогранный десятисантиметровый предмет, с остро отточенным концом, который, пройдя рядом с костью, упёрся в живую ткань. Это был не просто предмет, а деталь военного самолёта, из ценного металла титана. С одной стороны винтовая нарезка, а с другой — ручная заточка. Боль после операции — нестерпимая, непроходящая. «А ты что хочешь? Кости-то нужно соединить, чтобы нога не болталась. Мы тебе гвоздик вбили. Учти, из ценного металла! Его через четыре месяца нужно вынуть и нам вернуть, — сказал хирург маме, — Ты кажется, в Париж собиралась? Оставь эти мысли, лежать тебе месяца три, а потом будешь учиться ходить. Да, и ещё нужно проверить твой рентген! Мне он не нравится, может быть, рак костей». Хирург любил аккуратность и правду, он был фронтовым хирургом во время войны.

Рентген повторили, результат показал рак костей в прогрессивной стадии. Маму выписали из больницы через десять дней, рентгеновские плёнки на руки не выдали — не положено, должны пойти в архив. Помог семейный «блат», благодаря другу-хирургу, снимки просмотрели ещё раз, и выяснилось, что они принадлежат другому больному: перепутали фамилию. Диагноз был ошибочным, но боли в ноге не прекращались, хотя все врачи, и даже «семейный», утверждали, что операция прошла хорошо.

За время, что мама лежала в ленинградской больнице, мы похоронили Нину Алексеевну на русском кладбище Сан-Женевьев де Буа. Дни переходили в недели ожидания, и, казалось, что кошмар

непредвиденности событий не имеет конца. Трудно сейчас вспомнить, как мы действовали изо дня в день, но решения приходилось принимать интуитивно и, по возможности, обдуманно, но чувство полного бессилия и что это конец всему — было для нас очевидно! Мы думали дождаться возвращения мамы из больницы и поговорить с ней по телефону. А в Париже навели справки, выяснилось, что подобная операция при хорошем исходе восстанавливает человека и его способность ходить на пятый день, а через десять дней при занятиях со специалистом — уже самостоятельное передвижение с костылями. Ни о каком «гвозде», соединяющем кости, парижские врачи не слыхали, здесь ставили пластиковый протез. Приговор «фронтowego хирурга» в больнице им. В.И. Ленина звучал угрожающе.

Наконец, маму привезли домой, и телефон ожил. Выяснилось, что нога болит, и очень сильно, что у неё температура, но она старается делать массажи, гимнастику и не лежать на месте, что ей помогают мои подруги, что отец постоянно мечется, что Ивана она не отдала в Киев. Более того, она сказала, что как только у неё сойдёт боль, то немедленно займётся визой и билетами и, что ни в коем случае не желает моего приезда.

Времени в запасе было очень мало, продлевать паспорт, было невозможно, его можно было только сдать в ОВИР и всё начать с начала, а для получения визы необходимо было физическое передвижение, единственный человек, кто мог всё это сделать, был мой отец. Но он не хотел! Нашей с Никитой задачей было уговорить отца помочь ей.

Сопротивление с его стороны нарастало с каждым моим телефонным разговором, все мои доводы о невозможности приезда в Ленинград натыкались на скандал и оскорбления: «Я никуда не буду ходить, ни о какой визе сейчас не может идти и речи! Твоя мать сошла с ума, хочет лететь к тебе в Париж. Если у тебя есть сердце и ты любишь её, то должна сама быть здесь, рядом. Прекрати мне давать советы, что я должен делать. Я устал, у меня нет денег, а ты мне говоришь, что твою мать вылечат в Париже. Нужно, чтобы она долетела до этого Парижа, а для этого необходимо специальное

разрешение на транспортировку в нынешнем её состоянии. Кто будет всем этим заниматься? Уж не ты ли, а, может быть, Никита? Приезжайте!»

В какой-то момент мне удалось его успокоить и убедить в возможности моего приезда. Главным доводом стала моя «беременность» и состояние Никиты и Игоря Александровича после кончины Нины Алексеевны. Ситуация возникала тупиковая. Видимо, по всему раскладу она стала тупиковой и для «николая ивановича». Роковые совпадения и непредвиденность ситуации с обеих сторон выводили её из «неписаного сценария». Вечный вопрос «Что делать?» вверг «их» в такую же растерянность, чашечки весов зависли на отметке равновесия. Какая песчинка перевесит? Всё в руках Божиих.

Это психологическое затишье с перетягиванием каната длилось недели две. Господь услышал наши молитвы! И настал всё-таки день, когда отец поехал во французское консульство, потом купил билеты и доставал справку от врачей для транспорта. Мама с Иваном должны были сесть в самолёт седьмого ноября, в день рождения моего отца. Когда-то он сам уезжал в Женеву в этот день!

Состояние его к моменту отъезда мамы и Ивана напоминало клиническое сумасшествие. Он стал собирать чемоданы в дорогу, и тут началось нечто ужасающее. Отец выгребал вещи из шкафов, сваливал в кучи и выносил всё это на помойку. Костры, которые он зажигал во дворе, курились до утра, и отвратительно пахло бумагой, жжёными тряпками и кожей. Некоторые вещи он раскладывал на цветочных клумбах, прохожие в недоумении останавливались, видели новые красивые вещи и, в конце концов, брали их себе.

Бедный Иван жался в страхе к больной бабушке, которая была бессильна, прикована к постели и находилась в полной власти отца. Каждый день мучительного ожидания превращался для меня в нечто похожее на ожидание смертной казни: а вдруг в последний момент её перенесут, отменят или заменят на пожизненное заключение!

День приезда настал. В аэропорт нас повёз Степан Татищев. Дорогой, любимый всеми Степан! Как мало о нём вспоминают после его кончины, а ведь его имя должно быть вписано золотыми буква-

ми в списки настоящих борцов против советской власти. Сколько ценнейших рукописей им было вывезено на Запад в самые страшные годы, и скольким людям он помог...

Моё состояние не поддавалось никакому описанию. Неотрывно я смотрела на табло, где сообщалось о прибытии самолётов. Именно их рейс пока опаздывал на час. В этот момент шёл досмотр мамы и Ивана. Нечеловеческим усилием воли мама стала ходить с помощью костылей. Мои друзья помогали ей собраться в дорогу, старались успокоить Ивана. Он был как зверёк, который чувствует опасность и инстинктивно жмётся к людям в надежде на спасение. В какой то момент он вцепился в руку бабушки, да так с ней и не расставался. Мама лежала на кровати-каталке, Иван рядом, их попросили раздеться и приступили к шмону. Он был основателен, бессмысленен, унизителен и груб. Кажется, собирались разбирать костыли — в них можно было спрятать бриллианты; мальчика попросили открыть рот и тщательно осмотрели его тельце. Бедная мама, с трудом сдерживающая боль, сама раздевалась и одевалась после обыска. Родина провожала «с любовью» — так, чтобы надолго запомнилось!

Прибытие самолёта откладывалось ещё на сорок минут. Никита и Степан пытались меня успокоить...

Я помню, как по длинной, прозрачной кишке эскалатора аэропорта Шарль де Голль подымается большое кресло с мамой, рядом стоит столбиком с детским рюкзачком Иван, вот они выплывают к нам, мы все растеряны, счастливы, слёзы волнения и радости. Иван из-под своей белобрысой чёлки строго смотрит на двух незнакомых мужчин перед собой и, обращаясь именно к моему мужу, говорит: «Это ты, Никита? Мне злые дяди смотрели в карманы»

Паутина простёртых рук тянется с голосом из забытого,
Мне бы снова закрыть глаза и увидеть тебя живого.

Казалось, что несколько сеансов гимнастики, массажи, уход — и здоровье мамы восстановится. Но боли не прекращались и мы показали её специалисту. После рентгена хирург сказал нам: «У Вашей

матери начинается гангрена, и необходимо немедленно делать операцию. В ином случае придётся ампутировать ногу».

После операции вся клиника сбежалась смотреть на «восьмое чудо света» — предмет, он же гвоздь. Ничего подобного французские врачи не видали. Гвоздь прошёл мимо, все это время причиняя боль и вызвав нагноение. На границе с мамы взяли письменное обязательство, что она вернёт кусок этого ценного металла в СССР, я же решила сохранить его как редкий коллекционный образец. Надеюсь, золотому запасу страны и авиастроению я не нанесла ущерба.

Через неделю мама уже ходила. Мы с Никитой решили уговорить её остаться с нами, но видимо она и сама понимала, какая жизнь предстоит ей в Ленинграде. Иллюзий и перспектив, что мы когда-нибудь ещё увидимся, в случае её возвращения — не было. Через месяц скончался Брежнев, ему на смену пришёл Андропов. Подумать только, наше соединение висело на волоске: при новом руководстве все выезды были сразу прекращены. Мама попросила политическое убежище, меня исключили из Союза художников, по прошествии ещё полугода всё-таки дали разрешение на постоянное место жительства.

Я сразу послала отцу приглашение в гости, ему отказали даже в характеристике. Прошло ещё четыре месяца, я опять пригласила его — отказ повторился. Мы говорили с ним часто по телефону, я писала, посылала подарки. Он переехал из Парголова в нашу квартиру (семейную), где был окружен миром деда, бабушки, предметами своего детства, нашей любви и близости, наших ссор, споров об искусстве, встреч с друзьями... и Бог знает ещё чего! Шёл 1984 год, я обняла его в последний раз четыре года назад, надежды на встречу не оставалось никакой. Двадцать третьего декабря, в мой день рождения он не позвонил, это было странно, телефон молчал и на следующий день. Я дозвонилась до друзей. Отец был на «скорой» отправлен в больницу. Диагноз — прободная язва со злокачественной опухолью и метастазами. Его разрезали и зашили, сказали, что жизни на две недели. Рядом с ним была женщина, с которой он жил, а в последние месяцы его болезни она просто переселилась в нашу квартиру.

Я звонила в больницу, плакала. Он не подозревал о диагнозе, физическое здоровье у него всегда было могучее, если не считать нервов. Внезапность заболевания меня удивляла и наводила на разные подозрительные мысли. Уж не захотели ли от него избавиться его «друзья»?

Отец обладал огромной жизненной и физической силой, он хотел жить, о диагнозе ему не сообщили. О смерти он не думал и, несмотря на прогнозы врачей, протянул ещё много недель. Мне удалось поговорить с ним по телефону, но что мы могли сказать друг другу: «Ну как же ты так не уберёг себя», сказала я. А он мне ответил: «Пришли-ко, ты мне, доченька, тёплый шарф и шоколада». Вот и весь разговор. Он тяжело дышал и ему было трудно говорить. Слабый голос отца по телефону не звал меня приехать, я так и не приняла своё мучительное решение в последний раз поцеловать, обнять папу и поговорить. Мне было страшно. Прости меня, мой дорогой многострадальный отец! Особенно мне стало не по себе после того, как я получила телеграмму — кстати, совершенно непонятно от кого, в моё отсутствие раздался телефонный звонок, трубку сняла мама: «Передайте своей дочери, что отец её умирает. Мы его «друзья» и настойчиво советуем ей приехать проститесь с ним. Машина с шофёром будет ждать её в аэропорту...»

В те же дни и недели мы с Никитой были «старательно и дружески» обихожены одним из его советских коллег в ЮНЕСКО. Как настойчиво он советовал мне поехать в Ленинград, обвиняя Никиту в бессердечности! В один из дней Никита мне сказал: «Отец умирает, поезжай простись!»

Каждый день я видела отца во сне. Он появлялся то разгневанным, то кротким, то совсем по-детски болезненно-жалким. Я была вся в муках сомнений, месяц бессонных ночей, и слёзы, слёзы...

Но я испугалась и не поехала. Испугалась, что для «них» это был последний шанс меня припугнуть, зацепить, может, и задержать на неопределённое время. А в случае смерти отца мне уже никто бы не помог. Наша семья жила в ожидании моего решения, но было очевидно, что я потеряла последние силы, и отказалась от поездки. Мне оставалось только молиться об отце и о себе, и особенно

тогда мне хотелось, чтобы душа его очистилась в покаянии перед кончиной. Но был ли кто-нибудь рядом, кто помог ему тогда, в тот тяжёлый момент, когда он думал о смерти? Не думаю.

Он умер один, рядом с ним были чужие люди, которые в ночь его смерти открыли нашу квартиру и выгребли из неё всё. Грузили в кузов машин (об этих событиях я знаю достоверно). Следы нашей семьи были стёрты окончательно, остались только могилы.

Папа скончался шестого февраля 1985 года в день моих именин. После операции он жил ещё полтора месяца, страдания от болей были ужасными... «Помяни Господи усопшего раба Твоего Игоря во царствии Своем и прости ему прегрешения вольные и невольные». Я молилась много и сильно, чтобы избавил Господь его от тяжких болей, освободил от тяжёлых мыслей и перед смертью послал раскаяние...

Я заболела через несколько недель и надолго: психиатр, лекарства, душевная мука, и всё что сопутствует сильным депрессиям.

Как мы помним, «перестройка» во главе с М.С. Горбачёвым пришла в тот же год. Только в 1989 году я решилась приехать в СССР. Мне удалось устроить большую посмертную выставку работ отца в Ленинграде.

Выставка имела большой успех, пресса, телевидение, потом Москва. К сожалению, большая часть его работ исчезла навсегда. В каких «запасниках» и кто хранит их?

Приоткрой свою тайну ушедшей навеки души...
Расскажи, как живётся в небесном пространстве любимым,
Нашепчи нам о них, что всё видят Они,
Слышат нас, и душа их согрета молитвою нашей.
А пока мы живём в суете каждодневной мороки,
Души наших любимых витают в прохладных садах,
Из источников чистых пьют хрустальную воду фонтанов
И читают молитвы о нас.

ДИВЕЕВО

Послесловие

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Трудно начать рассказ о нашей поездке, и назвать её паломничеством, видимо, тоже трудно. Препятствия на пути к её осуществлению были, но скорее организационные, рутинные, хотя в последние дни в Москве, уже перед началом 1998 года (а задумали мы ехать в Дивеево третьего января), в предпраздничной гостевой суете под подсказку на ухо дьявольски шепталось, что трудно, сложно, никто не ждёт, да и мерещилось, что не те попутчики, как добираться по морозу, ну и прочие бытовые, уже отвычные, трудности.

После 1989 года получалось, что один раз в два года мы с Никитой приезжали в Россию и сейчас опять оказались в Москве. В Дивеево мы задумали поехать давно — наш сын Иван уже побывал там, опередив нас на три года. Летом он попал на большой праздник к первому августа, когда празднуется день прп. Серафима Саровского. Уже по фотографиям Ивана, где дороги и тропинки вокруг монастыря выложены цветами (подобные узоры из живых цветов я видела только в Индии), природа и возведённые храмы в ней на фотографиях выглядели почти что как для заманки туристов... но рассказы нашего сына были лучше всех фотографий.

Ну так вот, мы купили билеты на поезд, и с нами выразили желание ехать наши московские друзья, муж и жена А.

Но третьего января в двадцать два часа мы сели в поезд на Казанском вокзале, зашли в вагон, которому были несказанно удивлены: вышитые занавесочки на окнах, мягкие матрасы. Чистое бельё и все прочие атрибуты так называемого СВ. Мне показалось, что у наших спутников от этого неожиданного комфорта поднялось настроение. Попили чаю и улеглись... в пять часов утра зазвонил мой будильник, и проводница за дверью сообщила: «Подъезжаем к Арзамасу!»

Из тёпло-жаркого вагона мы сошли в темноту и снег. Народ вокруг сразу куда-то стайками побежал, поспешили и мы за толпой; оказались на вокзале. Никита упрямо стремился к кассам автобуса. Нам нужно было ещё шестьдесят километров ехать до Дивеево.

Вокруг шофёры легковых машин наперебой предлагали свои услуги, но Никитушка твердил об автобусе.

Мы уже встроились в очередь билетных касс, когда к нам подошёл последний шофёр.

— А может, поедете? — как-то почти деликатно спросил он.

Наши друзья были согласны ехать сразу. Никита очень недовольно буркнул: «Как хотите...»

Было немножко странно и почти неправдоподобно оказаться в машине иностранной марки, чистой, мягко скользящей по заснеженной, без огня, спящей природе. Для меня было страшно услышать первые слова нашего водителя (про себя я умоляла, лишь бы он молчал): они должны были оказаться противными, глупыми, с комментариями, о которых и не хотелось думать, с ненужными в эти полтора часа разговорами, с расспросами, ну и всё остальное, что обычно объединяет людей случайных в таком месте и при таких обстоятельствах. Но наш шофёр долго молчал, потом заговорил, и после двух-трёх фраз мы поняли, что это нам подарок. Он говорил умно обо всем — и о земле, которую нужно продавать и покупать, ругал Ельцина, Ленина и коммунистов, рассказывал интересно о себе, жене и дочери, с большой болью делился об арзамасских безобразиях, о разрушении церковей и поругании большевиками святых мест. Как всегда, не обошлось и без рассказов о чудесах, происшедших с ним самим. Через двадцать минут весело

бжавшая машина встала в ночи и метели. Наш шофёр недовольно вышел. Открыл капот, чего-то там ковырнул, вернулся за руль.

— Плохо дело, видимо, не поедем, не проверил я новый аккумулятор, поставил от другой машины.

Мы приуныли ужасно. На всякий случай шофёр повернул два три раза ключ стартера — мотор зашелестел, набрал обороты и мы вдруг поехали. На десятую минуту мы почти летели над асфальтом. Наша подруга, сидевшая рядом с водителем, тихо стала уговаривать ехать потише.

— Что с моей машиной? Она так никогда не ездила, — вслух удивлялся шофёр.

— Потихе, пожалуйста... — стонала Татьяна.

А машина и вправду «летела» по воздуху, взлетала на горки, ухала вниз, и, казалось, что нас несёт уже не этот аппарат-гибрид, полуиностранного производства, а нечто неземное, какая-то сила, которая торопит нас всё скорее и скорее вперёд. Вот уже первые домики Дивеева, и мы как-то сразу влетели к монастырю, встали, вышли из машины и оказались из метельной ночи в церкви на шестичасовой службе.

Было чувство, что от полёта по заснеженной тёмной дороге нас выбросило в этот храм небесный, где пели голоса настоящих ангелов. Ничего подобного я никогда не слыхала! Ещё не отойдя от скорости механической (хотя и здесь я усомнюсь), как меня окунуло в звуки ангельского пения, чистоты зазеркальных голосов. Они, как хрустальные слёзки, падающие в журчащий холодный родник — а он бежит. И нет ему конца, и пение это — как гипнотическое, завораживающее, подымающее слёзы радости и счастья. Я попала из темноты в Рай; чувство космичности этого места и его отделённости от всего мира меня не покидало все полных два дня, которые мы провели в Дивеево. Не помню, через полчаса, а может позже, мы познакомимся с отцом Георгием (Павловичем). Мы привезли ему письма из Парижа.

Могу сказать, что со временем со мной произошло что-то странное. Было чувство, что стоишь на службе с утра и до вечера, нет усталости, но и нет понятия, который сейчас час. Люди вокруг, их очень много молодых, много молчаливых детей, нет толкотни, нет

разговоров, странное хождение в толпе монашек, совсем молодых. Но все молящиеся в одном порыве (но не в экстазе!), и молитва настолько у каждого объединяющая, что хочется быть в этой массе человеческой долго, бесконечно.

Не хочу подробно рассказывать о нашем бытовом устройстве. Но могу только быть безмерно благодарна всем нас принявшим, обогревшим, поселившим в Дивеево. Спасибо всем — и о. Георгию, и матушке игуменье Сергии, и монахине Юлии, и монахине Ольге. И всем послушницам, нас кормившим в трапезной и так терпеливо переносившим наши невольные разговоры за едой.

Сколько построено, сколько возведено, возвращено, выкуплено. Выращено! А скиты в лесу вокруг, а сколько ещё предстоит!!! Матушка игуменья оказала нам великую милость, пригласила к себе, показала свои альбомы с фотографиями. Смотришь и диву даёшься, какие силы, кроме человеческих, в столь короткие сроки возвели из руин всю эту красоту.

Уже после переноса святых мощей преподобного Серафима расцветало Дивеево не по дням, а по часам. С давних-предавних пор, ещё с конца XVII века, когда место это было предназначено Царицей Небесной в четвёртый её удел, она сама, Божья Мать, избрала это место. Но как бы для испытания, в вечную борьбу с молитвой и Богом было Дивеево населено враждебными людьми. Они и сейчас живут рядом с монастырём, а предки этих людей из заводских, напали на преподобного Серафима, зверски его били почти до смерти, пытались найти деньги в его келье, да ничего не найдя, испугались и убежали. При всём возрождении монастыря, наплыве со всей России (и не только) паломников, помощи со всего света, местное население враждебно относится к возрождению святыни. Мало кто из них приходит помолиться сюда. Но и здесь ничего не стоит на месте, движение людей, жаждущих жить рядом с преподобным Чудотворцем, всё больше, и уже сами жители, настроенные против, не выдерживают, продают дома и уезжают. На их место, конечно же, селятся жаждущие быть вблизи Дивеевского монастыря.

Батюшка Серафим много предсказывал о Дивеево. Известно, что организовал он две общины, одна из которых состояла из де-

вухек: «Если кто моих сирот девушек обидит, тот велие получит от Господа наказание. А кто заступит за них и в нужде защитит и поможет, изольтётся на того велиа милость Божия свыша. Кто даже сердцем воздохнёт, да пощажет их, и того тоже Господь наградит. И скажу вам, помните: счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от утра и до утра, ибо Мать Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево!»

Не хочу впасть в гордость, но не могу не воскликнуть: «Счастье это посетило нас!» И эта несказанная радость, прозрачная чистота, разлитая в самом составе воздуха и природе, совсем не сусально-картинной, как у «передвижников», а, скорее, напоминающей прозрачную природу Нестерова. Да и природы самой, когда ты там, как бы не замечаешь, а слит с ней, с людьми в молитве, с простым бытом.

Отец Георгий, молодой, умный, образованный, ласково нас принявший, много и интересно с нами говоривший, повёз нас на машине к источнику преподобного Серафима. Выстроена на берегу речки деревянная часовня, сделана как бы запруда, а на горе на берегу, из места, где бьёт источник, поставлен крест. Вокруг снег, лёд, скользко, но народ идёт к кресту и запруде самый разный: тут и военные, и крестьяне, вот и наша группа вполне смешанная, из московской интеллигенции, с эмигрантами из Парижа. Сама не помню как, но решение окунуться в воду с головой пришло ко мне мгновенно. Даже не раздумывала. Разделась донага, по мосточкам спустилась и три раза с головой окунулась; странно, что выходить было совсем не холодно. Никита последовал моему примеру, он не колебался ни секунды.

Потом нам сказали, что температура воды в источнике круглый год плюс четыре градуса. Уже когда прошло время, совсем не сразу, появилось ощущение настоящего очищения. Тяжесть душевная, горечи, обиды, да и прочая накипь и окалина нашей жизни, свинец нашей цивилизации, который грузом к земле тянет — всё ушло. Появились радость и лёгкость почти детского счастья, о которых мы успеваем позабыть за годы наслоений человеческой бытовой копти. И как захотелось, чтобы длилось это состояние долго, всегда,

по возможности не заслонялось бы суетой сует. Как это сохранить? И как пронести это через годы?! Видимо, только большим постоянством в молитве, чтением духовных книг, хождением в церковь мы можем удержаться поплавком на зыбкой поверхности нашей грешной жизни. Живём мы все на пространстве «цивилизации» от России до Запада и обрастаем, как коконом, суетой. Себя могу сравнить с Гулливером, которого приковали лилипуты и дёргают за ниточки, а ниточка каждая к нерву привязана. И вот их сотни, этих лилипутиков, тянут, а сил уже нет освободиться от этих пут. Ощущение прикосновения к неземной прозрачности заполнило меня всю после этого омовения, трудно даже понять сразу, что с тобой произошло. По возвращении, только даже не в Москву, а в Париж, я почувствовала, что многие из этих струн-ниточек оборвались и лилипутики разбежались, тяжесть стала меньше, не так страшно на душе. Велика милость Господа, и видимо, то, что мы оказались с Никитой в Дивеево, есть результат не слепого случая, а, скорее, закономерность, которую мы поняли не сразу. К преподобному Серафиму, как известно, приходили люди за помощью, молитвами, просили избавлений от болезней душевных и телесных, но были люди, которые посещали его из простого любопытства и с малой верой в Господа. Известен и описан случай с генералом, который, весь увешанный орденами, важный, надутый, верящий только в свою силу, авторитет и власть, был принят прп. Серафимом. Вышел генерал через полчаса беседы потрясённый, вынеся все свои ордена в фуражке, а от прежней важности не осталось и следа.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную», — звучало всюду в Дивеево. С этими словами молитвы на устах монашенки приглашают нас к трапезе, на прогулку по канавке, дарят подарки. Монахиня Люба, по послушанию работающая в дивеевской гостинице, бурятка, милая, улыбчивая, добрая зовёт нас к трапезе с этой молитвой. Показывает нам заснеженный сад и огород, здесь выращивают в теплицах помидоры, огурцы и... цветы, которыми украшены круглый год храмы и иконы. Нас задарили. Здесь и книги, и сухарики, высушенные в чугушке преподобного Серафима, просфорочки с его изображением, масло из лампадки для по-

мазания, земля из глубины канавки, вырытой вокруг монастыря. По преданию, Сама Царица небесная стопочками Своими прошлась по этой земле и указала границу — «обвод» монастыря. А сам старец Серафим чудным образом показался здесь с мотыжкой и начал копать эту канавку. Подаренная нам земля из глубины, а не из поверхности канавки, что означает — из глубины столетий, веков не земных. Мотыжка прп. Серафима сохранилась, монахини вынесли нам, мы целовали её и молились. Нас окружил народ, кто случайно оказался рядом, все пришли в волнение, крестились, молились. Глядела я мотыжку, и странное чувство удивления и чуда меня охватывало: как этот предмет уцелел, как он остался неистреблённым за все эти страшные богоборческие годы в России? Впрочем, как и огарочек той свечи, который сохранился, и сбылось предсказание прп. Серафима... и многое ещё сбудется.

Нам приходилось сдерживать своё любопытство, а удивляло многое. Хотелось посмотреть, как мать Ирина пишет иконы (да поняла я, что этого просить нельзя), а они замечательные; мы их увидели в церкви Рождества Христова, той первой и самой древней; по предсказанию, в неизвестно какое время будет сюда перенесено четверо мощей. Здесь читают день и ночь Псалтырь, горит неугасимая свеча и лампы. Мать Ирина, как нам рассказала матушка Игуменья, держит себя постом и старается в полном одиночестве, только с молитвой наедине, писать иконы. «Сама не знаю, как моя рука кистью водит, будто это и не я сама, а сам Господь Бог иконы выписывает». Может быть, я не совсем точно помню её слова, но смысл был именно таким.

Нас повели на «экскурсию» по территории монастыря, к святым могилам, вокруг по канавке, к святым мощам преподобного Серафима. Для нас их открыли (велика милость Божия!) и мы смогли помолившись, приложиться к ним. Водила нас монахиня Ольга, молодая, светлая лицом, замечательно обо всём рассказывающая.

Я пыталась многое запечатлеть на камеру. Но и впрямь пыталась, ничего из съёмок не получилось. Чувство, что невозможно запечатлеть в памяти машинного нутра всё, что мы видим, не оставляло меня. В какой то момент моя камера остановилась, батарейка

кончилась, и получилось, что из всех двух дней наснимала я всего двадцать минут. Дважды мы шли по канавке. Первый раз ночью, после службы, снег, морозец, луна светит, и процессия из монашек с молящимися, а вокруг нас бегают несколько собак «из свои», живут они при монастыре, охраняют от тех, что живут рядом, но не принимают Дивеева. Удивительно, что каждый раз, когда на нашем пути попадались люди посторонние, эти собачки начинали отгонять их лаем, и собак из соседних домов не пускали в свою стаю.

Днем монахиня Ольга повела нас по той же канавке. Деревья уже полуторовековые, посаженные после смерти прп. Серафима, а значит, после 1833 года. Они, как стражи дня и ночи, веками стоят по всему кругу границы монастыря вдоль по канавке. Поразила меня лиственница, посаженная в день рождения наследника, царевича Алексея. Ствол её оттого, что люди отдирают кору на память, стал в этом месте цвета запёкшейся крови. Если подумать, что этот красный цвет для наследника уже был знаковым с самого рождения, и ещё до всего Паша Саровская пророчица, к которой приезжали Государь и Государыня, выносила им «красный лоскут» с объяснением, что это означает, что ждёт в будущем наследника, который должен появиться на свет. Тут и его болезнь крови — гемофилия, и символ красного знамени большевиков, и красный террор, и убийство всей семьи Государя.

У нас в доме в Париже висит маленький гобеленчик. Именно его мне удалось спасти (а может, он меня охранял и помогал?), когда я уезжала навсегда к Никите. По рассказам моей бабушки, попал к нам в дом этот гобелен из спальни наследника Алексея. Ничего особенного в сюжете этой вышивки нет: сидящий под деревом человек, в шляпе и собака рядом. У гобелена два цвета, бело-серо-пепельный, из которого вышит весь пейзаж с человеком, а небо над этим мёртвым цветом — багрово-красное, зловещее.

Вот и наступил наш день отъезда. Все в монастыре готовились к Рождеству Христову, гости и паломники прибывали каждый день. Нам повезло, что мы приехали немного раньше и оказались в срав-

нительно малочисленной толпе. Матушка игуменья распорядилась, чтобы нас с оказией подвезли в Арзамас к поезду. Шёл маленький монастырский автобус, мы со всеми попрощались, и нас буквально упаковали в плотно забитую машину. Кроме нас четырёх, в ней оказались молчаливая девушка лет пятнадцати, средних лет монашка из Рижского женского монастыря, приехавшая с гостинцами к празднику, странный хлопотливый дедушка, шофёр и рядом с ним молодой человек. Монашка из Риги привозила в Дивеево подарки, думала возвращаться налегке. Да ей самой в обратную дорогу давали гостинцев не меньше, был даже запечённый кабанчик в тесте. Как выяснилось из разговора, который сразу же и естественно завязался, старичка величали «батюшкой», но был ли он таковым, для меня остается загадкой. Он и сопроводивший его молодой человек тоже заезжали в Диевский монастырь с подарками к Рождеству и ехали дальше, а потом ещё дальше, и предстоял им большой объезд к праздникам. Батюшка был говорлив, поначалу мне даже показалось, что он немного «навеселе», его монолог привёл к интересному повороту в общей беседе. Из рассказов прояснилось, что когда-то он был автомехаником, а потом стал дьяконом. Основное место его пребывания — Ульяновск, но он любит передвигаться, ездит по монастырям, выполняет просьбы.

Слова батюшки, обращённые в темноте и тесноте машины как бы ко всем и к себе самому, размышления вслух, так же как и у нашего первого шофёра, вёзшего нас в Дивеево, были на редкость интересны и разнообразны. Он не знал кто мы, откуда, внутри машины было не разобрать лиц, одеты мы были как все, просто, поэтому бояться или контролировать свою речь ему не надо было. Совершенно естественно рассказ его с восстановления монастырской жизни перешёл к предыстории, к разрушению храмов, Саровской обители, Сарова и ещё сотен скитов разорённых и разграбленных при советской власти. Батюшка не по-дьяконски ругался и проклинал «хозяев» страны, арзамасских атомщиков, сетовал на бедность и отсталость в Ульяновске.

— А как там, памятник «копчущке» (Ленину), всё стоит? — спрашивает Никита.

— А куда же ему деваться, стоит, — отвечает батюшка.

— А улица Водников, а улица Рылеева... не переименовали?

— Всё на месте... — бурчит дедушка.

— Ну, а памятник Карамзину, всё там же, в Карамзинском садике? — допытывается Никита, — А овраг в центре города? А на месте ли река Свяяга? — вопросы сыпались один за другим.

В темноте не было заметно, переменялось ли лицо у батюшки от вопросов, задаваемых странным картавым голосом из глубины машины, с совсем не советской манерой разговора. Он смутился на секунду, но вида не подал, что такой странный господин знает топографические подробности о городе Ильича. Никита был удивлён такому повороту в разговоре больше, чем сам старичок. Разговор переносил его в другое время. После возвращения его с семьёй в СССР из Франции в 1948 году, а ему было тогда 14 лет, их как бы сослали в Ульяновск. Никита, молодой парижанин, пошёл учиться в вечернюю школу рабочей молодёжи и работать токарем на завод, в ночную смену. Отца, вернувшегося на Родину с иллюзиями и мечтами быть ей полезной, двумя Сорбонскими дипломами, арестовали здесь же в Ульяновске в 1949 году. После Сопротивления, пыток в гестапо, Бухенвальда, Игорь Александрович Кривошеин оказался в тюрьме и лагере с обвинением в измене Родине.

«Будь ты проклят, Ульяновск!» — эти слова от Никиты я слышала часто. Страшные полуголодные годы, полные страха за жизнь отца, неизвестность его местонахождения после ареста. Никита присутствовал при аресте отца дважды. Один раз это было гестапо в Париже, второй раз в Ульяновске. Безысходность, болезни Нины Алексеевны, постоянный страх, что придут и за ними в любой момент.

Батюшка продолжал говорить: «А когда этот вампир маленьким был, ведь никто в Симбирске из детей с ним играть не хотел, все его боялись. Он злой был. Драться любил, животных мучил, кошек вешал... посмотрите, ведь памятники ему ещё по всей России стоят.

Плохо это! Пока они стоят, этому антихристу, ничего хорошего не будет в стране. Кровушку этот вампир бронзовый у народа до сих пор выпивает, он от этой крови крепчает, наливается...»

Почему так случилось, что надо было приехать Никите за несколько тысяч километров, чтобы в тесном чреве машины на заснеженной дороге услышать голос, который, как бы даже не к нему обращаясь, возвращал его в третью треть пережитого? Главной темой ненависти дьякона было детство Ленина. Он сыпал подробностями, о которых лично я никогда не слыхала. Подозреваю, что многое, как всегда в таких случаях бывает, обросло народной легендой, но, скорее, в противоположность к добрым рассказам о дедушке Ленине и кудрявом «мальчике-ангеле», глядящем со значка октябрёнка. Видимо, сам рассказчик здорово в жизни натерпелся от советской власти, сдержаться он не мог, заснеженные поля по которым мы ехали, отделяли Никиту от Потьмы всего несколькими километрами. В 1957 году Никита был арестован, почти год одиночки, потом Дубравлаг. В какой несчётный раз на краю смерти сохранилась семья Кривошеиных молитвами преподобному чудотворцу Серафиму Саровскому? Через все испытания, аресты, обыски, лагеря, эмиграции и реэмиграции хранится в семье медальон с частицами мощей (власов) святого Серафима. Прислан этот медальон был Государыней в 1918 году из Тобольска в благодарность за помощь Александра Васильевича Кривошеина (деда Никиты), которую он оказал Государю Императору и его семье.

Начинался и заканчивался наш путь в Дивеево странно...

Мы вернулись во Францию, к себе домой, и через несколько дней я увидела сон. Будто раздался звонок в дверь нашей парижской квартиры. Мы всем семейством сидим за столом, на нашей кухне и ужинаем. Я иду открываю дверь, на пороге с опущенной в смущении головой стоит мой отец. Он подымает глаза, они полны слёз и при этом он виновато улыбается. Потом его тело отрывается от земли и как бы переплывает в нашу квартиру, потом на кухню. У него маленький детский чемоданчик в руках, и одет он в незнакомое мне серое пальто.

«Ну вот, теперь я могу быть с вами...» — произносит он, и меня выбрасывает из сна. Я проснулась и почувствовала, что моему отцу сейчас хорошо, что, может быть, мои молитвы были Господом услышаны, и у отца душа сейчас кротка и успокоена. И показалось мне,

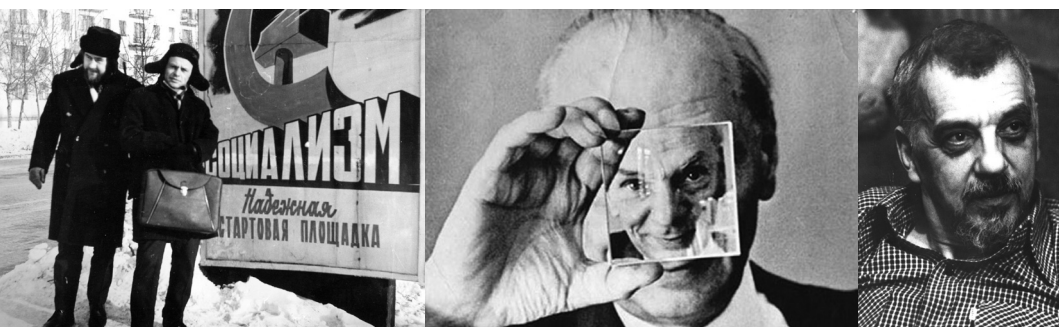
что, там, на неведомом нам Свете, он нашёл самого себя и очистился от всего страшного, что терзало его душу всю жизнь.

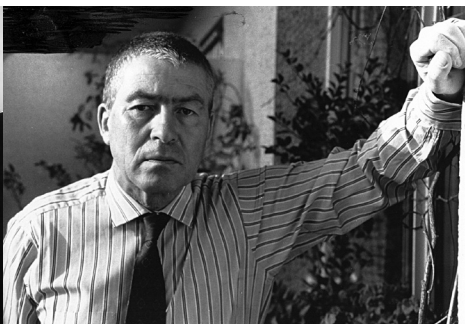
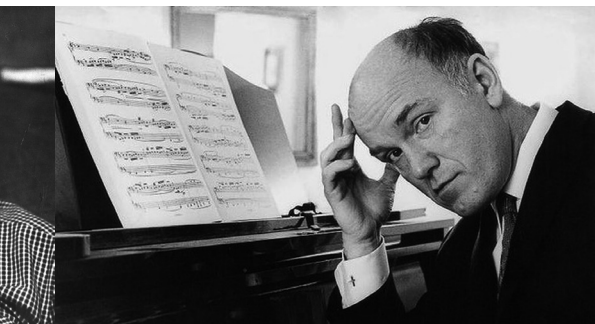
Милость Божия велика. Господь сподобил меня прикоснуться к великой Дивеевской святыне, мы помолились о прощении грехов наших. Путешествие многое поставила на свои места, всколыхнуло воспоминания, кровоточащие раны успокоились. «Слава тебе, преподобне Серафиме! Радуйся, душ смятенных умирителю пресладостный. Радуйся в бедах и обстояниях помощниче скорый. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче».

*Первое, сокращенное издание:
«Русская рулетка», журнал «Звезда», 2003 №12, СПб*

Часть 2

ИСКУШЕНИЕ СВОБОДОЙ





В 1956 году мне было одиннадцать лет. Я училась в обычной ленинградской школе-семилетке. Кстати, в первые два года я застала раздельное обучение, наша школа была «женской». Здание было старое, двухэтажное, с большим актовым залом и сценой, но учеников было немного. Когда бывали праздничные концерты по случаю седьмого ноября, то все ученики, от младших до старших, умещались в этом зале. На сцене, в глубине, висел большой портрет Сталина.

Помню, что на большой перемене младшие классы выводили в небольшой зал для прогулок, нас строили парами и мы на протяжении двадцати минут ходили кругами. Весной нас выводили на воздух, в асфальтированный дворик, и мы тоже парами ходили и дышали, мальчишки дёргали нас за косички... Повзрослев, я поняла, что это напоминало прогулки по лагерному дворику...

Начиная с раздевалки и столовой, в каждом классе, коридоре, в кабинетах директора и завуча, на двух этажах висели портреты Сталина. Наши глаза к этому привыкли, тем более, каждый учебник начинался с его цитат.

И вот февраль. Отец непрерывно слушает радио и взволновано о чём-то шепчется с мамой. В доме с каждым днём сгущалась «некая» атмосфера, а в школе всё было по-прежнему.

Потом апрель. Однажды к нам в класс перед началом урока пришла завуч и сказала... Честно говоря, я не помню, что она сказала,

но помню как наша учительница побледнела и села на стул. Завуч вышла. А через десять минут началось нечто невообразимое. Учителька встала на стул, потом забралась на стол и сняла с гвоздя портрет Сталина. Потом она раскрыла рот и сказала: «Каждый из вас вырвет из учебников портреты с Иосифом Виссарионовичем и пойдет за мной...»

Несмотря на школьную советскую муштру и дисциплину, все мы были дети. Это была как игра и мы довольно быстро освоившись весело стали вырывать страницы.

«А теперь пойдём в актёрский зал» — пролепетала учителька.

В коридорах уже происходило нечто невообразимое, стоял гвалт, никаких «парных променадов», все от мала до велика, с первого до второго этажа, несли портреты Сталина в актёрский зал.

На сцене возвышалась довольно большая пирамида. К главному портрету были приставлены стремянки и рабочие с молотками и какими-то крючками сдирали генералиссимуса... Они были хмурыми.

Я была поражена контрастом: ребята наваливали пирамиду, некоторые забирались на неё и весело по ней прыгали, а учителя несли портреты молча, многие плакали.

Потом актёрский зал закрыли, нас отпустили домой.

Через несколько недель пустоты на стенах были заменены на портреты Ленина и лозунги...

ЗАМАНЕННЫЕ СТАЛИНЫМ

У русского человека с исторической памятью всегда было что-то не так. Периодически мы страдаем приступами амнезии, искажением и умолчанием, частенько впадаем в расслабленное состояние любви к садисту или террористу. Можно сказать, что у русских коллективный стокгольмский синдром налицо. В послевоенные годы французская компартия и левая интеллигенция полюбили не только Ленина и Мао, но и Сталина. Как всякий диктатор, он обладал гипнотической силой не только над «своим» народом, но и вселил парализующий страх половине мира.

В 2003 году Франция готовилась к 50-летию смерти Сталина.

Телевидение, газеты, журналы вспоминали события, историки и социологи объективно осветили заблуждения и эйфорию «французских левых» тех лет, а в Парижском издательстве «Бельфон» вышла книга «Заманенные Сталиным». Книга написана репортёром-журналистом Никола Жалло, который приехал в Россию в 2001 году снять фильм о французах и русских эмигрантах, добровольно приехавших в СССР после второй мировой войны и так и не сумевших вернуться обратно во Францию.

Николя Жалло снял очень интересный фильм, до него ни в России, ни во Франции эту тему не изучали. По ходу своих многолетних приездов в Москву, поисков живых свидетелей тех лет, он писал путевые записки, многие звуковые интервью не могли вой-

ти в фильм, поэтому он решил издать книгу. Авторами её являются сами персонажи фильма...

Во Франции, как ни в одной стране Европы, левая «прогрессивная» интеллигенция обожала Сталина. В 1949 году ко дню его семидесятилетия при участии Поля Элюара, композиторов Пьера Венера и Жозефа Косма, знаменитого поэта и писателя Луи Арагона был сделан фильм «Человек, которого мы больше всего любим». Документальная кинохроника переносит нас в послевоенную Францию, голос Элюара за кадром (со знакомой нам интонацией «счастья») рассказывает, как в среде рабочих, крестьян и интеллектуалов готовятся подарки «самому любимому из всех людей».

Вот нормандские крестьяне связали сотни шерстяных носков, выточили из дерева сабо и игрушки, а рабочие из цветного металла отлили мишек и сверхурочно упаковали сувениры в посылки. Школьники и учителя, крестьяне и рабочие написали десятки тысяч писем и поздравительных открыток, наклеили их в альбомы, а кое-кто написал стихи и музыку. И всё это для любимого товарища Сталина! Перед нами возникает Морис Торез на фоне огромного портрета Сталина в до отказа набитом зале перед восторженными слушателями-коммунистами, он произносит зажигательную речь во славу «великого кормчего». Зал аплодирует стоя, на глазах слёзы радости и умиления...

Несмотря на то обстоятельство, что этот чёрно-белый фильм снят во Франции, начинаешь себя немножко пощипывать и думать, не сошёл ли ты с ума. А может быть, это всё театральная постановка, и какой-то гениальный французский Эйзенштейн нагнал массовку со всей Франции и сляпал заказную пропаганду? Нет, всё так и было, и всё это правда.

На президентских выборах в мае 2002 года Франция, наконец, избавилась от социалистов и коммунистов. Последующие парламентские выборы окончательно провалили «левых», так нам в начале двадцать первого века казалось. Виражи истории и экономические тряски во всем мире опять привели социалиста Олланда управлять страной. Долгие десятилетия страна жила диктатором

социалистической цензуры, редкие издательства позволяли себе печатать критические исследования о стране Советов. В 1997 году в издательстве «Робер Лафон» вышел увесистый том «Чёрная книга коммунизма» (она была потом издана и в России) о терроре и лагерях в СССР. Голос А.И. Солженицына с некоторых пор стал менее одиноким, а лоск и камуфляж французских левых стал заметно тускнеть.

Исторический фильм во славу Сталина был показан на просмотре в Париже до основной ленты Никола Жалло. Устроители вечера задумали это как контраст к фильму «Заманенные Сталиным» (производство студии «Амперсанд»). Авторы фильма — режиссер Никола Жалло и его напарник Кзавье Делё в течение двух лет колесили по просторам России и снимали фильм. В тему они входили постепенно, не подозревали, какие трагические судьбы встретятся на их пути. Они нашли выживших в лагерях русских французов и просто французов, которые после войны по заманке «Человека, которого мы больше всего любим» на гребне той мистической эйфории и желания принести пользу своей родине, а порой веря идеям равенства и братства, оказались добровольно в 1946–48 годах в СССР.

Русских эмигрантов, поверивших, клюнувших на сталинскую пропаганду было очень много, несколько тысяч. Первая волна была ещё до войны, в тридцатые годы, потом вторая волна возвращенцев после войны и третья в 1956–57 годах. Кто-то ехал по зову крови, кто-то страдал ностальгией, кто-то по эмигрантской неустроенности, были французские жёны, мужья и французские коммунисты... Ехали семьями, а оказавшись в СССР, многие не добрались до места назначения. По пересечению границы их грузили в зарешёченные телячьи вагоны и прямиком отправляли в лагеря, в лучшем случае в ссылку. Все документы сразу отбирались, в обратную сторону, даже если сразу соображал, в какую западню попал, отъезд был «заказан». Кто-то выжил, приспособился, выучил язык, кому-то чудом удалось остаться незамеченным НКВД, кто-то погиб...

Уговоры и предупреждения перед отъездом, что СССР усеян лагерями, как оспой, на них не возымели действия, им гово-

рили, что они едут на верную гибель, но они затыкали уши. Ведь «Человек, которого мы больше всех любим» был главой страны-победительницы, он объявил амнистию эмиграции, открыл церкви, вернул погоны офицерам, распустил Коминтерн, произнёс тост за великий русский народ, а главное — он объединился с Черчиллем, Рузвельтом и генералом де Голлем против Гитлера.

Рёне Вианше-Соклакова, Нина Базилина, Глеб Ратинский, Люси Брюссель, Никита Кривошеин, Алексей Сосинский, Ольга Вишневская и другие... это всё действующие лица и исполнители фильма Никола Жалло. Время телевизионной ленты ограничено пятьюдесятью двумя минутами, некоторые персонажи остались за кадром, но они продолжают свои рассказы на страницах одноимённой книги «Заманенные Сталиным». Послесловие к ней написано Никитой Кривошеиным. Он родился в Париже, а в возрасте четырнадцати лет вместе с родителями оказался в Ульяновске. Отец его, блестящий французский инженер, герой Сопротивления, узник Бухенвальда и Дахау, был арестован в Ульяновске по возвращению в 1949 году, а в 1957 Никита сменил его на нарах.

«Представим себе, что Вторая мировая война закончилась иначе, и рейх вышел победителем, что, конечно, страшно себе представить и не хочется об этом даже думать. Но если бы это было так, то можно допустить, что такие представители немецкой элиты, как Брехт, Ремарк, Марлен Дитрих, Томас Манн, добровольно и с радостью вернулись бы на родину в Германию. Не правда ли, выглядело бы несуразно и парадоксально?! Но именно так произошло с русской эмиграцией, вернувшейся в сталинскую Россию...». (Никита Кривошеин, отрывок из послесловия)

По зову Сталина молодая француженка Рёне Вианше, приехала в СССР с русским мужем, пожилой матерью и двумя детьми. Как только они пересекли границу в 1947 г., у неё отобрали все документы. Зная по-русски несколько слов, с малолетними детьми (муж её сразу бросил) она оказалась в колхозе. Мешая русскую речь с полузабытым французским, она рассказывает, как долгие годы пыталась вырваться обратно в любимую Францию, какую ненависть она испытала со стороны сельчан и какие препоны ей ста-

вила администрация Курска. Однажды каким-то чудом одно из её писем с призывами о помощи попало во Французское консульство в Москве, но чиновники решили не осложнять дипломатические отношения с Советами и положили письмо Рёне Вианше под «сукно». Десятилетия она была окружена одиночеством, недоверием и враждебностью. Слушая рассказы «заманенных», понимаешь, что они, как, впрочем, и миллионы других, были подсобным материалом в дьявольской игре «человека, которого любили больше всех».

«Без суда и без закона, он убил три миллиона, и его живые полюбили» — так пели блатные в советских лагерях, а когда «он» сдох в пятьдесят третьем, то во всех церквях СССР служили длинные панихиды.

Россия казнила своих монархов, уничтожила сословия, а класс рабочих и крестьян превратился в советскую «элиту». Ну, кто был принят в это элитарное поднебесье, мы всё помним.

Генетика всей страны была изменена расстрелами, эмиграциями... На смену постепенно пришли те люди, которые выжили. А кто выжил? Разные люди...

Мне повезло, в нашей семье, как говорили, «никто не пострадал». Но клещи и крючок КГБ сильно держали над нами власть, а страх и работа на «органы» были массовыми в СССР. Кстати, некоторые считали доносительство «своим долгом» и с радостью «выявляли», но были люди и совестливые — такие страдали, спивались, сводили счеты с жизнью.

Наверное, необходимо вспомнить, отчего мы все так радовались и надеялись (уже в который раз!) что лёд тронулся и почему эта маленькая свобода в несвободной стране нас так воодушевляла. Я хочу вернуться в сороковые послевоенные, когда ещё раз смертельно запугали интеллигенцию, закрутили гайки, и сталинские цепные псы стали ещё более голодными и ненасытными.

После войны, в которой СССР был страной победительницей, для Сталина возникли много неприятных проблем. Мы победили, но не одни, а вместе с дружественными нам странами и не без их

помощи, которая сводилась не только к американской тушёнке и пилотам из «Нормандии Неман».

Для Сталина передел Европы и налаживание послевоенной жизни сулили неприятности, ведь народ победитель пересёк границу и на освобождаемых территориях увидел, как живут европейцы. Контраст с уровнем жизни в СССР был колоссальным! Это был психологический, нравственный и политический удар в поддых миллионам воевавших людей, несмотря на то, что они были победителями в этой войне. Это была головная боль для Сталина, он чувствовал, что необходимо что-то предпринять. Нужно было или дальше дружить с «фронтовыми товарищами», а, следовательно, менять свою шизофреническую, убийственную политику изоляции СССР, или придумать так, чтобы с друзьями по оружию размежеваться навсегда.

Образование в 1948 году государства Израиль вызвало поначалу взрыв национальных чувств у советских евреев. Сталин сразу понял, к каким последствиям это может привести. В те же годы началась развёрнутая кампания против Еврейского Антифашистского Комитета, распущенного в конце 1948 года и так удачно отрежиссированная борьба с «безродными космополитами», в лице которых народ получил «козлов отпущения».

В те первые послевоенные годы Константин Симонов дал согласие выступить на собрании советских писателей в связи с постановлением ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»» от 14 августа 1946г. В его выступлении прозвучали слова «литературный подонок», относящиеся к М. Зощенко. Якобы Симонов потом всю жизнь раскаивался и стыдился своих выступлений, но слова не птица, и даже позже они звучали так: «Надо до конца расчистить дорогу от путавшихся под ногами врагов советской драматургии. Преступная работа этих людей, находящихся вне пределов советского искусства, разоблачена партией и партийной печатью» («Правда», 27–28 февр. 1949 г.). А. Ахматову, М. Зощенко и Б. Пастернаку надолго перестали издавать, и для того, чтобы не умереть с голода, Анна Андреевна стала заниматься подстрочными переводами с корейского.

В том же 1946 году постановлением ЦК ВКП (б) от 26 августа «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» была крепко прижата театральная драматургия и литература.

Под эту компанию советские авторы начали фабриковать идейные и патриотические пьесы (будто до этого они их не писали!). Для их признания и одобрения театральные критики строчили рецензии, но видно плохо и не достаточно ура патриотические, а потому, в декабре 1948 года состоялось собрание драматургов, на котором руководитель Союза советских писателей А. Фадеев подвергся критике народа и «низов». На собрании говорилось о невыполнении писателями, драматургами и критиками постановления «о репертуаре». Сам Сталин позвонил Фадееву, после чего тот смертельно испугался и перешёл в наступление.

В вышедшей из-под пера Фадеева статье говорилось: «В театральной критике сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала «Театр» и газеты «Советское искусство». Эти критики утратили свою ответственность перед народом; являются носителями глубокого отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят её движение вперёд. Им чуждо чувство национальной советской гордости». Далее следовали фамилии «безродных космополитов»: А. Гурвич, Ю. Юзовский, Г. Бояджев, А. Борщаговский, Я. Варшавский, Л. Малюгин и др. Спустя несколько месяцев в прессе появилась статья, где вышеназванные люди назывались уже «ядром большой группы антипатриотов». Заметим, что это была репетиция подготовки к «делу врачей», а потому и фамилии «космополитов» были все как на подбор.

Кампания, начатая Сталиным и Ждановым по борьбе с «безродным космополитизмом» сводилась к выявлению евреев как агентов Америки и соучастников заговора против СССР, и, как видно из приведённых выше строк, к беспощадной борьбе с преклонением интеллигенции перед Западом. «Ответственность перед народом писатели утеряли», нужно было быстренько восстановить свою честь, а потому вскоре в «Правде» появилась статья, подписанная,

как всегда в то время, коллективом авторов. Это были сотрудники газеты: В. Кожевников, Д. Заславский и цвет Союза писателей: А. Фадеев, К. Симонов, А. Сафронов.

Сочинённый текст был ужасен, и за ним стояли люди, которые понимали, что подписывают приговор сотням своих коллег. Газета «Правда» настаивала, что театральные критики известной национальности «являются носителями глубокого отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма... Надо решительно, раз и навсегда, покончить с либеральным попустительством всем этим эстетствующим ничтожествам, лишённым здравого чувства любви к Родине и к народу, не имеющим за душой ничего, кроме злопыхательства и раздутого самомнения. Надо очистить атмосферу искусства от антипатриотических обывателей...»

Нужно добавить, что кино, которое было массовым видом искусства, находилось под особым патронажем Сталина, а потому выставлять идеологические недостатки в этой области было трудно.

Этот маленький экскурс в историю тех лет нам всем полезен, и страдать амнезией не следует. Страшные слова, позорные подписи, закручивание гаек... Искусство, обращённое на службу «народу», сведенное к борьбе с «формализмом», пережившее своего создателя, товарища Жданова, посеяло надолго (до наших дней!) семена ненависти и страха перед Западом. Когда после Герасимова «наследником престола» Академии художеств стал В. Серов, (он же Раппопорт), а в Эрмитаже готовился возврат третьего этажа импрессионистам, Серов выступил с громовыми статьями, обвинив несчастных Матисса и Манэ в пресловутом формализме.

Хочу напомнить и о том, что обвинения в «космополитизме» были прерогативой не только деятелей искусства. Профессор МГУ Н.С. Акулов, известный специалист по цепным реакциям, второго февраля 1949 года выступил с заявлением: «учёные, вернувшиеся к нам из-за рубежа, вносят чуждые нам настроения, ориентируют нашу молодежь не в направлении решения задач, стоящих перед нашей Родиной, перед страной социализма, а в направлении решения задач, интересовавших иностранные научные и ненаучные организации, в духе чуждых нам идей космополитизма, от которых

только один шаг до явного предательства интересов нашей Родины». Далее говорилось, что «не отвергая отдельных научных заслуг этих учёных, в то же время со всей определённой и большевистской смелостью и настойчивостью нужно выкорчевать и устранить вредное влияние антипатриотических тенденций группы физиков-космополитов».

В компанию по борьбе с «идеализмом» в физике в февралемарте 1949 г. вмешались два фактора: обострение внутрипартийной борьбы и разоблачение «антипатриотических групп». Фактором принадлежности к последним была национальность, а поскольку большинство крупных физиков были именно еврейской национальности, это было чревато такими же разгромами, как и в искусстве.

В мае 1948 года П.Л. Капица написал письмо А.А.Жданову против политики изоляции советской науки. В качестве аргумента он использовал биологическую аналогию, напомнив, что «в природе вырождается всякий род, который скрещивается только с самим собой!»

Если разоблачительный XX съезд КПСС интеллигенция и студенчество восприняли с энтузиазмом и ждали настоящей демократизации общества, то большинство народа и, особенно, верхушка ЦК с ужасом выжидали дальнейших действий. Вопреки ожиданиям десталинизация породила в обществе растерянность и непонимание происходящего. Этот конфликт поколений, помнящих революцию, прошедших войну, культ Сталина, до сих пор держит Россию в тисках, не даёт распрямиться стране до конца и совершить суд истории над большевиками и КПСС. Решения XX съезда, развенчание Сталина дорого обошлись Хрущёву. Многие простые люди не верили ему, считали, что это был «наговор», а сейчас история повторяется: вспоминают Горбачёва недобрым словом за развал СССР, Ельцина за «демократию» — слово ставшее ругательным, а Путина хвалят за возврат к патриотическому прошлому и ностальгию по СССР. Вот каким странным топтанием на одном месте мы избавляемся от культа Ленина–Сталина, выходим из своего детства и опять тоскуем по СССР.

Другое дело, что распад страны Советов принёс головную боль всему миру, а её гражданам и подавно.

Казалось, что СССР будет жить вечно, а потому чувства сидения на чемоданах, как у первой эмиграции, у «третьей волны» — не было. Мы уезжали навсегда, старались забыть свою Родину и прижиться в новой. Слово «ностальгия», так лелеянное первой эмиграцией, было позорным словом. Если она и терзала по ночам, то за бутылкой «Бордо» и «Столичной» об этом не признавались. Да и сама мать-Родина сделала для нас всё возможное, чтобы отравить воспоминания о ней. Интеллигенция третьей волны в основном осела в Париже и Нью-Йорке.

Тем, у кого были соответствующие фамилии, помогли всяческие «каритасы» и «лобби», талантливые пробились без них, кто-то спился и покончил с собой... Пожалуй, единицы сумели выставляться, писать, жить со своего таланта или переучившись приобрели специальность, остальные до сих пор сидят на пособиях для немущих, некоторые после распада СССР стали возвращаться назад. Из среды нехудожественной есть и такие, кто нашёл в себе силы и приобрёл специальность, а потому растворился, как сахар в чашке французского кофе, кто-то остался самим собой на Брайтон Бич, а кто-то стал «новым русским». Всему этому массовому исходу из страны было много предпосылок. О них я не хочу рассказывать, зачем мне повторяться за исследователями и действительно знатоками «третьей волны». Скорее, мне хотелось вспомнить те 50–70-е, в которых я жила и хорошо знала художественную среду. В те годы я встретила со многими интересными людьми, потом мы опять увиделись в эмиграции.

Тогда казалось, что русские, попавшие на Запад, были уже подготовлены к встрече с ним. Из шестидесятников воспитались «работники культуры» третьей волны, которые задавали тон по «голосам», писали в «Русских Мыслях» и «Словах». Ведь с хрущёвской оттепелью многое для нас стало доступно, и наши сердца, мысли и души, как губка, впитывали новое и запретное. Кроме пошлейшего соцреализма, которым нас пичкали двадцать четыре часа в сутки, стало возможным посмотреть фильмы Феллини, Антониони, Куро-

савы, (правда, на закрытых просмотрах), можно было пролистать «Плейбой» и «Русскую мысль» (их, как и Библию, тайно провозили через границы, и риск был огромный!), через заглушки мы слушали вражьи голоса (почти к концу 70-х без страха, что настучит сосед по коммуналке), мы узнали, что такое джаз, Элла Фицджеральд и Армстронг (покупая пластинки по бешеной цене у фарцовщиков), мы, как весь мир, стали танцевать твист и рок, можно было по моде одеваться (отдавая за поношенные джинсы непомерные цены в рублях), можно было вкусно и недорого поесть в ресторане, интересно поспорить о политике на кухне с друзьями, поругать Брежнева и некоторым счастливицам съездить за кордон... Наша серая жизнь стала заполняться оазисами счастья.

Помню, как первые художники, начала 60-х, побывавшие в составе спецгрупп в Англии и Италии, (сначала нужно было пройти проверку на «вшивость» через соцблок: Болгария, потом почему-то Финляндия). Приезжая из этих поездок, народ почти ничего не рассказывал о своих впечатлениях. Не решались высказывать восторгов даже друзьям. «Ну, как там? Что видели? Расскажите!» Но эти вопросы чаще всего оставались без ответа. Я вспоминаю реакцию одной умной и талантливой художницы, которая впала в долгую депрессию после возвращения из Англии в Ленинград. Она перестала выходить из дома и запила горькую. Этот «другой мир», шок от увиденного: свобода людей (даже в выражении глаз), раскованность отношений, изобилие товаров, ухоженность полей и лесов, незаплёванность подъездов (даже моют!), ночная жизнь городов, театры, кафе, книжные магазины, музеи! В общем даже самому последнему зашоренному «искусствоведу в штатском», после двух дней пребывания становилось ясно, что ты попал на Луну и лунный пейзаж тебе милее страны Советов. «А как нам вдали, что у них дохнут все с голоду?!» — это была реакция одиночек по возвращении домой.

Конечно, большинство не делилось впечатлениями. То ли друзей боялись, то ли себя не хотели расстраивать: чего зря вспоминать, поскорей бы забыть. Для тех из нас, которые жили с оглядкой, со страхом в душе, с рабским, унижительным самоотречением и с надеждой

поехать ещё разок, восторженность чувств была равносильна приговору стать «невыездным». Как и во имя чего достигались эти поездки, успехи, награды, мастерские и гонорары в СССР, мы знаем. Как распределялась работа в «худ-лит-фондах», кого печатали издательства и чья музыка исполнялась — «дирижёр» был один для всех.

Но ведь и эти заграничные «полёты на Луну» были малодоступны и не всех пускали, а приставленные к группам «искусствоведы» и доброхоты строчили на недисциплинированных и нелояльных доносы в Парткомы.

Перечисление поблажек и «конфеток», которыми жила интеллигенция тех десятилетий не ограничивается списком малого счастья. Оно было как океан по сравнению с тем, в каком беспросветном унижении, темноте и оболванивании жил остальной «простой» народ. Уже в 30–40е годы Сталин посылал «слуг культуры» за рубеж, хорошо оплачивал их творчество и велел привозить в СССР соскучившихся по берёзкам русских. Чаще всего для этих несчастных «заманенных Сталиным» возвращение на родину кончалось посадкой, расстрелом, в лучшем случае высылкой. Не нужно забывать этих посланцев и героев невидимого фронта: в тридцатые годы такую пропаганду среди эмигрантов в Париже вёл Алексей Толстой, после войны — Константин Симонов со своей женой актрисой Серовой и Илья Эренбург. А масштабная операция по выманиванию русских, проведённая Молотовым в 1946 году, и ловко расставленные капканы «ура-патриотизма» защёлкнули в свои стальные челюсти десятки тысяч русских, которые сгинули на своей Родине в лагерях.

Глотки оттепельной свободы были ограничены, и, конечно, ни в коей мере не касались трудового класса рабочих и крестьян. Интеллигенции что-то позволялось, но под контролем, и от неё требовали отработать. Постепенно время брало своё, и группы рабочих, инженеров и учёных стали вывозить в турпоездки, но напрочь было запрещено покидать Родину (кажется, на двадцать лет вперёд!), тем, кто работал в «ящиках». Но парадокс системы, её непоследовательность в благах и запретах вылились в то, что самыми прогрессивными, бойкими на язык и смелыми оказались физики–

лирики. Видимо, в силу того, что в их открытиях нуждалась страна, им, скрепя сердце, позволяли общаться с учёными Запада. Им разрешалось выезжать на симпозиумы, обмениваться опытом, ну, конечно, кое-что печатать в научных журналах и сложными путями получать жалкие гонорары в валюте (сертификаты, которые отоваривались в «Берёзке») и, между делом, шпионить. Я помню, как в те годы шумел своими концертами-джемсейшенами Ленинградский университет, читали Соснора, Кушнер и Бродский, в «Корабелке» частенько играл диксиленд (зачатки джаз-клуба), мы читали в самиздате Гумилёва, Ахматову, Солженицына... А что себе позволяли физики в Новосибирском академгородке! Безусловно, в среде учёных было гораздо больше людей «продвинутых», широко образованных, знающих иностранные языки, чем в среде творческой интеллигенции. Именно поэтому многие технари потом превратились в прогрессивных поэтов, писателей и режиссеров, как Евгений Рейн и Илья Авербах.

Система обучения иностранным языкам в школах и институтах была спрограммирована так, что при получении аттестата зрелости или диплома обычного высшего учебного заведения ты забывал этот язык навсегда. Он испарялся из твоей головы так же, как таблица Менделеева. Высшим достижением было научиться читать со словарём, сдать зачёт или экзамен, но на практике применить английский или немецкий никто не мог. Разговорным иностранным языком в шестидесятые годы владели единицы, а те, кто общался с иностранцами, говорили как глухонемые, на пальцах.

Хорошее знание иностранного языка воспринималось враждебно. Заговаривать на улице с иностранцами было запрещено, а потому люди шарахались от них (от греха подальше), домой приводить было опасно — неприятностей не оберёшься, радио слушать практически было невозможно (приёмники с короткими волнами не продавались). Простому смертному иностранный язык мог принести только лишнюю головную боль и неприятности, а потому языковой барьер был на руку всем: он обрубал нежелательные контакты и нездоровое любопытство к тому, что находилось за «железным занавесом». Так что знали языки только инъязовцы, которые

применяли его на практике, работая, в «Интуристе», на радио «Голос Родины», в журнале «Новое Время» и Министерстве иностранных дел. Справедливости ради нужно отметить, что в бывшем СССР были первоклассные литературные переводчики (дорогостоят Шекспир в переводах Бориса и Бёрнс Маршака!). Благодаря им мы могли узнать Хемингуэя, Фолкнера, Рильке, Флобера, Бальзака, Аполлинера. Список литературы длинный, а переводчиков гораздо меньше. Мой маленький экскурс в прошлое помогает сделать вывод, что в стране выросли поколения одноязычных людей, многие из которых и не подозревали, что наступит день — и они купят билет не в Сибирь, а на Запад, и только в одном направлении.

Правда, несмотря на языковой барьер, ветер перемен принес Фестиваль молодёжи и студентов. Помните, сколько тогда народилось «шоколадных» детишек? А сколько народу пересажали «за связи с мировой буржуазией»! Это я к тому, что Советы вступили на эту тропу свободы не в 1991 году, а раньше, в пятидесятые.

Да, мы очень старались в оттепельные годы обогнать весь мир (не только по надоям молока), мы читали взахлёб ночами странички самиздата, чтобы утром передать их другому, мы старались услышать в «голосах», что происходит у нас и у них. Парадокс, что именно через «Свободу» мы узнавали новости о себе. Теперь уже можно смело сказать, что вся эта наука легла на благодатную почву русской души, в результате чего воспиталось новое поколение, и именно его представители, конечно не массово, стало покидать страну. Что творилась в наших душах и сердцах? Вопрос может показаться риторическим, но никто не знал, что нас ждёт впереди, отчего многие из нас переоценили свои силы и возможности. Мы уезжали из самой спокойной и бессобытийной страны мира, вливаясь в дикий, жёсткий капитализм и свободу. Что делать с этой свободой? Хоть ведрами черпай, до дна не выпьешь, только голова болит и тошнит. Иногда я думаю, что целый пласт талантливых людей, уехавших в эмиграцию, обескровил современную Россию. Планка, которая ещё как-то держалась, окончательно упала. Утечка мозгов продолжается до сих пор, что привело Россию сегодня к чудовищной аполитичности, цинизму, пошлости и безграмотности.

Красным террором смывалась старая Россия, на смену пришла богоборческая власть: коллективизация, расстрелы, лагеря с пер-вых дней власти большевиков, Гражданская война, сталинщина и Вторая мировая... Страх сковал за все эти десятилетия русский народ. Он вошёл в наши гены, в привычку, в национальное достояние поколений и даже двадцатилетняя молодёжь несёт до сих пор на себе этот груз, состоящий из хамства, лизоблюдства и зависти. Преклонение перед Западом прошло, достоинства и уважения к нему — ноль, комплекс униженной великой нации, живущей до сих пор в обмане, выплёскивается сегодня на ближнего и дальнего. Сколько нужно положить десятилетий, пока русский человек обретёт себя, и отпадёт в нём ложный патриотизм, жажда всех съесть, показать миру «кузькину мать» и «замочить в сортире». Свобода для России обернулась тяжёлой и затяжной болезнью.

Пища духовная — её много. Книжные полки магазинов ломаются от выбора: есть детективы, сериалы, эротика и прочий глянец. А есть и умные книжки: исторические, философские, богословские. В телевизоре? Нет. Там всё не для головы, а, скорее, для желудка и того, что ниже: проститутки, наркотики, убийства, вперемежку с рекламой «лекарства» для быстрого излечения от всех болезней. По количеству мертвецов телевизор — просто супергроб. А ещё политшоу — тут я сразу телек выключаю. Вот она, свобода выбора: «зомбиящик» не глядеть, а посмотреть хороший фильм по компу.

Свобода и в том, что можешь пойти и крестить ребёнка, венчаться и панихиду отслужить, и никто тебя не вызовет потом в партком, не выгонит с работы с «волчьим паспортом». Свобода в России сегодня — не только видеть по телевизору заморские страны и «облизываться», но никто не может тебе запретить купить билет и поехать на берег Средиземного моря.

Да, Россия рванулась из отсталости в дикий капитализм, сорвала с себя «паранджу» ханжеского комсомольского целомудрия и со смесью отвращения и любопытства смотрит передачи «Окна» и «Пусть говорят». Неоформленную душу это потрясает сильно, но каждый её спасает, как может. Это и есть плата за свободу — к сожалению, запоздалую.

Как не печально, но символы имперского зла ещё не заржавели в России: бездарные оловянные Ильичи продолжают указывать правильный курс в никуда, средства массовой информации ностальгируют по культам, возрождается подобие комсомола на старых принципах, но с новыми патриотическими приманками («все кто не с нами, тот против нас»), а на шахтах, где гибнут люди, красуются пятиконечные красные звёзды. И всё-таки, мордашки русских мальчиков и девочек — как ни старайся сделать их из-под палки «нашими» — уже с другим выражением глаз. Им не нужно покидать Россию навсегда, они не узнают, что такое ностальгия, они могут учиться и работать, где хотят, и приезжать в Париж на каникулы. В общем, если в области космоса и балета Россия уже не впереди планеты всей, то, несмотря на столь существенное отставание, русская душа продолжает удивлять своей живучестью, изворотливостью и талантом не только весь мир, но даже самих себя!

РАБОТА «ЗА ШКАФ»

14 февраля 1956 года состоялся XX съезд КПСС, на котором Никита Хрущёв потряс весь мир своим докладом о разоблачении культа Сталина. Все, что творил потом Никита Сергеевич (закрытие церквей, гонения на инакомыслящих, венгерские события, «кукурузная» эпопея, целина, подавление волнений в Тбилиси и Новочеркасске и участие его самого в сталинских репрессиях), списывается и прощается ему некоторыми людьми за этот разоблачительный съезд.

Многие тогда надеялись, что критика Хрущёвым преступлений сталинской эпохи приведёт к уничтожению всевластия партии и бюрократического аппарата. Я сама помню, как простые люди стали интересоваться тем, сколько зарабатывают руководящие работники, где они живут, что едят, пьют, какие продуктовые пакеты получают, где учатся их дети и какие у них дачи за высокими заборами. Настроения низов (а по бедности все были равны) изливались в письмах граждан. Советская привычка писать по инстанции закрутилась с новой силой.

К концу 1956 года среди партийных функционеров распространились панические настроения, стали ходить слухи, что будто бы составляются списки для расправы над видными коммунистами. В это верили, потому как Хрущёв был помощником Сталина, и не под одним расстрельным делом стояла и его подпись. В декабре 1956 года ЦК КПСС распространил закрытое письмо под заголовком «Об

усилении политической работы партийных организаций и мерах пресечения вылазок антисоветских враждебных элементов». А в следующем году в своём выступлении, приуроченном к сороковой годовщине Октября Никита Хрущёв сказал, что, если кто посмеет под видом критики культа личности клеветать на товарища Сталина, который был марксист-ленинец и стойкий революционер, тому головы не сносить! Решения XX съезда, развенчание Сталина дорого обошлись Хрущёву. Многие простые люди не верили ему, считали, что это был «наговор», а творческая интеллигенция разочаровалась в «Хруще».

После XX съезда мы вступили в полосу, растянувшуюся на несколько десятилетий, негласного договора между властью и интеллигенцией: творите и болтайте на своих кухнях, что хотите, но за пределы этих стен ничего не выносите. Но «джинн» свободы был выпущен из бутылки и засадить его обратно было уже невозможно!

Тех, кто уезжал из страны (кстати, за большие деньги!), лишали гражданства, отбирали квартиры; распродавались нажитые годами предметы обстановки — люди покидали страну навсегда. Процедура оформления выезда чаще всего сопровождалась оскорбительными разборками на работе, в ОБИРе, и с «вынесением приговора» — уехать в течении пяти дней. Будущее было неведомо, некоторых привлекала устроенность родственников в стране Моисея, а кое-кто, закусив удила, хотел влиться в мировую цивилизацию и показать, на что они способны.

Эта эпидемия выезда коснулась «по инерции» многих, и тех, кто потом оказался в большом несчастье на Западе. Влившись в лихорадку «друг уезжает, а почему я остаюсь?», через пару лет человек понимал, что совершил непоправимую ошибку. Но так была устроена поганая система «свободы выбора»: назад путь был мыслим только через покаяния на экране ТВ и в КГБ. Только после 1991-го стало возможно сохранить свое гражданство, нажитое имущество и даже пенсии.

* * *

В начале семидесятых Советский Союз стал отторгать деятелей искусства. Художники, писатели, музыканты поодиночке, а потом

и массово эмигрировали в Америку, многие уехали в Израиль, малая часть осела в Европе. Наши соотечественники разных национальностей, возрастов и вероисповеданий оказались зараженными «эпидемией отъезда». В эти годы были пущены в ход унижительная фраза «свалил за кордон» и политическое определение «отказник». Некоторые были высланы из страны против своей воли.

В СССР многие мечтали выехать за его пределы, те, кто уехал и приземлился на Западе, далеко не всегда оказывались в счастливом положении. Разочарование настигло многих и по разным причинам. Третья волна эмиграции мало представляла что их ждет. Грезилась молочные реки, кисельные берега и манна небесная. Тем, кто оказался в Израиле, была оказана большая помощь в адаптации, но это оказалось своего рода золотой клеткой. Интеллигенция, попавшая во Францию, в Париж «адаптировалась» иначе. Слово «адаптация» сознательно мною закавычено, потому как художники, писатели и диссиденты продолжали жить своей русской жизнью, пить водку, петь под гитару, ходить друг к другу в гости и на кухне решать все те же вечные вопросы «кто виноват и что делать?». Языка французского не выучил даже писатель Владимир Максимов, что уж говорить о других. С профессиональной стороны повезло тоже далеко не всем.

Недавно в Париже я услышала странные сетования о том, что многие из художников, которые оказались приближенными к Александру Глезеру — им как бы повезло; но упреки к А. Г. сводились к тому, что он их толкал и рекламировал как «политическую силу», а не как «художников, которые были по мастерству не хуже западных коллег», да, мол с одной стороны это было хорошо, потому как их на этой волне в конце 70-х — покупали и выставляли, но, с другой стороны, унижительно ценить их только как «диссидентов», а не как мастеров своего дела. Вот тут я не соглашусь с такими «сетованиями» и нападками на Глезера, потому что он прекрасно осознавал, что без этой «подачи» выплыли бы на рынок два-три человека. На этом колоссальном «базаре» мирового искусства выброшенные на волю волн, без языка, без представления «что, как и почём», без хорошего поводыря-«маршана», социальной помощи

со стороны Франции (мастерские и пособия) — ничего вообще бы не было. Некоторые от отчаяния изоляции, невостребованности (и это в красивейшем Париже!) — захотели обратно в СССР; было несколько случаев самоубийств...

Александр Глезер, еще живя в СССР, стал покупать живопись у неофициальных художников. Им была собрана значительная и разнообразная коллекция. Когда он эмигрировал, большая часть этой коллекции по дипломатическим каналам приехала к нему в Париж, а в последствии пересекла океан и последовала за ним в Нью-Джерси. В 1974 он был причастен к знаменитой «бульдозерной» выставке; попав в Париж, обосновался с семьей в замке Монжерон (50 км от столицы), где попытался в 1976 основать «Музей современного русского искусства в изгнании». С этой затеей, в результате, ничего не вышло. По заведенной ещё первой волной двадцатых годов эмигрантской традиции, все друг с другом перессорились, обвинили Глезера в неких «махинациях и укрытиях», и музей закрылся. Помню, как мы с Никитой и любимым всеми Вадимом Делоне ездили туда на некий вернисаж. Замок был мрачен, пахло кислой капустой и помойкой, из тёмных углов появлялись качающиеся тени то ли гостей, то ли художников, по этажам криво, на верёвках, были развешены картины и — почему-то — сохнувшее бельё (не инсталляция!)... потом Вадим читал свои прекрасные стихи, потом все напились, до хрипоты спорили и разъехались. Эмиграция сплетнями полнится, и ходили легенды о пребывании Глезера в этом замке Монжерон, вплоть до того, что он в поддатом состоянии бегал за кем-то в голом виде и, размахивая пистолетом, кричал: «Пристрелю!». Думаю, что это распространяли враги и завистники, а вот что правда, так это то, что он с 1984 издавал свой журнал «Стрелец». Кто его помнит? Был и журнал об искусстве и политике «От А до Я» («А-Я»), он выходил до 1986 года, издавал его художник-скульптор Игорь Шелковский. Эти русскоязычные издания рассказывали о жизни и творчестве неформального искусства, как в СССР, так и тех, кто уже жил в эмиграции. Среди тех, о ком писали, был Илья Кабаков, Эрик Булатов, Оскар Рабин, Олег Целков, Иван Чуйков, Комар и Меламид, Александр Косолапов., ве-

дущие авторы — Борис Гройс, Маргарита Тупицына. С середины семидесятых вся эта катавасия кипела и будоражила воображение русской эмиграции, но стала тормозиться в восемьдесят шестом с горбачёвскими «ускорением и перестройкой»; «железный» занавес приподнимался, и с концом Советов, о котором никто не помышлял, все стало в эмиграции резко меняться.

А. Глезер, несмотря на свою неказистую внешность и плохой характер, женился на милейшей и богатой аристократке Мари-Терез Кошен, которая родила от него дочку. М.-Т. открыла большую галерею современного искусства недалеко от знаменитого Центра Помпиду. В 1992 она устроила выставку ныне покойного В. Овчинникова и моих ювелирных скульптур. Володины «ангелы-плотники и трактористы», с которым мы были знакомы еще в СССР, прилетели в Париж. Помню, как я ему показывала город, и он шутил, забравшись на Нотр Дам: «Вот бы сюда вместо химеры посадить мой персонаж»... Вернисаж собрал много гостей, было весело... Но прошло совсем немного времени, как стало известно, что Глезер опять сыграл в «побегушника» и укатил из Парижа в неизвестном направлении. Мари-Терез отказалась выставлять его «коллекцию», вскоре Глезер проявился в США, а с 1994 уже в России... Шлейф скандалов и «разборок» протянулся за ним и туда, но допускаю, что он был талантливый предприниматель, с чувством сиюминутности и востребованности, и, наверняка, сделал много для художников того времени, так что не будем лягать копытом поэта, журналиста, лекционера и издателя, вписавшего яркую страницу в историю русской эмиграции в Париже. В 2016 году он скончался.

Среди эмигрантов были художники, которые на Западе преуспели, кое-кто вернулся (особенно, после 1990 года), кое-кто спился, переквалифицировался и даже покончил с собой. Теперь, по прошествии десятилетий, память высвечивает только тех, которые добежали до финишной прямой. Среди тех, кто не уехал, но и не справился с жизнью в СССР, такие гениальные одиночки, как В. Яковлев, А. Зверев, Б. Свешников.

Надо отдать должное стране Советов — она своими систематическими запретами и закручиванием гаек устроила “неформалам”

славу. Началось все с разгрома «манежной» выставки в Москве, ещё при Хрущёве, с его знаменитой хамской фразы: «Это что за обнажённая Валька?!» (имелась в виду «Обнажённая» художника Роберта Фалька).

Строгость и борьба за чистоту стиля требовали поддержания традиций, а потому позже, при Брежнев, была «бульдозерная» и в Доме культуры им. Газа в Ленинграде, а также многочисленные домашние выставки. Они сопровождалась разгонами со стороны милиции, слежкой за каждым, уничтожением картин, комментариями по «вражьим голосам». Но не нужно думать, что тон, настрой, прорыв в авангард задавали только «хипповато-волосатые неучи-неформалы», некие отщепенцы, не принятые в Союз художников.

В «манежной» выставке, открывшейся первого декабря 1962 года и, кстати, посвящённой тридцатилетию московского Союза художников, принимали участие только официальные члены Союза, но были среди них и те, кого в нашей стране к тому времени было приказано забыть. Среди них и знаменитые: Р. Фальк, В. Татлин, Д. Штеренберг, В. Древин, и молодые: П. Никонов, Т. Салахов, Э. Неизвестный и многие другие.

И Павел Филонов, и Натан Альтман, и группа Стерлигова — они все состояли в Союзах, но шли не в ногу с «идущими вместе!» Кстати, интересных художников в рядах ЛОСХа–МОСХа к началу семидесятых появилось много. Именно поэтому я не хочу приписывать все заслуги прорыва в современном искусстве одной взрывной волне андеграунда семидесятых. Мы все отдаём им должное и вспоминаем их с благодарностью, но процесс начался раньше. Впрочем, так уж устроено человеческое восприятие: редко помнят первого, а последнего возносят до небес. Пример тому — «Архипелаг ГУЛАГ». Этот поистине гениальный документ затмил на долгие годы братьев Солоневичей и Шаламова — первооткрывателей темы.

Помню выставки в Доме культуры им. Газа, оставившие во мне не самые восторженные чувства. Много было на уровне самодетельности, «выдумывания велосипеда», подражания двадцатым годам. Но откуда было ждать самостоятельности в полностью изолированном СССР? Хорошо запомнилась интересная живопись Жар-

ких, Рухина, Белкина, Титова, они были со своим «лицом». Многие из нас к этому времени знали книгу Камиллы Грей «Русский эксперимент», мы могли учиться на эрмитажных импрессионистах, уже в шестидесятые листали каталоги современной живописи, попадавшие к нам разными путями с Запада. Мы увлекались Поллоком, к нам привозили выставку Ренато Гуттузо, из рук в руки передавались книги Рене Магритта и Сальвадора Дали. Так что, «андеграунд» семидесятых был, конечно, смелым прорывом смелых людей, вышедших на улицу, это был вызов системе, академиям соцреализма, чиновникам и идеологам из Минкульта, стукачам, следившим за каждым «формалистом». К 1974 году, когда прошла выставка в ДК им. Газа, многое уже вызрело в наших головах, а потому взрывная волна от «бульдозерной» выставки не спровоцировала революцию — она тихо и незаметно свершалась уже в конце пятидесятых, среди одиночек, таких как Кулаков, Биргер, Михнов... Они стояли особняком, у них была своя дорога. Путь их был тяжёл, часть их трудов пропала, сгорела, украдена, выброшена на помойку...

Те далекие и недолгие «оттепельные» годы закончились по-русски — зимней слякотью. И все же, появились художники, которые решили попробовать свои силы в чем-то для себя более близком, чем соцреализм. Но вот учиться в те годы новому пластическому языку было негде и не у кого. Что ж, в Ленинграде Академию современного искусства Фернана Леже заменил третий этаж Эрмитажа. Художники, те, которые рисовали не «как надо», а работали «за шкаф», мастерскими не владели, в основном жили бедно, в коммуналках. В комнатах, разделённых занавесками, был угол, выделенный под мастерскую, — вот и всё. Наверное, первыми единомышленниками, объединившимися в группу, были «стерлиговцы» в Ленинграде, а в Москве — «белютинцы».

Владимир Владимирович Стерлигов в двадцатые годы входил в круг Малевича, но потом отошел от него, и не только по сути, но и по судьбе. Он и его жена Татьяна Николаевна Глебова жили в бедности, состояли в ленинградском Союзе художников, но, не смотря ни на что, гнули (простите за тавтологию) свою линию. Малевич провозглашал прямую, Стерлигов — противопоставлял

ей кривую. И так далее: квадрату — купол и чашу, разуму — чувство, логике — тайну, богоборчеству — богоискательство... Стерлигов выглядел как седовласый иссохший отшельник, а Глебова, напротив, — высокая, прямая, величественная благородная дама со строгими голубыми глазами. Они оба были глубоко верующими людьми, а Владимир Владимирович еще обладал прирожденным чувством учителя, наставника, он умел хорошо объяснять, и в те «академические» годы многие тянулись к нему.

Те, кто сплотился вокруг Стерлигова, стали его учениками и последователями. Среди них я помню П. Кондратьева, В. Волкова, Г. Молчанову, С. Спицина, А. Батурина. Все они рано или поздно были приняты в Союз художников, только Сашу Батурина долго мурыжили — оттого, что он «сидел» двадцать пять лет и не закончил Академии художеств. Ему все говорили, что он непрофессионал. Так и держали его на обочине этой общественной организации. В таком же положении оставался долгое время прекрасный художник Борис Крейцер, да и старика Альтмана держали как бы на антресолях, приучали нас его не вспоминать. Так что, когда в ЛОСХе наконец открыли персональную выставку Натана Исаевича Альтмана (почти предсмертную), и он вдруг появился на ней, маленький, совершенно такой же, как на портрете Юрия Анненкова, опираясь на руку уже немолодой, но по-прежнему красивой жены Ирины Валентиновны Щеголевой, я страшно удивилась, потому что была уверена, что он давно уже в могиле. Вся эта большая экспозиция, расположенная в центральном зале и на верхней галерее, не столько удивляла контрастами, сколько подтверждала двойственность человеческой души, жившей, как теперь принято говорить, «в наше сложное время».

Родители общались с семьей Томашевских. Отец познакомился с Борисом Викторовичем, знаменитым пушкинистом, когда рисовал иллюстрации к «Медному всаднику». Помню, что он даже писал его портрет и с улыбкой замечал: «На вид такой тихий, скромный бухгалтер, а заговорит — и перед тобой действительно великий знаток стиха». С его дочерью Зоей отец дружил, часто они вместе бывали в концертах, ходили друг к другу в гости. Я помню огром-

ную квартиру Томашевских на канале Грибоедова, в знаменитом «писательском доме», полки книг, рояль, кожаные кресла, кабинет Бориса Викторовича, темная столовая без окон, в центре огромный стол, абажур и по всему периметру стены гравюра-панорама Петербурга. На столе всегда стояли чашки и печенье, оранжевый абажур никогда не засыпал, гости шли постоянно на его огонёк.

Это было в 1963 году, вечер, отец привел меня сюда на Светлой Пасхальной неделе. Вокруг стола сидело человек десять, возраст самый разный. Пасхальное угощение меня поразило, я видела подобную красоту впервые: несколько ароматных медового цвета куличей, несколько разных по цвету и украшению пасх, кутья (я тогда не знала, как она выглядит), тонкие ломтики ветчины и баранины, огромное блюдо с писанками (но какими!), водочка в графине и красное вино (из Гурзуфа)... Приглушённо из соседней комнаты слышалась музыка, пластинка с классикой. Шел оживлённый разговор, вдруг отец нагнулся ко мне и тихо сказал: «Видишь даму напротив... это Ахматова». Она сидела совершенно молча, участия в разговоре не принимала, казалось, никого не слышала, потом отпила немного вина из бокала, поправила тёмную шаль (а может, это была кофта?). И вдруг Зоя громко, очень громко обратилась к ней: «Анна Андреевна, хотите, я положу Вам кулича и пасхи?!». Меня этот резкий крик удивил, а Ахматова улыбнулась и кивнула головой. Потом я узнала, что она плохо слышит. Разговоры за столом стихли, а я от неожиданности не могла собрать мысли... Прошло минут пять, звук посуды, вилок, ножей и стаканов опять перемешался с оживлённой беседой, но Ахматова в разговоре не участвовала. Один раз она нагнулась к своей соседке, пожилой красивой женщине, и что-то ей сказала. Это была Ирина Николаевна Томашевская.

Ахматова была совершенно такой, как на своих последних фото, и голос у неё, видимо, был таким, как в записях, когда она читает стихи. Неужели возникнет соблазн и кто-то воскликнет: «Просим почитать!»? Слава Богу, этого не случилось, и когда немного умолкли разговоры, таким же голосом, как на пластинке, она спро-

сила: «Зоя, а когда приезжает Святослав Теофилович?» (имелся в виду Рихтер).

Отец, немного нагнувшись к столу, чтобы из-под абажура было виднее Ахматову, опередил ответ Зои: «Мне мама сообщила, что Ниночка звонила ей, и они приедут на следующей неделе». Нина Львовна Дорлиак некоторое время брала уроки у моей бабушки и всякий раз, приезжая с Рихтером в Ленинград, приходила к ней в гости. А сами они поселялись на это время у Томашевских. Рояль, стоявший в соседней комнате, так и назывался — рихтеровским. Он проводил за ним часы, и на период его пребывания отменялись все гости и визиты «на огонек». Жизнь в квартире затихала.

У Рихтера были свои странности. Впервые увидев его акварели и пастели, я была поражена, насколько они своим лиризмом и прозрачностью не похожи на львиную мощь этого сверхчеловека, но потом поняла, что этот серебряный колокольчик живописи есть потайная часть его души. Когда он играл Шуберта, захватывало дух от полноты живописного полотна, легкость порхания рук над клавишами превращалась в волшебные переливы, комок подступал к горлу, обильно текли слезы.

Он был в общении тихим и застенчивым человеком, и иногда мне казалось, что он был заложником своего прошлого. В Москве Рихтер сам показывал мне свою коллекцию живописи, очень любил Роберта Фалька и Василия Шухаева, на стенах висело несколько работ Петра Кончаловского и Дмитрия Краснопевцева. Запомнились мне красные цветы Владимира Яковлева. Я тогда не знала, что он страдал нервными расстройствами. Во время своих мировых турне Рихтер всегда ходил в музеи и, конечно, был избалован вниманием дарителей, Оскар Кокошка и Пикассо дарили ему свои работы. В советские годы Рихтер щедро помогал неофициальным художникам, делал это без шумихи и особой помпы. Теперь его собрание находится среди личных коллекций Пушкинского музея в Москве.

Нина Львовна была связующей нитью между ним и внешним миром. Я думаю, что если бы не она, то он даже не очень бы понимал, что такое «окружающая действительность». Наверное, когда Господь создает таких людей, он обязательно задумывает заранее

верного помощника, прекрасно понимая, что без сопутствия эти райские цветы просто затопчет стадо баранов. Ахматову спас Бог, вокруг неё долгие десятилетия было выжженное поле одиночества, она жила надеждой на освобождение сына из тюрьмы; друзей было мало, но их помощь и верность спасали. Думаю, что она, как и Надежда Яковлевна Мандельштам, не пускала в свой круг «кого попало», хотя обе они прекрасно знали своих стукачей. Она умерла в 1966 году и все-таки увидела освобождение сына, Сицилию и Оксфорд, почитателей, молодых единомышленников (И. Бродский, А. Найман...) они были светлячками перед будущим рассветом. Тьма, в которой она жила после смерти Сталина, постепенно рассеивалась и, наконец, Ахматова обрела прижизненную славу. Она снова увидела свои издания стихов, а не переводов, которыми ей приходилось кормиться десятилетиями. «Реквием» стал гулять в самиздате уже при её жизни, но долгие годы она читала его только людям, которым доверяла, и сразу сжигала страницы! Впервые в печати он появился только в 1987 году в журнале «Октябрь», и этой публикации мы обязаны Зое Борисовне Томашевской.

Молчание Ахматовой в тот Пасхальный вечер было физически «громким»!

Через три года её не стало. В день похорон город накрыл сильный снегопад, мороз, даже не верилось, что стоял март. Сохранились фото этого дня. После отпевания в Ленинграде гроб привезли на Комаровское кладбище, длинная скорбная процессия, на белом снегу казалось, что все люди одеты в черное, слова прощания, много, очень много разных лиц, даже порой несовместимых. В последний момент, перед спуском гроба, неожиданно выглянуло солнце. Помню, как рыдал Виктор Платонович Некрасов, помню и отца, который был из тех, кто нёс этот гроб. Её смерть стала большим потрясением, все понимали, что уже никогда и никто не сможет стать ей заменой в нашей культуре.

Вероятно, шел 1969 год, не помню весна или осень, но точно могу сказать, что я уже побывала на выставке Н.И. Альтмана.

Отец волновался и говорил, что мы все впервые увидим работы этого художника собранными вместе. Выставка проходила в Союзе

художников (ЛОСХе). При подходе к Союзу мы увидели большую толпу, еле протиснулись к входу, отец показал свое удостоверение члена Союза художников, и нас пропустили. Потом был второй этап попадания наверх, к Большому залу, и мы долго стояли на лестнице, видимо, ждали юбиляра. Альтману исполнилось восемьдесят лет. В какой-то момент народ отпрянул к стене, освободив проход, и я увидела маленького человека, который шёл опираясь на руку высокой и красивой женщины. «Это он и его жена Ирина Щёголева», — сказал мне отец. Она была немолода, очень красива, и, когда проходила мимо, я ощутила запах дивных духов и шуршание переливчатого лилового платья. Не знаю почему, но мне казалось, что Альтмана давно уже не было в живых — и вдруг он здесь.

Единственное, что я знала по репродукциям — это его портрет Ахматовой; большинство, конечно, и пришло увидеть его на этой ретроспективной выставке. Наконец, нас пустили, но отец сказал: «Начнем не с Ахматовой, а с его ранних рисунков». Узнать такого Альтмана я не ожидала: Ленин сидит, Ленин пишет... Ленин в гробу; Луначарский сидит... и все остальные товарищи. Пошли дальше, было много карикатур на посетителей «Бродячей собаки», пейзажи, и вот, в центре зала, Она — сине-желто-зеленая Ахматова!

Отец подошел к Альтману, поздоровался, поздравил, представил меня. Они обменялись двумя-тремя словами, сзади напирала толпа желающих общения, мы отошли. Я знала, что папа рисует его портрет и ходит к нему домой (этот рисунок-литография до сих пор хранится у меня, с надписью Н.И.А.). Через год Альтман скончался, и его тело упокоилось рядом с Ахматовой на Комаровском кладбище.

Уже когда я оказалась в Париже, Зоя Томашевская дважды приезжала к нам в гости. Первый раз со своей дочерью Настей: они посещали врачей, удалось найти хорошего специалиста для Насти, а второй раз Зочка возвращалась через Париж из Нью-Йорка, где была по приглашению Иосифа Бродского. Нам было, что с ней вспомнить, много говорили по душам, откровенно, она делилась горестями и переживала за будущее Насти, которой с каждым го-

дом становилось все хуже. «Как она будет жить одна, когда меня не будет... кто будет за ней ухаживать...?» Тяжёлые мысли. Иосиф, после того, как я проводила Зою в аэропорт, позвонил: «Как там у вас все прошло?». Я с ним вспомнила ленинградские встречи, а он с Никитой — лондонские загулы.

В один из моих приездов в Петербург Зоя показала мне большой самодельный альбом, в котором были наклеены письма Иосифа в стихах с его рисунками. Он часто и подолгу жил в доме Томашевских, Настя была совсем маленькой, но, где бы он не бывал, он отовсюду слал ей стихи. Так составилась альбом, сам Иосиф назвал его провидчески «Ангелопочта». И, как говорила Зоя, мечтал помочь Насте справиться с её тяжёлыми недугами...

Его привела к нам на комаровскую дачу Эра Коробова, а потом мы встречались у Миши Мейлаха и Иосиф немножко за мной шутиливо ухаживал. Как-то моя бабушка приехала к нам, и неожиданно пришел Иосиф, собралось человек пять на веранде, вечер, лето, он читает стихи, таким особенным своим ритмом и распевом, который есть только у поэтов, и у каждого свой, потому что только поэт может слышать свою музыку стиха и читать их сердцем и печеньками. Так читала Ахматова и Пастернак. Актеры исполняют чаще всего «картинно», хотят вложить «своё», а получается фальшиво. Как читал Пушкин, Лермонтов..?

Бродский читал замечательно! Совершенно отрешённо от внешнего мира, ему было в этот момент наплевать, кто его слушатели. А вот бабушке моей не понравилось, для неё вся поэзия кончалась на Тютчеве, а музыка — на Вагнере.

Каждый раз, когда я приезжала в Москву, Нина Львовна приглашала меня зайти к ней, расспрашивала и сама рассказывала. Сейчас я была приглашена на ужин. За мной заехал Митя Дорлиак (их приёмный сын), он лихо управлял красной импортной «тачкой» на бешеной скорости — в центре, и милиционеры не свистели! Мы долетели до Рихтеров, поднялись в лифте, вошли на половину Нины Львовны, в гостиной накрыт стол. Но сначала задуман небольшой

концерт; будет играть Святослав Теофилович и читать Дмитрий Журавлёв. Они дружили. Приглашённых человек десять, мы устроились в зале рядом, тут рояль, ждём ещё гостей, звонок в дверь, Нина Львовна идет открывать, слышна иностранная речь, возвращается в комнату с двумя японцами. Концерт начинается чтением Журавлёва: несколько текстов Зощенко, стихи Пушкина и вдруг «в память об Анне Андреевне»:

Он и праведный, и лукавый,
И всех месяцев он страшней:
В каждом августе, Боже правый,
Столько праздников и смертей...

Потом Рихтер садится за рояль, кажется, играет Грига... Все это длится минут сорок пять.

Аплодисменты, встаём, и медленно перетекаем в гостиную, на стене висят постели, стол уже готов нас принять. Я подошла к Журавлёву и спрашиваю: «Скажите, а что связано у Анны Андреевны с августом?».

Он, несомненно, понял, что, по молодости, я не все знала, и ответил: «Ахматова очень боялась и не любила месяц август, считала его роковым для себя, имела к этому все основания, поскольку в августе был расстрелян Гумилев, арестован её сын Лев, и в августе вышло известное постановление о журнале «Звезда»».

Нас рассаживают.

«Митя сядет рядом с вами, он будет показывать как и чем есть» — Нина Львовна сказала это мне без улыбки. Она вообще была не улыбочивой, но большой доброты. Японцы зачирикали между собой быстро-быстро, и неожиданно из глубины квартиры, там, где была кухня, появился третий япоша в чёрном длинном фартуке; на вытянутых руках он нёс огромное блюдо, которое водрузил на горящий мангал в середине стола. Только тогда я заметила, что вместо вилок и ножей у каждой тарелки лежат палочки. Ну вот, дорогие друзья, это сейчас вам не в диковинку есть восточную кухню со всеми причинами, а тогда, в конце шестидесятых, мне и не снилось подобное.

Видимо, у меня всё отразилось на лице, и Митя хихикнул:

— Не трусь, покажу как надо.

— А кто эти япошки и что это за мясо?

— Это главный импресарио Рихтера, он прилетел сегодня утром из Токио и привёз в подарок мясо быков, которых поят пивом... Их моют саке, трут массажными щетками и столетиями пасут на пастбище у города Кобе... А теперь смотри и повторяй за мной.

Митя расщепил палочки, подхватил тончайший сырой лепесток мяса, окунул в кипящее масло и отправил в рот.

Я проделала тот же трюк и, к своему удивлению, не опозорилась. Обжаренный кусочек был не похож на отбивную котлету.

Некоторые гости, видимо, тоже были новичками в манипуляциях с палочками.

— Это мясо самое дорогое в мире, один килограмм стоит бешеных денег, — продолжал Митя.

— Слушай, а у нас ведь тоже можно разводить таких быков.

— Да, действительно, пива много, а вместо саке водкой мыть..

— Митя хмыкнул и одним глотком запил райское наслаждение.

Нина Львовна, прощаясь, спросила меня: «Ксения, вы ведь наверняка слушаете «Мадригал» в Ленинграде? Вам нравится?».

Как же это могло не нравиться! Андрей Волконский открыл нам неведомый мир звуков средневековья и Возрождения. В Москве музыкант и композитор слыл «опальным князем», эту таинственность он на себя всячески напускал, особенно при знакомствах с хорошенькими девушками, от которых отбоя не было, а ещё ходили слухи, что «Мадригал» — это «идеологическая диверсия». На самом деле, Волконский собрал замечательный ансамбль, состоящий из певцов (каждый из них владел и музыкальным инструментом), и задача его была в том, чтобы эту вековую как бы «засушенную» музыку спеть и сыграть так, чтобы она оказалась живой и «возрожденной» для современного человека. Очень таинственно выглядели певцы и декорация — это была придумка Бориса Мессерера: старинные кресла, канделябры, на сцене темно, мерцание свечей, дамы в длинных бархатных платьях...

В мае 1965 года я была на первом концерте «Мадригала» в Филармонии. Мне казалось, что Большой зал не вмещал всех жаждущих, галёрка стояла, здесь был весь Ленинград!

В один из дней я забежала к Зое Томашевской. Она меня провела в кабинет Бориса Викторовича и усадила на кожаный диван. Со стены на меня смотрел знаменитый ахматовский рисунок Модильяни, знаю, что Зоя Борисовна отдала его Ахматовой.

Рыжий кот сразу запрыгнул мне на колени.

— Я должна скоро выйти ненадолго, а ты, если позвонят в дверь, открой. Жду Андрея Волконского. Поговори с ним...

Я взяла книжку с полки, попыталась вникнуть, но мысли как-то разбежались, неожиданное знакомство волновало. Действительно, скоро в дверь позвонили. Открыла, стоит высокий человек, вылитый Сальвадор Дали, прошли в комнату, я объяснила, что Зоя скоро вернется.

Наверное, он заметил моё смущение, потому что сразу заговорил о чём-то легкомысленном, а потом: «Я вам сейчас покажу фотографии Дагестана», и вынул из потрёпанного портфеля альбом. «Вот здесь я хожу километрами по горам, а это мой дом, он на высокой скале, я его купил и хочу туда уехать насовсем, жить и сочинять музыку можно только в горах, в полной тишине поднебесья... Шум реки и водопада — это звуки, которые я сразу записываю... моя музыка состоит не из банальных мелодий, хотя я много пишу и для кино, но это для денег, настоящее могу писать только там...». Мы сидели на диване очень близко, у него на коленях альбом, чтобы лучше рассмотреть, я наклонялась поближе, а рыжий кот всё норовил залезть между нами. Андрей пытался его сбросить, но ничего не получалось, видимо, этот кожаный диван был его законным местом. Фотографий было много, но какие-то однообразные, хотя дом на вершине скалы поражал.

— А как же вы туда добираетесь?

— О, это целое путешествие! И пешком, и на плоту по быстрой реке, иногда на ослике по скалистой дороге.. — рассказ изобиловал робинзоновскими деталями и явно был соотнесён с моей молодостью.

Зоя вернулась через час и предложила чаю. Но Андрей попросил другой напиток. Не помню что, но закуска была, и оживленный разговор уже не о Дагестане, а о концертах и планах «Мадригала».

Я вскоре встала.

— Мне тоже пора! — заторопился Андрей.

Мы попрощались с Зоей, вышли на лестничную площадку, где, несмотря на писательский дух, вечно пахло кошками и помойными ведрами. Как ни странно, но лифт работал, а я надеялась, что мы будем спускаться пешком. Лязг железных дверей, кнопочек в темноте этой клетки не различить, где тут вниз, а где наверх, побыстрее бы сообразить.

Ну да, он, конечно, стал приставать. Скорость лифта казалась катастрофически допотопной.

Зоя мне вечером позвонила: «Как ты? Все в порядке?»

Между девушкой и «опальным князем» всё обошлось отшучиванием.

Знала бы я тогда! А ведь даже не подозревала, что Андрей дружит с Никитой, моим будущим мужем, и что мы после нашей свадьбы в 1980-ом поселимся под Женовой, у Татьяны Дерюгиной-Варшавской, и Андрей будет к нам часто приезжать в гости.

В семидесятые годы многие из официальных отщепенцев (и мой отец тоже) решили показывать свои работы на выставках Союза художников. Зачем? Дело было проигрышным, и они заранее это знали. Но как ни один писатель не может всю жизнь работать «в стол», так ни один художник не может долго работать «за шкаф».

Татьяна Николаевна Глебова писала тогда пастели на довольно больших картонах. Помню, что они были удивительно прозрачные по цвету, что-то розово-голубое, мерцающее... Прежде чем художник попадал со своей работой на выставку ЛОСХа, нужно было провести работы (в первой инстанции) на секции графики, председателем которой в те годы был Л. О. Три-четыре члена секции сидели молча, смотрели на пастели Глебовой и ждали, что скажет председатель. Новые веяния семидесятых уже позволяли обсуждение подобных «кощунственных работ», но разнести в пух и прах, унижить гадкими словами — это было делом обычным. И председатель с

покровительственными интонациями в голосе, даже особенно не стесняясь, сказал: «Вот Татьяна Николаевна, она, кажется, ученица Филонова, но мы тоже не хуже, наши учителя — прославленные академики, а потому мы считаем нецелесообразным... время ещё не пришло; да, и вот здесь, — и он ткнул пальцем в пастель, — и здесь нужно доработать». Кажется, председатель был учеником Евгения Кибрика (который прославился серией работ о Ленине).

Точной даты не помню, но дело было в середине семидесятых, и отец, совершенно отчаявшись, что никому, кроме узкого круга людей, показать свои работы не мог, решил понести их на выставку в Союзе художников. Как положено, принес сначала на секцию графики. Коллеги, видно, такой смелости от отца не ожидали, тоже долго молчали, что-то невнятное мычали, наконец стали давать советы: «Вот это нужно доработать, здесь сыровато, а тут композиция разваливается, в следующий раз... через год приходите, а сейчас, к сожалению, не можем порекомендовать выставку». Среди этой группы не было ни одного, кто хоть что-нибудь понимал в абстракции или в сюрреализме, но советы давать — дело нехитрое. Отец с ними не спорил, но больше всего он был возмущен молчанием одной своей коллеги и друга, которая эти работы много раз видела у нас дома, и он её предупредил, что придет на выставку. «Почему же Вы ничего не сказали, не защитили меня?!» — спрашивал он потом В. М. Ответ папу ошеломил: «Игорь, разве Вы не знаете, что меня оформляют в турпоездку в Англию?! Вы же знаете, что, если бы я вас защищала, мою характеристику бы зарезали».

Справедливости ради нужно сказать, что среди членов ЛОСХа были и такие, кто не писал портретов вождей, не принимал активного участия в жизни Союза, из-за чего перебивался с хлеба на квас и работал «за шкаф». Их было мало, единицы. Некоторым повезло, и они могли существовать за счёт жен или мужей с другой профессией. Кто-то подрабатывал в школах учителем рисования, но не всем доверяли молодую поросль. Выбор у таких людей был ограничен, жили они в тени — без наград, льгот, мастерских и заказов. Труднее всего было живописцам и графикам, на которых был возложен главный груз идеологической пропаганды.

Сюжеты, стиль, мазок, вплоть до слоя краски, соцреалистической живописи были настолько выверены, что даже лирические пейзажи без людей сановные адепты этого направления зарезали как безыдейные, а натюрморты из пустых бутылок, тем паче сельд-ки на «Правде», как у Оскара Рабина, вызывали ярую ненависть и доносы «куда следует». Выставкомы и худсоветы не пропускали «пустых» (так выражались), «левитановских» лесов и полей. На них должна была кипеть жизнь колхозная и рабочая. И не дай Бог на горизонте будет изображена церковь! После ухода Хрущева, в семидесятые, церковь разрешили изображать, но без крестов, а на палехские шкатулки, кроме прижившихся в пятидесятые пионеров и комсомольцев с жар-птицами в руках, опять вернулась лирическая тематика Алёнушек и Иванушек. Окна РОСТА, Лисицкий, Татлин и подобное формалистское мракобесие давно смылось из памяти и заменилось «Боевым карандашом». Кстати, об этом ударном органе гораздо красочнее, чем я, могли бы рассказать Гага Ковенчук и Миша Беломлинский, они там долго вырисовывали плакаты «Пьянству — бой», «Не проходите мимо!» и проклятия американским и израильским агрессорам. Миша эмигрировал в США, а Гага остался в СССР и приезжал в девяностые в Париж с папкой рисунков под мышкой, но они не были похожи на плакаты, которыми он зарабатывал на хлеб с маслом.

В конце пятидесятых появилась первая возможность перестроиться и стать «прикладником». Училище им. Мухиной (детище барона Штиглица) выпустило первых художников декоративно-прикладного искусства, которые в керамике, стекле и промышленной графике стали позволять себе безыдейные орнаменты в виде квадратиков, штрихов, клякс и прочего. Но и они с трудом пропускались через сито худсоветов.

Худсоветы могли низвергнуть любого гения, и, эх жалко, Илья Репин был в могиле, они и ему бы дали прикурить! Страшнее всего было тем, кто кормился с портретов вождей, — их гоняли исправлять выражение глаз и складки пиджака по пять раз, ведь за каждый штрих цензоры из обкома снесли бы голову самим членам худсовета. На каждое заседание худсовета человек шёл как на эшафот,

обычно художника выгоняли из комнаты, и обсуждение проходило при закрытых дверях.

Я помню, как тяжело жил один из талантливых живописцев, Алёша Комаров. Он был членом ЛОСХа, как и его жена Мэтта Дрейфит. До конца пятидесятых он писал всю эту мерзость, но в один прекрасный день — весенняя «оттепель», и друзья принесли ему в подарок книгу, изданную в Германии, о творчестве Павла Филонова. Мэтта, которая знала немецкий, перевела текст о художнике, после чего с Алёшей произошла метаморфоза: он отказался от своих вождей и погрузился в изучение метода Филонова. Мы с отцом много раз бывали у него в мастерской, и он с наивным восторгом показывал свои эксперименты. Чем дальше, тем больше он замыкался, перешёл на шрифтовые халтуры для заводов (кушать-то надо было), тексты плакатов тоже были гадкие, но Алёша пытался себя преодолеть, ночами писал свою живопись, которая выходила не так, как он бы хотел, из-за постоянного раздвоения и усталости. В конце концов, он бросил завод и кое-как стал преподавать, но и тут «жить не по лжи» удавалось с трудом.

Алёша страдал, стал болеть, сходить с ума, пить. Однажды он не выдержал и принёс на злосчастный выставком «другие» работы. Впервые он решился показать своим товарищам по цеху, что он делает в свободное от транспарантов время. Видимо, шок был обоюдный. Если до этого он ещё получал жалкие гроши творческой помощи от живописной секции, то теперь ему сказали, что, наверное, нужно подумать об освобождении мастерской, лучше передать её более достойному художнику.

Насколько я помню, Алёша был фронтовик, человек прямой и партийный, для него смерть Сталина и хрущевская «оттепель» многое поставила с ног на голову, к моменту встречи с Филоновым он уже сложился как художник, перемолка самого себя надорвала его. Справиться с навалившимся культурным грузом он не мог, поговорить было почти не с кем, а в голове, и так не шибко образованной, варилась настоящая революционная каша. Время шло, денег не было, единственным кормильцем стала Мэтта, которая иногда подрабатывала декоратором в театре. Искусство — жестокая

вещь, не терпит компромиссов и лжи, но товарищи-художники ещё страшней. Они перестали общаться с Алексеем, писали на него доносы. Он стал изгоем, делился своими мыслями только с близкими друзьями, начались запои, потом случился инфаркт...

Все были заложниками системы и, как только выбивались из стаи, сразу делались изгоями. Попытка стать хоть немного свободней приводила к большим испытаниям. Наши органы не дремали, всех брали на заметку, борьба с формализмом продолжалась, а потому не у всех хватало смелости отказаться от предписанного метода и стать вахтером или кочегаром. Но были и такие. Впрочем, некоторые умудрялись жить, сидя на двух стульях, балансировать «немного влево, а потом опять в строй». Мало кому уже тогда стало ясно, что мы живем с фигой в кармане и что вся наша полусвобода есть сговор со страхом. Как я уже говорила, у каждого был свой путь, каждого осеяло по-своему. Вот и мой отец, в первые годы обучения в Академии художеств им. Репина побывавший в учениках у И. Билибина и К. Рудакова, закончивший курс в мастерской им. И. Бродского, в 1947 году был принят в ЛОСХ по дипломной работе — иллюстрации к «Медному всаднику» Пушкина. Папа был хорошим живописцем и графиком, он здорово писал портреты разных сталеваров и колхозниц, сделал целую серию литографий Федора Шалапина... Его способностей вполне хватало на журнал «Огонек», от которого он ездил спецкором по стройкам и привозил изображения ударников. Его сотоварищем по тем поездкам был репортер Буковский, отец будущего диссидента Владимира Буковского.

Вплоть до десяти лет отец мучил меня ужасно, заставлял часами позировать: картины «Девочка стирает» (я неподвижно стояла над тазом, слезы капали в воду), «Девочка гладит» (тут я тоже страдала с утюгом)... Наконец он смиловился и написал картину «Девочка читает» (здесь я сидела на полу в окружении кукол и занималась любимым делом). В 1952 году он меня посадил в ужасно неудобную позу: я полулежала животом на нашем круглом обеденном столе, облокотившись левой рукой о что-то жёсткое, а правой ладонью любовно прикасалась к странице книги «Родная речь», поставленной передо мной вертикально. Моё лицо должно было светиться

от радости, потому что со страницы на меня смотрел Сталин. Задуманная папой картина называлась «Любимая книга» и предназначалась в соискатели Сталинской премии. На какой-то день тупого смотрения в напояженное лицо вождя я стала скулить и требовать замены «Родной речи» на другую книжку. Отец строго сказал: «Терпи, ребенок, вот получим премию и будем действительно жить лучше и веселее». А мама ответила: «Глупости, ведь ты даже не партийный, а держат тебя в «Огоньке» только потому, что ты хорошо рисуешь им свинарок и доярок. Так что Сталинской премии тебе не видать». И решительным жестом заменила «Родную речь» на академическое издание Пушкина. В свои восемь лет я уже немножко читала, а потому, листая толстенный фолиант в бежевом кожаном переплете (а в нем, кстати, были иллюстрации моего отца к «Медному всаднику»), остановилась на сказках. Больше я не ныла, а увлеклась «Попом и Балдой». До сих пор помню, как, дойдя до слов:

Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти... —

я спросила папу: «А что такое оброк?» И он мне грустно ответил, тыча в свою картину: «Вот это и есть оброк». Я тогда ничего не поняла, но по прошествии многих лет отец мне напомнил мой странный детский вопрос, и мы потом с ним частенько рассуждали о тех долгах и оброках, которыми тогда были обложены почти все.

Муки моего позирования перед портретом закончились неудачей — вождь всех народов хвост откинул, Сталинская премия накрылась медным тазом, а от папиной картины осталась цветная репродукция, которая приехала со мной в Париж. Где теперь пылится оригинал?!

Сейчас мне трудно восстановить последовательность, но смену «декораций» в нашей квартире я очень хорошо помню. Остатки мебели были проданы в комиссионный магазин, мама ещё работала в Театре юного зрителя, и, хотя подрабатывала росписью тканей, денег не хватало, потому что папа ушел из «Огонька». Все его колхозницы и сталевары засунуты на верхние полки стеллажей, где посте-

пенно обрастают пылью, а папа, расстелив на полу нашей столовой (она же полумастерская) газеты, взобравшись на стремянку, макает кисти в банки с гуашью и брызгает, и мажет, и опять брызгает краской по стене. Все течёт на пол, поллитровые пустые банки из-под соленых огурцов заполняются разноцветными колорами, потом для простоты и дешевизны в дело пошли анилиновые красители со смесью белил.

Настенная роспись каждую неделю обновлялась.

Точную дату отцовской «перестройки» я не могу назвать, но помню, что он мне показывал книгу, а позднее говорил, что с неё все и началось. Книга была на французском, как она к нему попала, не знаю, отец хорошо владел немецким, а французский разбирал с трудом, но, видимо, содержание произвело на него такое впечатление, что он, вооружившись словарем и школьной тетрадкой, прямо-таки впился в неё. Названия я не помню, но книжка была о творчестве Макса Эрнста. Совсем недавно в Париже проходила его выставка, и, бродя по залам, я вспоминала иллюстрации в той книге. Теперь я понимаю, что рассказ о дадаизме, о группе Андре Бретона и о том, как Макс Эрнст стал основателем сюрреализма, стремящегося передать реальность подсознания посредством метода «автоматизма», произвёл на отца огромное впечатление. Техника свободных ассоциаций и вывода из подсознания собственной личности легла в основу папиного «ликбеза». На стене нашей квартиры, следуя методу, описанному в книге, запечатлены были его первые эксперименты.

Позже отец перешел на большие листы бумаги и картоны, лил на них краской, накладывал одну картину на другую, получались неожиданные подтеки, разводы, эти рисунки он дорабатывал кистью. В тот ранний период он много писал экспрессивных пейзажей и натюрмортов. Вот так, благодаря Макс Эрнсту, у папы произошел «сдвиг по фазе», открылось окно в другое измерение, которое расшевелило его всего изнутри, да так, что невольно перекинулось и на меня, подростка. Мне было лет пятнадцать, когда он сколотил для меня двухметровые подрамники, купил метров двадцать белого ситца, показал, как развести анилиновую краску, и сказал:

«Валяй, дерзай, твори, раскрой себя до конца, а уж потом я научу тебя рисовать с натуры... кстати, этому можно и бездаря научить, а вот найти свое "я" не каждому дано». Моя мазня в те годы дошла до того, что Галя и Женя Рейны (они тогда жили в Ленинграде) заказали мне расписать шторы для их квартиры (о чём недавно мы с Галей вспоминали в Париже). Несколько смелых подружек нашли себе платья из моего ситца, правда, стирать их оказалось нельзя.

Учиться современному пластическому языку отцу было не у кого, он стал доставать книги, которые стоили очень дорого и редко одалживались. Помню замечательные маленькие томики издательства «Скира», в шестидесятые появился «Русский эксперимент» Камиллы Грей. Она в те годы приезжала в СССР, познакомилась с Олегом Сергеевичем Прокофьевым (сыном композитора), который тоже пробовал себя в авангарде. Они с Камиллой поженились и уже ждали ребенка, когда — надо же было случиться! — она поехала в Сочи, заболела инфекционной желтухой и скончалась в три дня.

Книги по искусству служили отцу учебниками, наглядными пособиями для изучения стилей. Он пробовал всё и совершенно не стеснялся этого. Раскрывал книгу, ставил перед собой и копировал то Брака, то Сезанна, учился форме, цвету, композиции. Ему очень хотелось забыть академизм, найти и познать самого себя. Истина рождалась и в спорах. К нам тогда приходили Павел Михайлович Кондратьев и друг папы Саша Батулин. Оба они тоже думали о «своём» и уже подпали под обаяние В. В. Стерлигова и его метода «чашности и сферы». Криков и споров на эту тему было на нашей кухне много. «Ваша "чашность" — это тупик! — кричал возбужденно отец. — Никакого развития личности, индивидуальности! Вы будете зажаты на всю жизнь этой догмой!» А они ему отвечали: «Дадаизм и сюрреализм ведёт к хаосу и направлен на разрушение личности».

Все это весёлое творчество катилось себе перекасти-полем до определённого дня конца пятидесятых, когда в Ленинграде появился англичанин, которого звали Эрик Эсторик.

Здесь мне придётся вернуться к моей «Рулетке» и напомнить о событиях тех лет.

Эсторик был коллекционер живописи и владелец небольшой галереи в Лондоне, которая существовала вплоть до конца девяностых, хотя сам Эрик скончался намного раньше. Не знаю, что привело его в те годы в СССР, но помню, что приезжал он несколько раз, а однажды даже захватил с собой знаменитого архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Я запомнила его высоким, очень худым, с болезненным цветом лица, так контрастирующего с огромным, пышущим здоровьем, толстым Эриком.

Эрик всегда приходил с кучей разных милых подарочков-сувениров, но, помнится, не только мою маму, но и жён художников удивило, что он дарит им женское нижнее бельё. Конечно, всё это обсуждалось шепотом и примерялось с восторгом, особенно если вспомнить, какие трусы и бюстгалтеры мы тогда носили. Секрет странных (но долгожданных) подарков вскоре открылся. Оказалось, что жена Эсторика была владелицей фабрики и большого трикотажного магазина в Лондоне.

В те годы весть о новоиспеченном авангарде докатилась до Европы, и Эсторик стал одной из первых заморских ласточек, прилетевших в СССР. Недавно Оскар Рабин сказал мне, что Эрик побывал сорок раз в стране Советов, и не только в Москве и Ленинграде, а и на Украине и в Белоруссии. Позже были Костаки, французский коллекционер Кордые и дипломаты разных мастей, покупавшие русские картины.

Несмотря на зверское отношение власти к своим «неформалам» (которые угнездились в Союзах художников) и не своих «отщепенцев-тунеядцев», капля камень источила и просто так делать вид, что этого явления не существует, становилось всё труднее.

Эсторик в первый же приезд обратился в иностранный отдел Союза художников, и он, как полагалось, дал ему список с адресами вполне официальных и апробированных мастеров. Но разные люди подсказали ему имена тех, кто работал «за шкаф» и чьи картины не выставлялись в ЛОСХе. Среди этих художников были Павел Кондратьев, Вера Матюх, Герта Неменова, мой отец, и, наверняка, многие другие, о которых никто не догадывался. Привёл к нам Эсторика Анатолий Львович Каплан, в работы которого ан-

глийский гость, можно сказать, влюбился. За несколько приездов в Ленинград коллекционер почти целиком вывез серию его литографий к Шолом-Алейхему, и, благодаря этой удаче, Каплан приобрёл не только известность, но и средства к существованию, а главное, это дало возможность лечить его большую дочь Любочку.

Герта Неменова или, как её называл мой отец, «Герда», при нашей последней встрече-расставании в 1979 году подарила мне малюсенькую круглую японскую коробочку, на её поверхности изображена рыбка. При этом она мне сказала «Ксю, мы, наверное, не увидимся больше, а эта рыбка приехала когда-то со мной из Парижа, и я бы хотела, чтобы она туда вернулась».

Герту Михайловну я помнила с детства, она встречала с нами многочисленные Новые годы, приходила на дни рождения, мы с ней работали в экспериментальной литографской мастерской, я часто забегала к ней на пятый этаж в её огромную комнату с эркером, которая служила ей мастерской в коммунальной квартире.

Она непрерывно курила «беломор» и часто просила принести ей таблетки «кодеина», говорила что мучает кашель. Это, видимо, было не совсем так, но все мы знали её слабости и выворачивались, как могли, в поисках этих волшебных таблеток.

Для меня она всегда была олицетворением парижанки, а с возрастом стала походить на Эдит Пиаф, даже в своих увлечениях молодыми талантливыми мужчинами. Запах «шанели» пробивался сквозь папиросный чад, особый жест прокуренных пальцев направляет чёлку, очки не носила, прищуривалась, любила изящно одеться и носила шляпки. При этом во всем её облике было что-то от раненной птички. Совсем недавно я узнала, что она дружила с Алёшей Хвостенко (Хвост) и с Родионом Гудзенко. Конечно, все знали о её шести месяцах в тысяча девятьсот двадцать девятом, которые она провела в Париже ученицей Фернана Леже, встречалась с Гончаровой, Ларионовым и Пикассо. Этот Париж она донашивала всю жизнь, те мгновения были для неё глотками свежего воздуха, хотя, будучи дочерью очень известного и любимого властью врача-рентгенолога М.И.Н., она никогда не подвергалась ущемлениям личной свободы. Но почему-то мне всегда казалось,

что она чего-то недоговаривала, чего-то опасалась и очень редко показывала свою живопись, которую хранила за огромным шкафом красного дерева.

«Вот эту балерину я написала в Париже, она всегда со мной» — об этих холстах знали только очень близкие люди, а литографии не скрывались и валялись большой пачкой на полу; тут и Ахматовский портрет, знаменитый Гоголь, Марсель Марсо, Чарли Чаплин... Герта рассказывала, как ей удалось познакомиться с Ивом Монтаном в пятьдесят шестом, рисовать его, когда он давал единственный концерт в Ленинграде. Она очень долго не решалась пустить Эсторика к себе, мой отец и Каплан уговорили её. Эсторик буквально вцепился в её рисунки, купил «Гоголя», который вскоре превратился в афишу выставки советских художников в Лондоне.

Из Парижа я посылала ей открытки, иногда звонила, Герта оставалась верным другом моих родителей. Она умерла в восемьдесят шестом и, как я узнала, большинство её работ исчезло в неизвестном направлении... а может известном? Именно этого она боялась всю жизнь?

С моим отцом Анатолия Львовича связывала старая дружба и «халтура» по написанию вождей «сухой кистью». Отец писал лица, а Каплан — пиджаки и мундиры. На всю жизнь запомнила я застолья в его семье, потрясающую еврейскую кухню — фаршированную щуку, сладости, которые готовила добрейшая жена Анатолия Львовича.

Каплан тоже работал «за шкаф», никому в те годы о своей работе над Шолом-Алейхемом не рассказывал, а в литографской мастерской умудрялся прятать свои камни от посторонних глаз. Мастерская эта была крохотулечкой, одновременно в ней работало два-три человека. В те годы она помещалась в тыловой части ЛОСХа, вход в неё был с Мойки. У каждого художника был свой запиравшийся на замок шкаф с полками. Анатолий Львович всегда договаривался с отцом заранее, и они приходили в эту мастерскую одновременно. После того, как Каплан заканчивал свою работу,

отец прятал листы Шолом-Алейхема и литографские камни в свой шкаф. Как помню, отец был в дружеских отношениях с единственным уже немолодым печатником, даже рисовал его портрет. Этот печатник — хороший человек — не выдал ни отца, ни Каплана.

Эсторик здорово смахивал на Синюю Бороду — огромный рост, горящие глаза, клочковатая борода, сигара, пепел от которой густо осыпался на его толстый живот, обтянутый шелковым жилетом... Простота общения с отцом возникла сразу — оба хорошо говорили по-немецки. В нашей квартире-мастерской с появлением Эсторика зависла таинственность, радость и страх. Мне, подростку, он казался забавным, совсем не страшным, но очень уж из неизвестного «оттуда», почти такими изображали капиталистов-кровопивцев в журнале «Крокодил». Мама моя, по русскому обычаю, сварила для коллекционера борщ, напекла пирогов, водочка и закусочка легко и со вкусом поглощались, толстяк о чём-то шутил, они с папой смеялись. Потом все перешли в соседнюю комнату, где папа стал показывать свои картинки. Пол устилался гуашами, рисунками тушью, акварельными пейзажами (некоторые работы того периода есть в запасниках Русского музея). Отец волновался, Эсторiku многое понравилось, и он ушел с целой папкой работ. Счастье было полным, во-первых, потому что отец впервые получил признание и оценку своего «нового» творчества от известного мецената, а во-вторых, Эсторик хорошо папе заплатил.

Благодаря отцовским связям в среде работавших «за шкаф» лондонец посетил ещё кое-кого, потом эти художники к нам приходили, и по их лицам и разговорам можно было заключить, что они были рады встрече с Эсториком.

Не думаю, что мой отец и все эти художники были наивными людьми, можно предположить, что их вызывали в иностранный отдел ЛОСХа, вели с ними беседы. Кто их вел? Как-то после одного из приходов к нам Эсторика я выглянула в окно: на улице стояла серого цвета «Победа», рядом, прислонившись к ней спиной и поглядывая на наши окна, высился достаточно кинематографический персонаж в сером плаще, шляпе и с папиросой. Мне стало как-то нехорошо. Отец и мама сидели на кухне, обсуждали недавние собы-

тия. Ох уж эти кухни! Сколько было на них выпито, и сколько тайн доверено их стенам. Потом я непроизвольно услышала, как отец сказал маме: «В следующий раз мы его пригласим с кем-нибудь из наших знакомых... всё равно с кем, соберем компанию, будут свидетели, все услышат, увидят, что ничего здесь преступного не происходит. Мало ли, что нам ещё предстоит в связи с коллекционером». Отец, понизив голос, заговорил, что постоянно чувствует за собой слежку, что видел странных людей у нас в подъезде. «Может, это они за ним ходят? А может, и за нами следят? Как знать...». Началась профилактическая борьба с подслушками, снималась телефонная трубка, вставлялся карандаш в диск, громко включалось радио, и тогда казалось, что никто из «них» не услышит, о чём ведутся разговоры. Сколько сразу вопросов, совершенно неожиданных, неведомых мне прежде, возникло в моей подростковой голове!

Пока я писала эти строки, из памяти вдруг всплыли два эпизода. В «следующий раз», о котором говорил отец, за нашим круглым столом, на котором я позировала в роли влюбленной в портрет Сталина девочки, собралась компания: Эсторик, Беатриса и Саша Скрыгины (ныне покойные), мама, папа и я с братом. Все они пили, ели, а мне было страшно, и вдруг я потеряла сознание и рухнула под стол.

После этого, второго, приезда Эрика отец впал в тяжёлую депрессию. Его преследовали ночные кошмары, он кричал во сне, отчего я просыпалась и долго не могла заснуть. Хотя в шестнадцать лет обычно спится сладко, долго и крепко.

Мама, ещё работая в Театре юных зрителей, стала подрабатывать дома шитьём. Швейная машинка стояла в той же столовой. Для предосторожности, когда заказчики приходили к ней на примерку, шторы задёргивались, потому что нам всем уже казалось, что за нашими окнами наблюдают с биноклем из дома напротив. Наверное, это была паранойя, но этой болезнью страдала не только наша семья.

Проходили месяцы, и отцу все больше казалось, что он должен показывать свои эксперименты в живописи людям. Ведь так трудно жить «за шкаф». Кстати, свои картины он и в самом деле держал за платяным шкафом. К нам приходило много разного народа — художники, музыканты, поэты.

С шестьдесят второго года по шестьдесят шестой мы жили в Комарово на даче у Порай-Кошицев. Это был наиболее интересный период работы отца как живописца. В это же время он начал иллюстрировать детские книги. Сказать, что это была «халтура», равная «сталеварам-работницам», я не могу, потому как отец (а потом и я) трудились над оформлением этих книг добросовестно и с любовью. Почти все будущие «инакомыслящие» от поэзии и от живописи прошли через невинную детскую тематику. В «Детгизе», «Малыше», «Весёлых картинках» и прочих издательствах Москвы и Ленинграда нашли себе приют прекрасные художники и писатели. Помню рисунки отца к книгам Генриха Сапгира, Льва Мочалова, Евгения Рейна, Михаила Дудина.

Впрочем, и здесь были свои законы, свои правила борьбы за чистоту советского стиля. Папа не рисовал иллюстраций к Михалкову и Маршаку (это было дозволено не всем), но русская сказка была у цензоров тоже на заметке. Казалось, какая задняя мысль может скрываться в изображении волка или лисицы? Может! Помню, отец принёс в издательство книжку. Главным редактором там был художник Е. Рачёв, у которого все животные были как на подбор — с «идеологическим выражением на лице». Волк — отпетый империалист, медведь — добродушный пьяница, лиса — коварная нэпманша, а уж Баба-яга — вылитая Голда Меир.

Рачёв от всех авторов требовал соблюдения «стиля», а потому зайчик не мог быть простым серым зайчиком, он должен был олицетворять собой отпетого труса, а следовательно, скрытого предателя. Папины иллюстрации русских сказок были подвергнуты критике и зарезаны.

Отец никогда не отличался особой дипломатичностью и, кажется, сказал Рачёву все, что о нём и его «стиле» думает, после чего работы ему в издательстве никогда не давали.

Детская книга, а чуть позже — прикладное искусство стали прибежищем для многих: Мая Митурича, Бориса и Сергея Алимовых, Ивана Бруни, Андрея Голицына, Пивоварова, Токмаковых, Мавриной, братьев Трауготов, Стацинского, Васнецова, Конашеви-

ча... Список длинен. В детской книге все они своеобразно «спасали души». Илья Кабаков, участник «манежной» выставки, в эмиграции бросившийся в инсталляции с унитазами, тоже какое-то время кормился с «детской темы». Оглядываясь назад и листая книги тех лет, можно только восхищаться мастерством этих художников. Сегодня почти всё сводится к слепому подражанию порой не самым лучшим образцам западной графики, которое заполонило полки современных магазинов. Будто и не было прекрасных русских мастеров!

Уже к концу шестидесятых в «сказочной» тематике стало возможным нарисовать зелёное облако, выдумать причудливый персонаж, а затем детская литература подарила нам Хармса. Художники и писатели, как это ни покажется сейчас смешным, пытались свершить революцию в умах зрителей и издателей. Это был длинный и тяжёлый путь: старая гвардия «сухой кисти» не сдавалась, на художественных советах и выставках происходили настоящие баталии.

У отца был дар наставника, ему было интересно самому показать с кистью и карандашом, как нужно рисовать, как открывать секреты акварели и композиции. Мне всегда казалось, что им двигало, с одной стороны, большое любопытство, а с другой — страх остановиться на достигнутом.

В начале 1961 года ему предложили место главного художника Торговой палаты. Он очень сомневался, идти ли ему на эту ответственную должность. Помню, его уговаривали сделать это молодые сотоварищи, только что закончившие Мухинское училище. Отец, как я уже говорила, совершенно не был «дипломатом», а потому сказал руководству, что согласится при условии, если ему дадут возможность распределять работу художникам по своему выбору. Имелась в виду новая волна «мухинцев», с которыми он дружил. Насмотревшись журналов «Польша» и «Плакат», они замыслили совершить революцию в этикетках «Шпроты в масле» и «Бычок в томате». Руководство Торговой палаты в лице Марнова дало «добро», и за короткое время отец сумел сплотить вокруг себя энергичную бригаду. Основной костяк этой ударной группы состоял из художников моложе отца лет на десять: Саши Скрягина, Игоря Оминина, Кирилла Петрова-Полярного, Николюка, Кирилла Носова и Александра Батурина.

Сегодня дизайн — это компьютерная графика, и художника, выписывающего с лупой и высунутым язычком шрифты, не существует. А тогда мой отец и его товарищи совершали своеобразный прыжок в будущее. Невинные подражания художникам Польши и Чехословакии выростали в постоянные битвы не только с художниками, они вызывали и недовольство заказчиков, директоров пищевых комбинатов.

На художников писались доносы, городские власти слали своих инспекторов для утверждения в последней инстанции неформальных рыб в масле и шоколадных наборов. Вся эта катавасия с модернизмом в промышленной графике в результате вылилась в общественное собрание ЛОСХа. Народу набилось много, в основном живописцы — ударная сила соцреализма. И пошло-поехало! Отцу припомнили многое, особенно же — работу «за шкаф» и продажу своих полотен иностранцам.

«Был бы ты членом партии, ты бы у меня положил свой партбилет на стол!» — орал один из ветеранов портретного жанра. «Ты ответишь нам за разложение молодежи! Мы написали коллективное письмо, и тебя скоро вышибут с должности главного художника Торговой палаты!» Папу защищали его друзья, но, видимо, распоряжения шли с властного «олимпа».

У многих ещё в памяти были истории исчезновения людей: по ошибке наборщика на обойной фабрике, где по бордюру рулона шли выходные данные, и в слове «Ленинград» выпала буква «р»...

Однажды, придя домой из школы, я застала родителей в возбужденной перепалке. Лицо у мамы было расстроенное, она сидела за столом с иголкой в руках и трудилась над одним из своих платьев. Слёзы катились по щекам и капали на её рукоделие. Обычно родители старались не обсуждать при мне тему коллекционера, но за последнее время я невольно стала свидетелем странных посещений, телефонных звонков. Под нашими окнами маячили подозрительные личности. Как я поняла, у родителей возникли серьёзные неприятности. Отца после повторного приезда Эсторика загрызли «товарищи» из КГБ, уволили из Торговой палаты, а друзья из Союза художников струсили и перестали появляться.

Маму вызвали в дирекцию ТЮЗа. Как модница и великолепная портниха, она купила у кого-то «с рук» отрез японского шелка, в ярких цветах и орнаментах. Сшила платье, довольно часто его надевала. В её гардеробе по тем временам она было единственным оригинальным и любимым. В кабинете директора сидели профкомовцы и секретарь парткома. Они строго посмотрели на маму и сказали: «Это что ты себе позволяешь носить?» — «А в чём дело?» — пролепетала актриса Театра юных зрителей. «Посмотри на свое платье. Оно ведь всё зашифровано!» Мама всмотрелась в ткань и между ярко-розовыми восточными пионами, голубыми и зелеными листьями разглядела крохотные значки. О Боже, это была свастика! «Но ведь я не знала, не видела... и вообще — это совсем не то, что вы думаете. Это ведь не та свастика, как у Гитлера, а та, что у восточных людей, символ солнца и вечности...» Последовал ответ: «Ты что, не понимаешь, в каком театре работаешь? Значит так, мы тебя обсудим на общем собрании, и ты напишешь заявление об уходе из театра!»

Мама зашила все малюсенькие свастики цветными нитками, но долгое время носить это платье так и не решилась. Но вряд ли только оно было причиной её увольнения из Театра юных зрителей.

Даже мне пытались в школе номер сто девяносто на общем собрании пришить «дело» — за домашние сборища, песни под гитару, буги-вуги и чтение стихов. Но мне «повезло» — у меня случился приступ аппендицита и по «скорой» я была отправлена на операционный стол. Прошло несколько месяцев, и в первые дни моего возвращения за парту наш классный руководитель вызвала меня в угол и тихо сказала: «Советую тебе, Ершова, перейти в другую школу. Жизни тебе здесь не будет, пойдут сплошные двойки». Не долго думая, мы с родителями забрали мои бумажки, и я перешла в вечернюю школу рабочей молодежи, где через полтора года закончила десятилетку, а первые рубли заработала этикетками для вафель.

В те же шестидесятые у нас дома образовалось «молодёжное» общество, состоящее из самых разных по возрасту людей. Почему

я называю его «молодым», потому что всех нас объединял дуновение оттепельного ветра, пьянил романтизм первой «перестройки и гласности». Люди, уставшие от советской пропаганды, скуки и беспросветности вдруг захотели помолодеть. Даже сейчас те, кто ещё жив на разных концах планеты, напоминают мне письмами и звонками о тех временах душевного подъёма. Уже забыла, кто привел к нам Вильяма Бруя, очень живого и талантливого юношу. В первый вечер знакомства он станцевал босиком и спел «Это школа Соломона Пляра... школа бальных танцев...», а за ужином на вопрос моего отца о его «среде обитания» он неожиданно полушуткой ответил: «меня часто спрашивают, кто у меня папа и мама... Папа мой в разводе с нашей семьёй, он циркач-гастролёр, а мама... так это не мама — а Дора Рафаиловна!». Его ответ нас рассмешил, но многое прояснилось потом. Д.Р., умная и предприимчивая женщина — оказалась спасительницей не только своего старшего сына Натана П., которого она «отмазала» от тюрьмы за некие махинации, но и стала на многие годы «библейской кормилицей» Вильяма. В те годы он учился в СХШ (Средняя художественная школа при Академии художеств им. Репина) и очень хотел стать художником. Но как-то у него там не сложилось, его выгнали за неуспеваемость, а по тем временам тунеядствовать было делом опасным и мой папа устроил его работать подмастерьем печатника в литографскую мастерскую, о которой я уже рассказывала. Именно там он познакомился со многими интересными художниками и эта среда постепенно стала его формировать.

Раза два в неделю Вильям Бруй приходил к нам, отец рассказывал ему о современной живописи, показывал альбомы, давал ему конкретные «задания на дом». Вилька, так мы его звали, очень втянулся в такое неакадемическое обучение, ему это нравилось, стало получаться что-то своё, не похожее на других. Была в нём какая-то неприкаянность, жить с Д.Р. ему было неудобно, и помню, как в один из его приездов к нам в Комарово мы познакомили его с Гарриком Орбели. В эту зиму он поселился у него на даче, где прожил до весны. В тысяча девятьсот шестьдесят седьмом Дора Рафаиловна была выпущена в Израиль к своему деду, который жил в Иерусали-

ме и был владельцем зеленой лавки. Но тут грянула «шестидневная война»! Бедный Вилька паниковал, быстрой связи тогда никакой не было, даже через телефонисток с СССР не соединяли. Мама вернулась целёхонькой и рассказывала нам (по секрету и шёпотом) что там она видела не просто «апельсины бочками», а такие витрины, с таким мясом и рыбой, что поначалу решила: нет, такого не может быть, всё это муляжи и обман! Довольно скоро Вилька сообщил нам о проделанной операции обрезания и сватовстве к красивой рижанке Сильве. Помню свадьбу, был раввин и всё как на литографиях А.Л. Каплана.

В семидесятом Вильям с Сильвой выехали в Израиль, были проводы, я подарила Сильве коралловые бусы, а Дора Рафаиловна купила им огромное количество мебели, которая долгими и сложными путями добиралась до земли обетованной. Благодаря этим кожаным креслам, венгерским стенкам и румынским шкафам — Вилька сумел как-то выдержать первый экономический стресс. Мы с ним увиделись в Париже в 1981 и он мне рассказал, что мама ему вплоть до середины восьмидесятых слала продуктовые посылки — гречку, детское питание, чай и проч. уже в столицу Франции. Как многие из тех, кто уезжал в страну Моисея, он перебазировался в США, а потом в Париж. На экзотической волне начала семидесятых, тогдашних ещё редких «отказников» и «неформалов», он оказался первой птичкой «третьей волны». Уже потом в Париж эмигрировали О. Рабин с В. Кропивницкой, О. Целков, В. Стаинский и др. Вилька сразу поменял свой прикид: отрастил пейсы, оделся в длинный сюртук. Наплодил много детишек (не только от Сильвы) и стал писать картины огромного размера... Не берусь быть оценщиком, как говорится «на вкус и цвет товарища нет», но, как он сам хвастался, «продавал их, как горячие пирожки». Вспомним мой рассказ о А. Глезере — как он помог многим художникам, так и в случае с Вилькой еврейское лобби в США и Париже помогло ему не утонуть, продержаться на поверхности — благодаря веками сложившейся у этого народа привычке к взаимовыручке. Вильям Бруй живет в Нормандии, я в Париже, мы крайне редко видимся, у нас очень разные вкусы и привязанности, но мы сохранили тёплые дружеские отношения.

Несмотря на закручивание гаек и вечное ожидание, что вот-вот опять начнут всех сажать, на нас подуло воздухом перемен; мы взахлеб читали «Люди, годы, жизнь» Эренбурга, открывали Ахматову и Мандельштама, пели Галича, Окуджаву, Высоцкого и по узкой деревянной лестнице попадали на третий этаж Эрмитажа.

Когда я писала этот текст, то тщетно пыталась найти точную дату его открытия. Не нашла. На самом деле он был, конечно, открыт (вновь) без всякой помпы в 1956–1957 годы. Ленточку не перерезали, в газетах не сообщали... Забавно: внутри музея отсутствовала стрелка-указатель, её установили только в середине семидесятых. Обычному посетителю Эрмитажа было невдомёк, что, пройдя по залам второго этажа через коридорчики и полутёмные переходы, он попадет к деревянной скрипучей лестнице, ведущей как бы в никуда. Но, поднявшись по ней, увидит над самой головой совершенно «безобразное» полотно Матисса с танцующими. А дальше — больше! Там уже зыркали со стен такие возмутители спокойствия, что впору было писать доносы на дирекцию музея. Кстати, писали. Но Иосиф Абгарович Орбели был человек не из пугливых. Вместе со своей женой, искусствоведом Антониной Николаевной Изоргиной, они и открыли этот этаж. Коллекция, собранная Щукиным, долгое время хранилась в Бог весть каких госхранах, после 1946 года была разделена на две части: одна попала в Пушкинский музей, а другая — в Эрмитаж и долго отдыхала в запасниках.

В Комарово я несколько раз видела издалека Орбели — глаза горящие, волосы чёрные, с сильной проседью, как-то странно всегда одетый, сильно согбенный, ходил, заложив руки за спину. Изоргина была его последней женой и родила ему долгожданного сына Митю.

Мы с ним были в приятельских отношениях. Болезненный, бледный и хрупкий, он мечтал заниматься генетикой и всё проклинал Лысенко. Человеком он был остроумным и, видимо, если бы не врожденный порок сердца, стал блестящим ученым. Но и Митя Орбели, дитя времени, был заражён каким-то фатализмом, себя не жалел, кутил, курил и умер рано, не дожив до тридцати лет.

Помню, как непрерывно курящая, энергичная Антонина Николаевна с гордостью показывала нам у себя на даче книгу Джона Револта «Импрессионизм», изданную её стараниями.

Мой отец дружил с Верой Михайловной Матюх, женой Евгения Александровича Порай-Кошица, а я — с их сыном Алексеем, и в течение нескольких лет мы жили на их даче в Комарово.

Алёша был старше меня на пять лет; когда тебе шестнадцать, молодой человек в свои двадцать один кажется очень взрослым. Он учился тогда в Университете на физико-математическом факультете и был вовлечён в интереснейший круговорот друзей. С ними было интересно, меня всегда тянуло к старшему поколению. Эта умная, начитанная молодёжь надо мной немножко подтрунивала, особенно Варя, жена Андрея Черкасова, сына знаменитого актёра Н.Ч., а я её боялась и стремилась во всём ей подражать. Андрей тоже был физик, мне тогда казалось, что в нашей компании все были физиками-лириками вперемешку с поэтами и бардами; все мы много читали вслух, много слушали джаза, много пили болгарской красной «гамзы», ездили летом в Коктебель, и все поголовно были друг в дружку влюблены. В общем, такая безумная вакханалия шестидесятых, которая разбудила спящее царство не только академического посёлка Комарово.

Алёша очень любил играть в преферанс, дошло дело до того, что эта страсть обернулась для него «вылетом» из университета. Не помню, но, кажется, он играл на лекциях — и его застукали, а может, и настучали. Бедные родители, папа и дяди — профессора, дед академик, а сын шалопай. Забегая вперед, скажу, что сейчас Алёша стал известной личностью, и, видимо, все, что тогда случилось обернулось к лучшему.

Вера Федоровна пришла к моему отцу, закурила папироску и сказала упавшим голосом:

— Как быть с Алексеем, что Вы, Игорь, посоветуете?

Ведь вставал вопрос о его немедленном призыве в армию.

Папа подумал и спросил:

— А чем он ещё интересуется?

— Он немного рисует, — как-то неуверенно пролепетала Вера Федоровна.

— Пусть покажет мне свои рисунки — ответил отец.

После этого Алеша стал регулярно приходить к отцу, получать задание на дом, дело пошло, у него открылся настоящий талант, который нужно было срочно внедрить в художественный вуз.

Обсуждали, куда поступать, выясняли, судили да рядили, а время шло, и однажды к нам на дачу зашёл академик Евгений Федорович Гросс. Его огромная дача, в которой заправляла его жена Тамара, высилась в конце посёлка и напоминала неприступную крепость.

Гросс был милейший, образованнейший гном, в вечной тюбетейке на лысеющей голове, которая была набита не только великими достижениями в области физики и открытиями в виде особых частот (они так и называются, «гроссовскими»), но также он был знатоком мировой живописи и музыки, постоянным слушателем филармонии и коллекционировал интересных друзей. Его знаменитой игрой-угадайкой, проверкой на образованность, был показ иллюстраций живописи или открыток. Он всегда носил портфельчик, набитый вырезками из альбомов, для растерянного собеседника это богатство постепенно вынималось и раскладывалось как карты, картинкой вверх, а правильный ответ с подписью и датой находился с обратной стороны: «А это Сезанн или Брак?» , «Рембрандт или Хальс?»... труднее было с абстракцией, мы тогда только начинали узнавать мировые имена... Друзьями Гросса становились угадавшие десять картин из двадцати. Я в свои годы угадала пять, но это его совершенно покорило, и он стал за мной ухаживать. Более того (о ужас!), в один прекрасный день он пришел говорить с отцом о вполне серьёзных намерениях... Моя девичья интуиция мне что-то такое нашёптывала, но я и не думала, что дело пойдет так далеко.

Я испугалась, рванула в сад, подальше от всех, туда, где уже росли ёлки и легла плашмя на мох. Долго лежала, потом за мной прибежала моя подруга Катька и сказала: «Гросс ушел обиженный».

Но прошло несколько месяцев, он, видимо, меня простил, и мы встретились с ним на концерте в Большом зале филармонии. В одной руке неизменный портфель, а другой он дружески обни-

мал мужчину с серыми глазами, в серо-голубом пиджаке. «Вот, Ксенечка, познакомьтесь, это Николай Павлович Акимов, знаменитый режиссёр и художник... великий человек!» Глаза Акимова смотрели внимательно. Он пожал мне руку, бросил взгляд на мою короткую чёлку и насмешливо сказал: «Вам очень идет эта стрижка под мальчика». Мы вошли в зал, и наши пути разошлись, они пошли в партер, а я поднялась, как всегда, наверх, на галёрку. Там обычно вся наша компания встречалась, слушала очередной «Мадригал» с Волконским, а потом все шли в пивной бар напротив.

Дома я сказала отцу о «мирной» встрече с Гроссом: «Знаешь, он меня познакомил с Акимовым, сказал, что это гений». Не знаю, почему, но имя Николая Павловича было мне тогда неизвестно. «Неужели он с ним знаком?!» — оживился отец — «Это же потрясающий художник! Он опять в Ленинграде, а ведь как его травили!»

Прошло некоторое время. Алёша принес очередную папку рисунков и сказал: «Прошел слух, что в Театральном институте открылся факультет, которым руководит Акимов... на нём обучают художников, макетистов и завпостановочной частью». Папа вспомнил о Гроссе и позвонил ему.

Однажды вечером на нашей комаровской веранде, вокруг стола, собрались все «виновники» этой предыстории. К чаю, на огонек, неожиданно зашел Митя Орбели, как всегда, ироничный, умный, бледный и с вечным «казбеком» во рту. Я не очень хорошо помню, как проходил вечер, о чём шёл разговор, вот только под самый конец Николай Павлович посмотрел на меня через стол и спросил: «А о чём вы мечтаете?» В свои шестнадцать лет я мечтала только о принце, немножко рисовала, танцевала и очень много читала. Как тут ответить? За меня ответил отец: «Она любит расписывать ткани, вот, всем друзьям изготовила занавески, платья...». Серые глаза смотрели внимательно. Потом вступился за меня Гросс: «Она знает Эрмитаж как свои пять пальцев!» Сын Орбели и Изоргиной фыркнул и отпил коньяка: «Да, изучает, ей Антонина Николаевна подарила свой альбом об импрессионистах».

«Как знать, может, и Ксения захочет поступить на мой факультет?»

И уже прощаясь, в саду, мы стояли рядом с отцом: «Игорь Иванович, вы разрешите вашей дочке мне попозировать? Она просится на портрет». Как могли меняться его глаза! Стальной блеск, профиль, лицо сочетания совино-орлиного и повадка птицы.

Наступила осень, отец меня привез к Николаю Павловичу, а сам уехал. Я не помню адреса, но мне кажется, что это была не коммуналка в Кирпичном переулке, а квартира на улице Гоголя. Атмосфера комнаты мне показалась сразу родной: бесконечные безделушки, фотографии на стенах, колокольчики — он их собирал — позванивали на все лады, много ножичков и пилочек, портреты, книги, альбомы... это была не просто мастерская художника, заваленная подрамниками и картинами, это пространство чем-то напоминало квартиру деда, где я родилась, только у нас были рояли и нотные шкафы до потолка.

«Не стесняйтесь, можно смотреть и даже трогать руками», — сказал Акимов. Прикасаюсь к предметам я не решалась, но погладила странную шкурку на кресле, дотронулась до колокольчиков, увеличительных стекол... Значительно позже я увидела его знаменитое фото с кубиком-линзой, подумала, что уже тогда во всей атмосфере его жилья царил сюрреализм; прошлая жизнь под микроскопом выявлялась в фарсе настоящего. Было тут и трагическое, давящее... А вот и альбом картин Василия Шухаева, скорее, это даже не книга о собранные в папку отдельные страницы, видимо, из старых книг. Шухаев мне был знаком по нашим домашним журналам «Аполлон» и «Мир искусства», они достались от деда, но тут я увидела незнакомые вещи...

«Сядьте на это, — я уселась на высокую табуретку, — Будем разговаривать, расслабьтесь!». Он стал ходить кругами, приседать, щелкать фотоаппаратом. Неожиданно его облик изменился и он стал похож на умного ворона.

У меня была большая практика позирования. Папа меня мучил с пяти лет, сколько я ему служила моделью! То «девочка гладит», а то «стирает», слёзы на третий час терпения капали в таз. «Я перед Вашим дедом преклоняюсь, он ведь был мастером гримов и костюмов!» — Николай Павлович вспоминал, как когда-то видел деда в

оперной студии со студентами. Как тот объяснял и показывал! «Ершов был гений, это был самородок!» Потом я поняла, почему ему так нравилось, как мой дед просвещал студентов, но это позже.

Он заметил, что я рассматривала шухаевский альбом и начал мне о нём рассказывать, перешёл на Александра Яковлева.

Фотоаппарат щёлкал, я крутила головой, меняла позу, закинула нога на ногу в своих узеньких брючках, на которые так шикали мне вслед разные бабки... и запихнула руку в карман достать носовой платок и — о ужас, — поднося его к лицу, я увидела, что он весь измазан красными пятнами.

Смущение, паника, рой зажужжал в моей голове. Это кровь! И тут я потеряла сознание.

Очнулась на диванчике, сильно пахнет аптечным, на лбу холодная тряпочка, Акимов рядом в кресле, взволнован. Я сразу поняла, откуда кровь. Когда я трогала разные предметы на его полке и столе, то незаметно порезалась, крови было немного, но, видимо, я находилась в таком напряжении и была так взволнована, что это стало последней «каплей»... в девичестве от сильного стресса я не раз валилась на пол.

Я села: «Николай Павлович, простите, давайте ничего не будем говорить моему папе». Он улыбнулся, и, когда через полчаса появился отец, наша тайна осталась в этих стенах. Продолжения фотосессии не последовало.

Но пока к Акимову поступил Алёша. Насколько я помню, он учился с радостью, и дело у него пошло на славу. Его судьба срослась с ТЮЗом Зиновия Корогодского и театром Льва Додина.

В течении трех лет я валяла дурака и под неусыпным руководством отца даже начала зарабатывать первые рублики. Этикетки для шоколадок и вафель, конфетные коробки — первые пробы в промграфике. Наверное, так бы всё это и шло, впрочем, если забежать вперед, в результате я стала иллюстратором детских книг аж на целых пятнадцать лет. Но почему-то папа постановил, что мне нужно иметь диплом: «Поступай к Акимову, он не испортит, у него интересно, а в этих академиях убьют всю индивидуальность». Отец ревностно оберегал меня от соцреализма.

В 1964 году я пришла на собеседование, которое устраивалось в Ленинградском государственном институте театра и кино, и которое проводил сам Николай Павлович с группой преподавателей.

Когда очередь дошла до меня, он серьезно взглянул и произнес: «Расскажите нам о Ваших любимых художниках». Может быть, он думал, что я вспомню Шухаева, но я рассказала о Матиссе и о том, как я люблю бывать в этих залах «третьего этажа» Эрмитажа, как люблю сидеть там одна и прихожу туда каждую неделю.

В приемные экзамены входило сочинение на вольную тему, и я продолжила свой рассказ о Матиссе, исписала много страниц. Ещё было обязательным, чтобы все поступающие выставили свои картины, эскизы, рисунки, кто что мог и хотел. Получалась такая коллективная выставка, каждому отводилось своё место. Помню, что на мой курс приняли очень талантливых ребят, все они были любознательные, открытые и горели желанием узнать мир.

Всё на факультете было интересно! Педагоги, учителя живописи, истории искусства и даже декан, армейский «левша» А.В. Соллогуб, который своим голосом, нарукавниками и фартуком наводил страх на всех нас, казался неотъемлемым «пятым элементом». Как такой Соллогуб мог быть в одной упряжке с тонким и чутким обозателем красоты, каким был Акимов, — для меня до сих пор необъяснимо.

Николай Павлович редко, но приходил на факультет. Он собирал нас в большом классе, мы рассаживались кто куда, и он в центре. Начиналась беседа, вопросы-ответы, и, конечно, это перерастало в его рассказы о людях, театре, живописи. Как он преображался!

В шестьдесят шестом он говорил с нами только один раз, на следующий год я взяла академический «антракт», а в шестьдесят восьмом Акимова не стало.

Недавно я узнала, что в Бахрушинском музее в две тысячи шестнадцатом году прошла выставка, посвящённая Николаю Павловичу, приуроченная к столетию со дня его рождения. Её устройством занималась ученица Акимова и моя подруга Марина Азизян. Жаль, что я эту выставку не видела, не окунулась в такие далёкие и близкие шестидесятые.

Тот, кто хотел, на третий этаж Эрмитажа добирался. Здесь дышалось свободно, а со стен на зашоренного советского обывателя смотрели пейзажи Писсарро и Мане, натюрморты Брака и Сезанна, яркие персонажи Гогена, интерьеры Матисса, балерины Дега в ярких голубых и розовых пачках, очаровательные француженки Ренуара. Многие из нас приходили посидеть перед «Кустом» Ван Гога, с удивлением прислушиваясь к яростным спорам случайных посетителей этого этажа. Из споров этих выходило, что выставленная буржуазная «мазня» — вроде как плевок в лицо народу и призыв к свержению известно чего.

Но не все были такого мнения, хрущевская «оттепель» разморозила души, и внимательных посетителей становилось в этих залах все больше. Одним из них был молодой художник Родион Гудзенко.

Французская живопись его так встрянула, что он не только стал подражать Дега, но и задался целью выучить французский. По тем временам было трудно найти частных преподавателей, да и учебники тоже. Но как-то Родя умудрился это устроить, и дело пошло, да настолько хорошо, что через какое-то время он смог кое-что сказать и прочитать на языке любимого художника. В Эрмитаж автобусами привозили на экскурсии не одних только колхозников, французских туристов тоже. Родион с восторгом прислушивался к их разговорам, старался понять и наконец осмелел, решился заговорить. Время шло, живопись свою он выставлять не мог, показывал только друзьям и держал своих балерин а-ля Дега «за шкафом», но зато язык его развязался настолько, что удержу никакого не было, и он уже, не стесняясь, приставал к французам на улице, стараясь выудить из них разную информацию о любимой Франции. Бедный Родя не подозревал, что основная масса этих туристов состояла из членов французской компартии, а бдели и доносили они не хуже их «комарадов-ленинцев».

И тут на гастроли в Ленинград приехала труппа «Комеди Франсез». Родя, конечно, не только ходил на все спектакли, но и мгновенно увлекся одной актрисой. В общем, как это бывает с русскими, они коротко и быстро сошлись, он ей откровенно рассказал о своей

тайной мечте, и француженка решила спрятать Родю в свой гардеробный шкаф, который предполагали погрузить вместе со всеми театральными декорациями на корабль, следующий в Гавр.

Но то ли кто-то стукнул, то ли органы не дремали и за Родионом уже следили. Вероятнее всего последнее, потому что его приставания на улицах и в Эрмитаже не могли пройти незамеченными, а романчик с француженкой — тем более. Перед отплытием судна на нем учинили обыск и Родю арестовали.

На суде ему припомнили разное: в пьяном виде выкрикивал на улицах проклятия коммунистам, был тунеядцем, продавал картины иностранцам... Припаяли десять лет! Так он оказался в одном лагере и в одном бараке с моим мужем Никитой. Они с Родионом разговаривали по-французски, Никита усвершенствовал его произношение и рассказывал о Франции. Хоть и лагерь, и лесопилка, и недосып, и полуголод, а Гудзенко удавалось на обрывках картона и фанеры с помощью самых простых красок, раздобытых с величайшим трудом и, конечно, втайне от лагерного начальства, рисовать своих балерин. Никакого шкафа в бараке не было, а потому прятал он свои картины под матрас. Однажды нагрязнул очередной шмон, которым руководил начальник отряда капитан Ежов — маленького роста мордвин с четырехклассным образованием. Старшины рылись повсюду, заглянули под Родионов матрас, а там сюрприз! Все выгребли, вывалили на середину барака, и Ежов от вида раскоряченных в голубых пачках балерин и странных окон с крестообразными рамами посередине, закатился в истерику. «Это что за кресты? Это что за порнография?!» — орал капитан и сапогами, каблуками топтал и громил картины.

После освобождения Гудзенко продолжал рисовать, кормился книжной графикой, как многие, и был принят в Союз художников. Живопись его изменилась, стала другой, не такой весёлой, как прежде, но его мечта побывать в Париже, наконец, сбылась.

Я помню, как он нам позвонил восторженный, совершенно пьяный, с какого-то парохода, и никак не мог мне объяснить, куда он плывёт. Никита тогда был в очередной командировке, где-то далеко в Африке, и мне никак не удавалось Родиону объяснить это.

Через пару дней он позвонил ещё раз. Кончилась эта поездка для него печально: под конец он уже так перебрал красного и белого, что попал с сердечным приступом в больницу.

Разные ходили слухи о его смерти в Питере, но то, что рассказал Борис Пустынцев, который его хоронил в 1999 году, звучало так: в тёмном подъезде на Родиона напали, проломил голову, и он скончался прямо на месте.

P.S. В 1990 году своими усилиями и стараниями друзей в Ленинграде мне удалось устроить посмертную выставку отца. Она проходила в двух павильонах Летнего сада. Из Парижа я привезла кое-какие папины гуаши, из Рукописного отдела Публичной библиотеки и Театрального музея нам одолжили литографии и рисунки. Стены Чайного и Кофейного домиков на два месяца украсились необычными работами. Получилась ретроспектива: от колхозниц и сталеваров, иллюстраций к русским сказкам до абстракций и последних работ Игоря Ивановича Ершова. Было трудно собрать все вместе, ведь после его смерти многое из квартиры исчезло, а деревянная халупа в Парголово, выделенная ему под конец жизни под мастерскую, сгорела дотла.

О выставке в Летнем саду написали в газетах, сняли маленький фильм, я дала интервью, рассказала об отце. На открытие пришло очень много разных людей, а вступительное слово говорил человек, заслуженный художник из ЛОСХа, который регулярно папины работы на выставках «зарубал». Но тут он говорил трогательно и проникновенно «о талантливом мастере и преждевременной утрате».

Вот уж воистину, как сказал Пушкин, «они любить умеют только мёртвых».

Содержание

Введение	5
Русская рулетка	
Мой дед Иван Ершов	11
О моей бабушке	23
О моих детстве и юности	30
И опять о бабушке... ..	39
То, что случилось с моим отцом в 1941 году ...	46
Шестидесятые.....	52
Шальная любовь	58
Неожиданное путешествие	65
Прогулка	75
Вещий сон	83
Огни большого города	90
Разные встречи	96
НК=НК	109
Возвращение.....	120
«Николай Иванович»	129
Гостиница	142
Дивеево	175
Искушение свободой	187
Заманенные Сталиным	193
Работа «за шкаф»	209

Об авторе

Ксения Кривошеина (урожд. Ершова) — художник, литератор, общественный деятель. Родилась в Ленинграде, с 1980 года живёт и работает в Париже. Публиковалась (рассказы, эссе, романы) в издательствах «Искусство», «Логос», «Христианская библиотека», «Сатись», а также в журналах «Фома», «Нескучный сад», «Звезда», «Знамя», «Новой журнал», «Нева» и проч. Автор сайта «Мать Мария (Скобцова)», где собраны уникальные материалы по Серебряному веку, русской эмиграции, архивные фотографии и документы по Сопrotивлению во Франции. В 2004 году в издательстве «Искусство» вышла книга «Красота спасающая», в 2015 году в издательстве «Эксмо» — монография «Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней», в 2016 году в издательстве «Алетейя» — сборник «Шум прошлого».

Ксения Кривошеина
ОТТАЯВШЕЕ ВРЕМЯ
ИЛИ ИСКУШЕНИЕ СВОБОДОЙ

Главный редактор издательства *И.А. Савкин*
Дизайн обложки, оригинал-макет *Т.И. Индутная*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru
Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99
www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» можно приобрести в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
в Киеве:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88/16. 16 п. л.
Печать офсетная. Тираж 700 экз.